

83.3(0)
к 030

А.Н. Семёнов
В.В. Семёнова

*Концепт
средства массовой
информации
в структуре
художественного
текста*

Часть II

(Русская литература)

А.Н. Семёнов, В.В. Семёнова

Концепт средства массовой информации в структуре художественного текста

Часть II

(Русская литература)

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2011



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

— 0158924 —

Государственная
библиотека
Югры

КО

УДК 829
ББК 84 (2Рос=РУС)6-5
С 30

Рецензенты:

Дворяшин Юрий Александрович — доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, Заслуженный деятель науки РФ, член Союза писателей России (г. Москва);

Тузова-Щёкина Светлана Михайловна — кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и литературы Югорского государственного университета, член Союза журналистов России (г. Ханты-Мансийск);

Глебович Татьяна Александровна — кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и литературы Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск).

Авторы выражают глубокую признательность Ханты-Мансийскому банку и лично его Президенту Дмитрию Александровичу Мизгулину за помощь в издании этой книги.

С30 А.Н.Семёнов, В.В. Семёнова

Концепт средства массовой информации в структуре художественного текста: Учебное пособие. — СПб.: Издательская программа АПИ, 2011. — 390 стр.

ISBN 978-5-94158-156-6

Учебное пособие написано профессором Института развития образования (г. Ханты-Мансийск) и доцентом кафедры журналистики Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск) А.Н. Семёновым и доцентом той же кафедры В.В. Семёновой. В книге на материале русской литературы XVIII-XIX веков проанализировано бытование концепта средства массовой информации в структуре художественного текста.

Книга может быть использована при чтении курсов «Журналистское мастерство», «История русской журналистики», «История русской литературы», «Теория литературы», «Эстетика» по специальности «Журналистика», а также на филологических и культурологических специальностях вуза, при изучении истории русской литературы в старших классах средней школы, в работе факультативов и кружков.

УДК 829
ББК 84 (2Рос=РУС)6-5

ISBN 978-5-94158-156-6

© А.Н. Семёнов,
© В.В. Семёнова. Текст, 2011

Нашему сыну Александру
посвящается

Начальный период

Русская литература, по сравнению с литературой Западной Европы, в значительно более поздний период обратилась к концепту *средства массовой информации*, к проблемам их бытования и роли в обществе. В этот, довольно длительный, период содержание данного концепта было связано с эпизодическими упоминаниями периодической печати (газеты, журналы), рассуждениями об их роли и значении в жизни общества. Однако даже такие эпизодические упоминания играли важную роль в развитии действия, в осуществлении авторского замысла, способствовали пониманию мотивов поведения персонажей, а также носили ярко выраженный репрезентативный характер относительно периодической печати.

Примеров таких эпизодических упоминаний в творчестве русских писателей много, мы остановились на наиболее показательных, по нашему мнению, из них.

Этот начальный период интересен еще тем, что дает возможность увидеть не только процесс формирования отношения к средствам массовой информации, но и процесс становления их самих, того, как складывалось и менялось их содержание, формировалась специфика и адресный характер.

* * *

Антиох Дмитриевич КАНТЕМИР 1708–1744

Самые первые упоминания и характеристики средств массовой информации появляются, прежде всего, в эпистолярном наследии русских писателей.

Так, в переписке Антиоха Кантемира постоянно встречаются упоминания газет. В письме к сестре Марии в июне 1740 года он просит

последнюю не беспокоиться о его состоянии: «<...> хорошо знаю, что при должности, занимаемой мною, *газеты донесут*¹ до Москвы новости, которые я пожелал бы скрыть»². А.Д. Кантемир был назначен в 1738 году русским послом в Париж. Сделанное им в письме замечание свидетельствует о том, что уже в первой половине XVIII века периодическая печать Франции настолько внимательно следила за всеми событиями жизни высокопоставленных особ, в том числе и иностранных подданных, что скрыть что-либо от родственников было чрезвычайно трудно.

В письме 1742 года Кантемир сообщает о том, что по ошибке назвал Лестока графом, «ибо газеты дали ему этот титул; на будущее время беру его назад»³. Писатель в упоминаемой им истории стал жертвой газетной ошибки.

Одно из первых упоминаний печати («печатных вестей») в художественном тексте принадлежит также Кантемиру. В Сатире V, озаглавленной «**На человеческие злонравия вообще**» (1737), написанной в виде диалога между стихотворцем Периергом (то есть *любопытным*) и Сатиром, последний, прежде чем уйти обратно в лес, снимая человеческую одежду, рассказывает о том, какими он увидел людей и их дела. Среди встреченных им были и такие:

<...> Как в красавицу, иной влюбившись в славу,
И, покой и всякий страх презревши, в кроваву
Бежит битву, где иль глаз оставит, иль ногу;
Крив и хром, топчет еще и к смерти дорогу,
Весел, что *печатные* собою так *вести*
Наполнит и будет жить по смерти век с двести.
Хвально идет, кто опешит к должности усердо
И кто за отечество положит жизнь твердо:
Память его честна быть ввеки заслужила;
Но о ком я говорю, не та его сила
В бой тянет; с ума сошед, голу славу ищет
Бесплодно, и без узды конь ретивый рышет.⁴

¹ Здесь и далее курсив наш (С.А., С.В.), кроме специально оговоренных случаев.

² Кантемир А. Д. Переписка кн. А. Д. Кантемира с сестрой Марией на итальянском языке. 1734–1744 гг. http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0040-1.shtml

³ Там же.

⁴ Кантемир А. Д. На человеческие злонравия вообще // Стихотворения http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.shtml

«Печатные вести» — так во времена Кантемира нередко называли газеты. Процитированный отрывок служит свидетельством того, что уже в первой половине XVIII века в российском обществе были люди, готовые, презревши покой и страх, идти на любую кровавую битву и получать удовольствие оттого, что такая их жизнь попадет на страницы «печатных вестей», то есть газет. С другой стороны, данное замечание свидетельствует и о том, что же являлось одним из предметов внимания прессы. Поэт посчитал необходимым дать свой комментарий к этим строкам: «<...> Славолюбец не доволен, что в войне ему глаз выбит или нога отбита, еще туды возвращается, и самую смерть презирая, только затем, чтоб его действия отважные внесены были в печатные вести и память их доставила ему славу по смерти».¹ Попавший на страницы «печатных вестей» имел все основания надеяться на то, что имя его будет славно и после смерти. Значит, концепт газета уже в этот период наполняется значением *сохранение памяти*.

В Сатире IX 1738 года «**На состояние сего света. К солнцу**» поэт говорит о том, как в современной жизни дела нередко подменяются написанием «печатных вестей»:

<...> Вон дивись, как учений заводят заводы:
Строят безмерным коштом тут палаты славны,
Славят, что учения будут тамо главны;
Тщатся хотя именем умножить к ним чести
(Коли не делом); *пишут печатные вести*:
«Вот завтра учения высоки зачнутся,
Вот уж и учителя заморски сберутся:
Пусть как можно скоро всяк о себе радеет,
Кто оных обучаться охоту имеет».²

Поэт наблюдает за тем, как возводятся новые здания для обучения, он знает, что в новых учебных заведениях обещают главным сделать учение. Есть даже образчик того, как оно может выглядеть в новых палатах, с «учителями заморскими» для всех, кто имеет к этому охоту, кто радеет о своем будущем. Однако поэт знает, что это только обещания, и тот, «кто сердцем учиться желает», увидит в новом заведении только

¹ Там же.

² Кантемир А. Д. Сатира IX: На состояние сего света. К солнцу // Стихотворения http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.shtml

много комплиментов, а «высоких же наук там стены¹ не бывало», хотя деньги туда и текут большие.

В Сатире V «На человека» Антиох Кантемир так представляет тип человека «без пользы»:

<...> А человек без пользы себе иным вреден:
Хоть бы силен был, славен и собой небеден,
Коли видит, что другой его превышает
В славе, в силе, в богатстве, мертва себя чаёт,
Мучится сердце его, не знает покою,
Пока не сгубит кого; коли сам собою
Не силен к тому, прельстит сильного невежду;
Между тем он с того зла никую надежду
Себе ждёт: не прибудет ни денег, ни чести,
Не наполнит действием тем печатные вести.
Мало ему, что рука бесовским советом
Наставлена показать искусным наветом...

Человек «без пользы», завидующий чужой силе и богатству, живет такой жизнью, события которой никак не могут быть материалом для газетных сообщений. Газета, таким образом, выступает в качестве источника информации, прежде всего, о *достойных делах и поступках* человека. Поэт снова не может обойтись без собственного комментария, замечая, что «печатные вести» — это газеты. Он подчеркивает: «Подлинно, что тем действием злым нельзя себе нажить славу, чтоб о тебе в газетах писали; надобно иные дела, полезные отечеству и праву естественному сходные, а чрез злодеяния прославиться и трудно и недолговечно».² Действия человека, достойные газетной страницы («чтоб о тебе в газетах писали») — это, в первую очередь, «дела полезные отечеству». Так у Кантемира содержательная сторона газетных материалов наполняется значением *полезности*.

* * *

Александр Петрович СУМАРОКОВ 1717–1777

Свое видение печати находим и в творчестве Александра Сумарокова. В сатире «О злословии» (между 1771–1774) автор удивляется тому,

¹ стены (устар.) — тени

² Там же.

что «мы негде все судьи и всех хотим судить», а причина — в стремлении навредить друг другу. Особую роль в этом стремлении может играть пресса:

<...> Противно мне, когда я слышу лживы вести,
Противнее еще неправый толк о чести.
А толки мне о ней еще чудные тем,
Здесь разных тысяч пять о честности систем.
И лъзя ль искать ума, и дружества, и братства,
Где множество невеж и столько ж тунеядства?
О чем же, съехався, в беседах говорить?
Или молчать, когда пустого не варить?
В крику газетчиков и драмы утопают,
И ложи и партер для крика откупают.¹

Самому А.П. Сумарокову было хорошо известно то, как газетный «крик» способен «утопить» любую драму, отмеченную талантом создателя.

* * *

Ипполит Федорович БОГДАНОВИЧ 1744–1803

В известном письме Ипполита Богдановича князю Александру Борисовичу Куракину от 19 августа 1776 года упоминается издававшийся и редактировавшийся им в Петербурге журнал «Собрание разных сочинений и новостей, ежемесячное издание, содержащее в себе новые на российском языке сочинения и переводы; новые успехи в науках и искусствах, новые для человеческого рода полезные изобретения, главные происшествия настоящего времени во всех частях света, особливо же в России, и прочие любопытные вещи, служащие к знанию, пользе и увеселению людей всякого состояния».² И.Ф. Богданович выпустил всего 4 номера этого журнала.

А в письме от 2 мая 1777 тому же Куракину есть не только упоминание, но и лаконичная характеристика петербургских газет: «Город-

¹ Сумароков А.П. О злословии // Сумароков А.П. Стихотворения http://az.lib.ru/s/sumarokow_a_p/text_0340.shtml

² Богданович И. Ф. Письма князю А.Б. Куракину http://az.lib.ru/b/bogdanowicha_i_f/text_0050.shtml

ские вести любопытнейшие в ту часть города, где обитаю, не всегда достягают, да и живу я уединенно. Вести же, кои в газетах являются, повторять — дело нехитрое; больше толку будет от посылки вам сих газет. Чтение нередко мыслям моим пищу доставляет, однако же для вас чтение есть дело столь обычное, что и сие средство вы у меня отымаете. Одна надежда на доброту вашего сердца».¹

Ничего неожиданного, а тем более особенного в газетных новостях нет, а потому и повторять их — «дело нехитрое», но принципиально важно другое: чтение газет нередко «пищу доставляет» мыслям писателя.

* * *

Гаврила Романович ДЕРЖАВИН 1743–1816

К 1812 году Державин написал «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина», которые будут опубликованы только в 1859 году. Рассказывая о том, как «в 1786 и 1787 году все шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками», Державин замечает, что «были также учреждены и *губернские газеты* для известия о проезжих чрез губернию именитых людях и командах, и о ценах товаров...»²

На данный период времени, по мнению поэта, функции губернских газет этим ограничивались. Упоминается в записках Державина и журнал, но почти исключительно в значении отчета о произошедших событиях. К примеру, «Журнал, веденный во время Пугачевского бунта» — это подробный деловой отчет Державина за время его работы в Следственной Комиссии. Сам по себе этот документ есть несомненная историческая ценность, однако в аспекте нашей проблемы он особого интереса не представляет.

¹ Там же.

² Державин Г. Р. Записки из известных всем происшествий http://az.lib.ru/d/derzhawin_g_r/text_0060-1.shtml

Александр Николаевич РАДИЩЕВ 1749–1802

В «Путешествии из Петербурга в Москву» (2-я пол. 1780 гг.) А. Н. Радищев ставит в центр внимания человека с его общественными отношениями и творческими возможностями. Писатель поднимает проблему нравственного достоинства человека и описывает то, как это достоинство постоянно унижается, а пресса в современном обществе стала одним из средств, которое отражает это унижение. В главе «Медное» писатель напоминает: «Каждую неделю два раза¹ вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего... дня полуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под э., и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».²

Далее автор «Путешествия» показывает, какие человеческие судьбы и трагедии скрываются за лаконичным газетным сообщением о том, что вместе с домом продаются «шесть душ мужеского и женского полу». Сами газеты никакой оценки у Радищева не получают, но газетная информация о продаже людей, приравненных к прочему имуществу, свидетельствует о том, насколько *далеки* современные печатные издания от человека, насколько *безучастны* они к его бесправному положению и ежедневному попранию его человеческого достоинства.

¹ Единственные по тому времени русские газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости» выходили дважды в неделю.

² Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0010.shtml

Николай Михайлович КАРАМЗИН 1766–1826

«Письма русского путешественника» (1801) Н.М. Карамзина представляют собой органическое единство объективного и субъективного. Предметом их повествования являются не только собственный внутренний мир, но и нравы, быт, общественное устройство, политика и культура современной Европы. Одной из важнейших составляющих этого мира, по наблюдениям писателя, уже была периодическая печать.

В примечании к письму, написанному на первой от Данцига станции 22 июня 1789, автор вспоминает о своем попутчике, который знал «многие восточные языки»: «После читал я о магистере Ринге в прибавлении к «Йенским литературным ведомостям». Он известен в Германии по своей учености».¹ Н.М. Карамзин упоминает газету, точное название которой было иным — «Всеобщая литературная газета». Она издавалась в Йене с 1785 по 1849 год и являлась одним из авторитетных научно-библиографических изданий Германии в конце XVIII — первой половине XIX века.

В письме из Берлина, датированном 30 июня 1789 года, автор сообщает, о своем немалом удивлении тому, «что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде». [70] Одной из функций, если не обязанностью, местных газет того времени было информировать читающую публику о прибытии и убытии любого значительного лица, особенно из иностранных путешественников.

В одном из писем из Парижа мая 1790 года, рассказывая о писателе Мормонтеле, Карамзин упоминает, что последний теперь занимается «литературною частью «Французского Меркурия» — газеты, основанной в 1672 году и просуществовавшей до начала XIX века. Характерно, что, как и в большинстве других случаев, Н.М. Карамзин избегает характеристики упоминаемого издания, словно бы такой проблемы для него не существует. Единственная важная для нас информация, которую можно получить благодаря этому упоминанию, это та, что общественно-политические газеты могли иметь «литературную часть».

¹ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988. С. 62. Далее «Письма русского путешественника» цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

Не делает этого писатель и тогда, когда рассказывает о том, как завистники устроили травлю датскому поэту-романтику Иенсу Баггесену (1764—1826) после того, как он сочинил две оперы, «которые отменно полюбились копенгагенской публике». Зависть вооружила против него многих писателей, и он оказался один против толпы неприятелей: «В газетах, в журналах, в комедиях — одним словом, везде его бранили». [183]

В «Письмах» есть подробное рассуждение о том, как по причине того, что «в сочинениях некоторых писателей нашли что-то иезуитское», началась «ужасная война», а «Берлинский журнал» «избран был в театр сей войны». Журнал как средство массовой информации становится местом столкновения мнений католиков и протестантов, выяснения мировоззренческих позиций. Война оказалась настолько серьезной, что нашелся даже придворный дармштадский проповедник Штарк, объявленный берлинцами «тайным католиком, иезуитом, мечтателем; который судился с издателем «Берлинского журнала» гражданским судом и писал целые книги против своих обвинителей». [73, 74]

Французский город Треву, мимо которого по реке Сонна проплывает путешественник, более всего известен ему «по «Memoires de Trevoux»¹ антифилософическому иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аланбертов и грозил поглотить священным огнем все произведения ума человеческого». [294]

Описывая Орлеанский замок, который «называется столицею Парижа», среди прочего путешественник замечает: «Тут видите вы и кофейные дома, первые в Париже, где также все людьми наполнено, где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч. <...>». [298] По произведениям французских писателей (к примеру, по роману В. Гюго «Отверженные») мы уже знаем, что в описываемую эпоху в Париже и других крупных французских городах были специально отведенные для чтения газет и журналов места, а «Письма русского путешественника» лишь подтверждают такое наблюдение.

Письмо, написанное в апреле 1790 года, открывается вопросом: «Говорить ли о французской революции?», на который писатель дает такой ответ: «Вы читаете газеты: следственно, происшествия вам известны. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных

¹ «Тревуские памятные записки» (франц.).

французов, которые славились своею любезностию и пели с восторгом от Кале до Марсея, от Порпиньяна до Стразбурга...» [309]

При всей неожиданности революционных настроений, так не характерных для французов в прошлом, автор «Писем» не берется рассказывать о революционных происшествиях для тех, кто читает газеты, значит, последние в достаточной степени полно и обстоятельно рассказывают об этих происшествиях. Концепт газета у Карамзина наполняется значением полной и достоверной информации о происходящем.

Письмо, написанное в мае того же года, сообщает, что «иметь хорошую комнату в лучшей отели», это, помимо всего прочего, возможность «поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь интересное, жалкое, смешное...». [330] Несколькими словами («занимательное, жалкое, смешное») Карамзину удастся передать то, какого характера содержание было свойственно французским газетам и журналам 90-х годов XVIII века.

В письме июня 1790 года автор замечает, что о парижском Народном собрании «так много пишут теперь в газетах», а посещение этого собрания словно бы дает ему возможность сравнить написанное с тем, как на самом деле обстоят дела.

Для английской печати важными предметами внимания являются балы и концерты: «Здесь бал или концерт есть важное происшествие: об нем пишут в газетах. У нас правило: вечна быть в гостях или принимать гостей. Англичанин говорит: «Я хочу быть счастливым дома и только изредка иметь свидетелей моему счастью». [476]

Постоянно общаясь с английской печатью, автор «Писем» заметил, что одним из ее любимых жанров является анекдот: «Я мог бы выписать из английских газет и журналов множество странных анекдотов...» [500] Получается, что помимо информационной функции английская пресса в описываемую эпоху брала на себя и развлекательную.

Лондон удивил русского путешественника (письмо от июля 1790 года) тем, что в нем есть «славный Лойдов кофейный дом, где собираются лондонские страховщики и куда стекаются новости из всех земель и частей света; тут лежит большая книга, в которую они вписываются для любопытных и которая служит магазином для здешних журналистов. — Подле биржи множество кофейных домов, где купцы завтракают и пишут». [451] А журналисты потом пользуются тем, что записали в книге люди, побывавшие в разных странах и концах света.

По наблюдениям автора «Писем», в Англии есть люди, которые пострадали за свои выступления в печати. К примеру, Горн Тук, который «был во время американской войны проповедником в Брендсфорде, писал в газетах против двора, сидел за то в тюрьме, не унялся и поныне еще ставит себе за честь быть врагом министров. Он говорит сильно, пишет еще сильнее <...>» [469]

Одной из причин того, что «англичане просвещены и рассудительны», автор «Писем русского путешественника» считает, что «здесь газеты и журналы у всех в руках не только в городе, но и в маленьких деревеньках». Благодаря постоянному общению с прессой самых широких масс народа концепт периодическая печать наполняется значением источника просвещенности и рассудительности в делах. Такой рассудительности не может помешать даже постоянное рассматривание карикатур, помещаемых в периодической печати: «... даже на самые смешные карикатуры смотрят они с преважным видом, а когда смеются, то смех их походит на истерический». [496–497]

В первой части незавершенной богатырской сказки «Илья Муромец» (1795) Н.М. Карамзин объявляет, что «богиня белого света» — это «Ложь, Неправда, призрак истины», и призывает последнюю быть его богинею. При этом он дает ей такую характеристику:

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей,
всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас, —
всё вещаешь, кроме... истины;
объявляешь с газетирями
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса <...>¹

Ложь оказывается частью того, чем занимаются «газетиры» (газетчики), рассказывающие о «сокровенностях политики», а газеты тогда выступают как *источник лжи*.

¹ Карамзин Н. М. Илья Муромец // Карамзин Н.М., Дмитриев И.И. Стихотворения. — Л., Сов. писатель, 1958. С. 148–149.

Иван Андреевич КРЫЛОВ 1768 или 1769–1844

В баснях Крылова упоминание средств массовой информации встречается не так часто, но всегда эти упоминания выразительны.

Сюжет басни «Три Мужика» (1830) построен на истории о том, как трое мужиков, промышлявших в Питере извозом, остановились на ночлег в деревне и попросили себе ужин. Ужин был небогатый («в деревне что за разносол»), один из мужиков смекнул, что «всего немного на троих» и завел разговор о том, что надо ожидать войну с Китаем:

Тут двое принялись судить и рассуждать
(Они же грамоте, к несчастью, знали:
Газеты и, подчас, реляции читали),
Как быть войне, кому повелевать.
Пустились мои ребята в разговоры,
Пошли догадки, толки, споры;
А наш того, лукавец, и хотел:
Пока они судили, да рядили,
Да войска разводили,
Он ни гугу — и щи, и кашу, все приел.¹

Привычка к чтению газет обернулась для двух героев басни тем, что они остались голодными, принявшись рассуждать о том, до чего им нет дела. А сам концепт газета выступает в качестве того средства, которое *приучает людей рассуждать* о вещах, до которых им нет никакого дела, а в результате случается так, что, рассуждая о том, «что будет с Индией», человек и не заметит, как «у самого / Деревня между глаз сгорела».

Причиной появления некоторых басен Крылова была периодическая печать. Так, поводом к написанию басни «Ворона и Курица» (1812) послужила заметка, опубликованная в журнале «Сын Отечества»: «Очевидцы рассказывают, что в Москве Французы ежедневно ходили на охоту стрелять ворон и не могли нахвалиться своим *supper aux sorbeaux*². Теперь можно дать отставку старинной русской посло-

¹ Крылов И.А. Три мужика // Крылов И.А. Басни. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 240.

² супом из ворон

вице «попал, как кур во щи», а лучше говорить: «попал, как ворона во французский суп!»¹

В комедии «Модная лавка» (1806) Сумбуров, попавший в щекотливую ситуацию, связанную с непристойным поведением жены, более всего боится того, что об этой истории «напечатают в газетах». А в комедии «Урок дочкам» (1807) также всего лишь один раз упоминается «модный журнал», который отец одной из героинь приказал выбросить, чтобы тот не портил нрава его дочери.

* * *

Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ 1795–1829

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1822–1824) газета упоминается всего два раза, но эти упоминания весьма существенно дополняют характеристику эпохи. Первое упоминание есть в известном монологе Чацкого:

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из *забытых газет*
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.²

Герой дает характеристику тем, кто непримирим «к свободной жизни», однако в этой непримиримости, в этой постоянной готовности «к журьбе» косвенно оказываются виновны и газеты «Времен Очаковских и покоренья Крыма», ведь именно из них черпают свои «сужденья» о современности герои монолога.

В третьем действии пьесы на сообщение персонажа Г.Д. о том, что Чацкий «с ума сошел» Загорецкий заявляет:

¹ Там же. С. 326–327.

² Грибоедов А.С. Горе от ума. — М.: Наука, 1969. С. 44–45.

А! знаю, помню, слышал.
Как мне знать? Примерный случай вышел;
Его в безумные упрятал дядя-плут;
Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили.

Г. Д.

Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут.

Загорецкий

Так с цепи стало быть спусти.

Г. Д.

Ну, милый друг, с тобой не надобно газет <...>¹

Последняя фраза Г.Д. в процитированном отрывке характеризует, на первый взгляд, знающего все Загорецкого, однако — это и характеристика самих газет, в которых можно, по всей вероятности, прочитать и о том, как «дядя-плут» упрятал в желтый дом племянника, которого там посадили на цепь, и о том, как последнего спустили «с цепи».

¹ Там же. С. 85.

Александр Сергеевич ПУШКИН

1799–1837

В творчестве Александра Сергеевича Пушкина концепт средства массовой информации еще не является тем существенным элементом, который определяет характер развития сюжета или становления героя, формирования системы персонажей, однако может выступать в качестве существенного дополнения характеристики времени и человека.

В стихотворении «Тень Фонвизина» (1815) «писатель знаменитый» и «известный русский весельчак» был отпущен с того света, чтобы посетить Россию, посмотреть, как теперь живут и что делают «братии-поэты». Поэт Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835), в кабинете которого остановился Фонвизин, сообщает:

<...> По мне с парнасского задору
Хоть удавись — так в ту же пору.
Что я хорош, в том клясться рад,
Пишу, пою на всякой лад,
Хвалили гений мой в *газетах*,
В «Аспазии» боготворят.
А всё последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хотят,
Куда ни сунусь, всюду свист...
Мне *враг последний журналист*.¹

С одной стороны, в прошлом для конкретного поэта газета выступает в качестве источника хвалебных отзывов, которые, однако, не смогли повлиять на вкусы любителей поэзии, которые «читать стихов» поэта Хвостова «не хотят», даже несмотря на то, что в журнале «Кабинет Аспазии» его «боготворят». Убедившись в этом, пресса переменяла

¹ Пушкин А.С. Тень Фонвизина // Пушкин А.С. Соч. В 3-х т. М.: Худож. лит., 1985–1986. Т. 1. Стихотворения; Сказки; Руслан и Людмила; Поэма. С. 106. Далее произведения А.С. Пушкина цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

свое отношение к творчеству Хвостова, и уже в настоящем времени ему враг – «последний журналист». Сам журнал «Кабинет Аспазии» издавался в Санкт-Петербурге в 1815 году (вышло 7 номеров) и прославился тем, что печатал наиболее бездарных поэтов и писателей. Концепт периодическая печать (газета) в данном случае наполняется амбивалентным содержанием. С одной стороны, – это *источник хвалебных отзывов* о творчестве. Но с другой, периодическая печать наполняется значением *непостоянства*, способности быстро *менять свое отношение* и становиться врагом.

В первой эпиграмме «На Пучкову» (1816) газета снова появляется в качестве характеристики деятельности реального человека. Писательница Е.Н. Пучкова печатала в газетах анонимные сентиментально-патетические воззвания о необходимости помощи инвалидам. Такая деятельность не может, вроде бы, представлять писательницу смешной, однако труд ее, тем не менее, вызывает смех читателей:

Пучкова, право, не смешна:
Пером содействует она
Благотворительным *газет* недельных видам,
Хоть в смех читателям, да в пользу инвалидам. [I, 149]

Концепт газета, таким образом, наполняется содержанием *польза*, так как, по логике автора эпиграммы, смех, который могут вызывать газетные публикации, не может помешать той пользе, которую от них получают инвалиды. Во второй эпиграмме «На Пучкову», написанной в том же году, есть пояснение, что же вызывает смех и читателей, и самого поэта:

Зачем кричишь ты, что ты *дева*¹,
На каждом девственном стихе?
О, вижу я, певица Ева,
Хлопочешь ты о женихе. [I, 150]

И в этой эпиграмме газета уже представлена в качестве *средства достижения* своих личных целей, в частности, как средство решения проблемы замужества для автора газетных публикаций. По крайней мере, таковой газету видел автор эпиграммы.

¹ Курсив А.С. Пушкина – С.А., С.В.

В романе «Арап Петра Великого» (1827) газета упоминается всего один раз и выступает в качестве детали, характеризующей *уровень образованности* Петра I: «Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские *газеты*. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки <...>» [I I I, 10]

Всего лишь одно краткое упоминание о гамбургских газетах является свидетельством того, на каком уровне император знал немецкий язык.

Газета у Пушкина может выступать в качестве детали, характеризующей жизнь провинции. В повести «Выстрел» (1830), сравнивая «рассеянных жителей столицы» с теми, кто живет в провинции, Пушкин отмечает, каким событием для последних является «почтовый день»: «Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня; во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто *газет*. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную». [III, 50]

Приход газет, наряду с письмами и деньгами, наполняет провинциальную жизнь новостями, *оживляет* ее, даже уже само ожидание получения свежей прессы *вносит изменения* в размеренную жизнь провинциального гарнизона.

В повести «Барышня-крестьянка» (1830), характеризуя настоящего русского барина и англомана Григория Ивановича Муромского, автор обращается к образу современных журналистов. Иван Петрович Берестов строже всех из соседей отзывался на поведение Муромского: «<...> Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и *наши журналисты*. Он бесился и прозвал своего зоила медведем провинциалом». [III, 86]

В представлении автора, современные журналисты, которые сами критикуют все и вся, не могут выносить критику в свой адрес, от нее они начинают беситься. Разумеется, такое наблюдение переносится и на сами газеты.

В повести «История села Горюхина» (1830) газета возникает в качестве совсем уж малозначительной детали. Повествователь, мечтавший «сделаться писателем», оказался настолько увлечен чтением литературных журналов в любимой конфетной лавке, что не обратил внимания на то, как «некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок *Гамбургской Газеты*». [III, 104] В тексте возникает своеобразная оппозиция *журнал* — *газета*. Мы называли эту оппозицию своеобразной, потому что открыто она не обозначена, однако повествователь не обращает внимания на человека, который интересуется газетой, по той причине, что в его понимании, последняя представляет гораздо меньший интерес, нежели литературный журнал. Повествователь читал свои журналы долго и при этом не обращал на посетителя внимания. Только разговор двух молодых людей, которые узнали в нем «сочинителя», заставил повествователя обратить внимание на человека «в гороховой шинели» и даже в последующем догнать его.

Отношение персонажа к газете у Пушкина может служить средством характеристики самого персонажа. Так, весьма существенно дополняет характеристику героини повести «Рославлев» (1836) замечание девушки, от имени которой ведется повествование, о том, что Полина, ожидая своего жениха с войны, «занималась одною политикою, ничего не читала, кроме *газет*, Растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги». [III, 122]

Газеты, «Растопчинские афишки» и письма из армии стали для героини источником информации о том, как «Наполеон шел на Москву», а «наши отступали». Пристрастие к такому чтению выделяет героиню в обществе: «Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность». [III, 122]

Газеты для героини выступают как оппозиция «суждениям нелепым» и «новостям неосновательным», источником которых являются люди, «коих понятия были ограничены». С другой стороны, именно газеты, как источник «всяких реляций», усугубляют *ощущение безнадежности* в состоянии Полины.

Причина того, что героиня «не читала, кроме газет» и «Растопчинских афишек» ничего другого, к примеру, литературных журналов, на

наш взгляд, дана автором (не девушкой, от имени которой ведется повествование!) чуть ранее, в «маленьком», как он его называет, отступлении: «<...> *Журналы наши* занимательны для наших литераторов... Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток». [III, 117]

Литературные журналы, интересные только для самих литераторов, делают их неинтересными для читателя, особенно в такой переломный и напряженный момент (Отечественная война 1812 года), какой переживают герои повести. Журнал и газета снова, как и в «Истории села Горюхина», оказываются в оппозиционных отношениях, однако на этот раз симпатии автора явно на стороне газеты.

Есть в лирике Пушкина и более развернутое, обстоятельное наполнение концепта газета. В стихотворении «Городок» (1815), рассказывая «милому другу» очень подробно о своем пребывании «в тишине святой» маленького городка, «от шума вдалеке», поэт раскрывает среди прочих такую подробность этой жизни:

<...> Или, для развлечения,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек,
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,
Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон,
Все сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал <...> [I, 71]

Сама газета, как таковая, здесь вроде бы не присутствует, потому что этим словом в лирическом тексте заменяется слово «сплетни». Об их содержании, характере поэт, как мы видели, говорит довольно подробно. Источник сплетен — добренькая старушка, как и газеты, знает «пропасть вестей». Содержание ее вестей, для поэта, — это и есть содержание современных газет. Не случайно два явления определены одним понятием. Газета и сплетни оказываются уравнены в своих функциях. Есть у поэта и модель отношения к обозначенному явлению его жизни:

<...> Старушка всё расскажет;
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает всё свое;
А я сию смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда Свистова
В столице я внимал.
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал,
Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье! [I, 71]

Избранная поэтом, слушателем вестей «добренькой старушки», модель поведения — это и есть то отношение, которого достойны современные газеты: сидеть смиренно, не особо прислушиваясь и, углубляясь в собственные «мечтанья», терпеливо снося всю эту «пропасть вестей».

Развитием отношения к газете как к тому, во что нет смысла особенно углубляться, к чему не надо прислушиваться, стало послание «К Дельвигу» (1815). Говоря о себе, как о «жильце полей пустынных», поэт отмечает, что этот удел ему начертали сами музы. Вдали от столичного шума поэт хотел бы «полениться и негой насладиться»:

<...> Я, право, неги сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
И буду принужден
С журналами сражаться,
С газетой торговаться,

С Графовым восхищаться...
Помилуй, Аполлон! [I, 96]

Концепт газета в этом послании выступает в качестве того, с чем необходимо *торговаться*. Показательно, что у Пушкина в данном случае нет ни одного слова о том, каково содержание, какова направленность газетных публикаций, значит, смысл действия («торговаться») распространяется на газету как явление в целом. Концептуальное видение газеты, таким образом, у поэта в данном конкретном случае связано только с ее торгашеским духом. По сравнению с этим, концепт журнал выглядит более привлекательным: с идеологией, направленностью журналов можно сражаться, потому что они выступают в роли оппонентов и противников, а не торгашей.

Прямо противоположное значение концепта журнал находим в стихотворении «**Примите новую тетрадь...**» (1821), в котором последний увиден уже не в качестве оппонента или противника, а в качестве *усыпляющего средства*:

Примите новую тетрадь,
Вы, юноши, и вы, девицы, —
Не веселее ль вам читать
Игривой Музы небылицы,
Чем пиндарических похвал
Высокопарные страницы
Иль усыпительный журнал.
Который, ввек не зная цели,
Усердно так тяжел и груб
И ровно кажды две недели
Быть хочет зол и только глуп. [I, 267]

В видении журнала Пушкиным присутствует некая алогичность. Представление о нем связано, в первую очередь, с усыпляющей функцией, но при этом подчеркивается, что он существует, «ввек не зная цели». Усыпляющему началу вполне способствует то, что журнал «тяжел» и «глуп», однако с этим же началом не очень согласуется и то, что он при этом усердно «груб» и «зол». Связано это, видимо, с тем, что поэт не приемлет не просто журнал как таковой, а журнальную политику определенного рода, для которой характерны отмеченные особенности.

Речь, разумеется, идет не обо всех журналах, а только о тех, которые не вызывают симпатий самого поэта. Последнее подтверждается

наблюдением, согласно которому концептуальное видение журнала для Пушкина всегда связано с именами издателей, редакторов, авторов конкретного издания. К примеру, поэт может воспринимать журнал отрицательно, когда тот еще только планируется издавать. Отрицательное отношение вызвано тем, что Пушкин знает имена тех, кто собирается его издавать, и тех, кто приглашен к сотрудничеству в этом журнале. Один из таких примеров представляет эпиграмма «Литературное известие» (1829), хотя круг приглашенных к сотрудничеству, на первый взгляд, более чем странен:

В Элизии Василий Тредьяковский
(Преострый муж, достойный много хвал)
С усердием принялся за журнал.
В сотрудники сам вызвался Поповский,
Свои статьи Елагин обещал;
Курганов сам над критикой хлопочет,
Блеснуть умом «Письмовник» снова хочет;
И, говорят, на днях они начнут,
Благословясь, сей преполезный труд,
И только ждет Василий Тредьяковский,
Чтоб подоспел Михайло Каченовский. [I, 443–444]

Своеобразие этой эпиграммы заключается в том, что в ней из живых упоминается только Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842), бывший редактором журнала «Вестник Европы» в 1815–1830 годах. Всех остальных, названных в эпиграмме Пушкина в качестве приглашенных сотрудничать в новом журнале, кроме самого Михаила Каченовского, к 1829 году уже давно не было в живых.¹ Упоминаемый в тексте эпиграммы «Письмовник» — главный труд Н.Г. Курганова был опубликован в 1769 году, тогда еще под названием «Российская универсальная грамматика». Ничего не имея против деятельности конкретных людей, Пушкин обращается к их именам затем, чтобы высказать свое мнение относительно того, каким будет новый журнал Каченовского, известного своей приверженностью идеалам культуры классицизма и последовательным консерватизмом. В другой эпиграмме того же года Пушкин, развивая свою мысль, скажет о Каченовском, «журналами обиженном»:

¹ Василий Кириллович Тредьяковский (1703–1768); Николай Никитич Поповский (1730–1760); Иван Перфильевич Елагин (1725–1794); Николай Гаврилович Курганов (1725–1796).

<...> Что господин парнасский старовёр
(*В своих статьях*)¹ бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор. [I, 444]
«Эпиграмма», 1829

Журнал «Вестник Европы» неизменно не вызывает симпатией поэта, и главная причина кроется в имени издателя и именах тех, кого тот приглашает к сотрудничеству. Даже само название журнала вызывает у поэта протест:

В журнал совсем не европейский,
Над коим чахнет старый журналист,
С своею прозою лакейской
Взошел болван семинарист. [I, 463]

«Старый журналист» — это тот же М.Т. Каченовский, а «болван семинарист», который пришел в «Вестник Европы» «с своею прозою лакейской» — это Николай Иванович Надеждин (1804—1856). Фигура этого литератора одна из самых сложных и противоречивых в пушкинской эпохе. Будучи последовательным сторонником монархического режима, Надеждин постоянно подчеркивал свою преданность ему в литературно-критических выступлениях. Его критика относительно произведений Пушкина отличалась грубостью и бестактностью (особенно яркими были нападки на «Евгения Онегина» и южные поэмы). В журнале Каченовского, который был предметом эпиграмм Пушкина, в том числе и тех, о которых мы упоминали, состоялся дебют Надеждина-критика. А журнал этот, о чем уже говорилось выше, имел репутацию оплота консерваторов и староверов, сторонников охранительной по отношению к монархии идеологии.

Есть у Пушкина эпиграмма на М.Т. Каченовского «**Жив, жив Курилка!**» (1825), интересная тем, что созданный в ней образ журналиста выходит за рамки конкретного, хорошо известного в журналистских кругах человека:

Как! жив еще Курилка журналист? —
— Живёхонек! всё так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Всё тискает в свой непотребный лист

¹ Курсив А.С. Пушкина — С.А., С.В.

И старый вздор и вздорную новинку. —
— Фу! надоел Курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет. — Да... плюнуть на него. [1, 341–342]

И хотя адресат в эпиграмме обозначен конкретно, но сухость и скука, грубость и глупость, зависть к более одаренным собратям по перу у Пушкина становятся словно бы характерными чертами журналиста вообще. Его журналист привык все тискать «в свой непотребный лист». Упоминание «старого вздора» и «вздорной новинки» характеризует то содержание, которым современный журналист наполняет печатные издания.

В то же время в лирике Пушкина, не связанной с жанром эпиграммы, концепт журнал может наполняться содержанием положительного характера. Так послание «**К другу стихотворцу**» (1814), обращенное к судьбе поэта и его творений, как в историческом плане, так и в современном обществе, говорит о том, насколько трудна жизнь художника слова, о том, как трудно прожить в этом мире лишь на литературные заработки:

<...> Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, *питают* — *лишь журналы*;
Катится мимо их Фортуны колесо... [1, 19]

Журнал выступает в качестве единственного *источника материального достатка* для поэта, который не бывает по-настоящему богат. Журнал выполняет в судьбе поэта спасительную роль.

Упоминание журнала появляется в послании еще раз, когда поэт раскрывает своему «другу стихотворцу» все преимущества отказа от поэтической деятельности. Для примера он вспоминает историю о том, как «миряне простые» обратились к священнику, «который первым мудрецом издавна слыл», с просьбой наставить их грешных относительно пьянства. Встретив самого священника пьяным, они укоряют его, что он сам пить запрещает и «быть трезвым всякому всегда»

повелевает, на что священник отвечает: «Живите хорошо, а мне — не подражайте». Поэт сравнивает себя с таким священником:

<...> И мне то самое пришлось отвечать;
Я не хочу себя нисколько оправдать:
Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
Проводит тихой век без горя, без заботы,
Своими одами *журналы не тягчит*,
И над экспромтами недели не сидит!
Не любит он гулять по высотам Парнаса,
Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса,
Его с пером в руке Рамаков не страшит;
Спокоен, весел он, Арист, он — не пиит. [I, 20]

Журнал в данном контексте выступает уже как прибежище поэта, который, в свою очередь, отягощает («тягчит») его своими одами. Чуть ниже есть утверждение о том, что журнал — это то, что может принести поэту славу, но: «Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое». Значит, тот, кто не отягощает журналы своими одами, пусть не имеет славы, но зато живет вдвое спокойнее. Хотя, по словам Пушкина, этот тот, «кто, ко стихам» не чувствует «охоты», а значит, «не пиит». Спокойствие настоящему поэту не свойственно.

Журнал в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) вновь выступает в спасительной для поэта роли. На заявление Поэта о том, что он избирает свободу, Книгопродавец замечает:

<...> Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки *журналисты* бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра. [I, 314–315]

Журнал в лице своих представителей — журналистов у Пушкина не случайно бродит «вкруг лавки»: он и есть то, о чем мечтают «нищие певцы», куда «можно рукопись продать». Журнал стремится к тому, чтобы оправдать ожидания «нетерпеливых чтецов».

Еще одно наполнение концепта журнал, схожее с тем, которое мы наблюдали в послании «К другу стихотворцу», находим во «**Втором послании к цензору**» (1824). Вспоминая историю своих отношений с цензором, поэт просит у него прощения за собственную вспыльчивость, дерзость и брань и объясняет их тем, что был «последних, жалких прав без милости лишен», тем, что оказался среди гонимых. Теперь, находясь вдали от столичной цензуры, он может более спокойно наблюдать за происходящим:

<...> Теперь в моей глуши журналы раздирая,
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе и правила, и мыслей образ новый! [I, 329]

Журнал выступает, здесь, с одной стороны, в качестве *прибежища* «бедной братии», которая способна только на «стишонки», словно бы талантливые произведения на его страницах вовсе не появляются. А с другой, — именно журнал помог по-другому взглянуть на работу цензора. Этой мыслью проникнуто и появление журнала в тексте стихотворения «**Французских рифмачей суровый судия...**» (1833), в котором, наблюдая за тем, как много людей стало «марать бумагу», «тисненью предавать труды свои спеша», поэт советует им:

<...> Заняться службою гражданской иль военной,
С хваленым Жуковым¹ табачный торг завести
И снискивать в труде себе барыш и честь,
Чем объявления совать *во все журналы*,
Вельможе пошлые кропая мадригалы,
Над меньшей собратьей в поту лица острясь,
Иль выше мнения отважно вознесясь,
С оплошной публики (как некие писак)
Подписку собирать — на будущие враки... [I, 329]

Журнал — это, в первую очередь, возможность дать любое объявление. Он же предоставляет свои страницы для «пошлых мадригалов» вельможе, что позволяет их авторам вознестись над теми, кого

¹ Табачный фабрикант.

на страницы журнала не пускают («над меньшей собратъёй»). Журнал, по Пушкину, является прибежищем «писак», публикующих в нем свои «враки», и он же занимается тем, что собирает подписку для того, чтобы и впредь эти «враки» печатать.

Своя особая роль есть у журнала в романе «Евгений Онегин» (1833).

Уже в первой главе, делясь с читателем воспоминаниями о том, как «кончил первую главу», как «думал уж о форме плана», о том, как назовет своего героя, поэт признается, что, пересмотрев все написанное строго, он заметил:

<...> Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу,
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!¹

В главе четвертой, повествуя о «вседневных занятиях» Онегина после объяснения с Татьяной, поэт замечает, что герой, среди прочих дел, «свой кофе выпивал, *плохой журнал перебирая*». Онегин, который, как мы помним, не слыл большим охотником до чтения, *не читает*, а именно *перебирает* плохой журнал, тем самым выражая свое отношение к определенному рода журналам.

Современные героям романа журналы (не обязательно литературные) могли всерьез их занимать, хотя в главе пятой поэт сообщает о том, что чтение гадательной книги Мартына Задеки занимает Татьяну значительно более, нежели Скотт, Байрон, Сенека и «даже Дамских Мод Журнал».

Журнал в романе выступает не только в качестве одного из средств характеристики героев, но и наполняется автобиографическим для поэта содержанием. Так, заглавный герой, не получив ответа на свои письма к Татьяне, вспоминает время,

¹ Пушкин А.С. Евгений Онегин // Избр. соч. В 2-х т. Т. 2. М., Худож. лит. 1973. С. 28. Далее роман «Евгений Онегин» цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

<...> Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за́ ворот взяла
И в темный угол заперла. [143]

Именно в это время Онегин «стал вновь читать» все «без разбора», не только Гиббона, Руссо, Беля, Фонтенеля и прочих:

<...> Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene, господа. [144]

Журнал в данном контексте представлен как *источник поучений*, а тот факт, что их на страницах журналов «твердят» свидетельствует о том, что это стало уже довольно длительным во времени явлением. С другой стороны, — это *место брани* на поэта, место в котором можно встретить самые неожиданные «мадригалы» в его адрес.

В этой же главе присутствует деталь, которая свидетельствует о том, что журнал в первой четверти XIX века стал весьма распространенным явлением. В воспоминаниях о времени хандры героя есть упоминание о том, что это было время, когда Онегин «чуть с ума не своротил или не сделался поэтом», но походить на него уже стал:

<...> Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta
Иль Idol mio и ронял
В огонь то туфлю, то журнал. [145]

Концепт средства массовой информации у Пушкина, как мы видели, представлен газетой и журналом. Газета еще не играет в жизни, как столичных жителей, так и провинции, значительной роли. С другой стороны, журнал, в отличие от газеты, в достаточно малой степени воспринимается поэтом как средство массовой информации. Более всего он представлен в качестве явления литературной жизни, в котором есть свое положительное начало, но отрицательных черт в этом явлении значительно больше.

Николай Васильевич ГОГОЛЬ

1809–1852

Творчество Н.В. Гоголя последовательно ориентировано на анализ разных уровней, ступеней в иерархии современного общества и, соответственно, на изображение сельского народного и помещичьего быта, а также быта уездного и столичного, петербургского. И если для сельской и уездной жизни периодическая печать еще не стала заметным явлением: и автор, и герои вполне обходятся без нее, то в губернских городах и в столице многое в жизни и судьбе гоголевских героев связано с периодической печатью.

Характеристика тех, кто появляется на Невском проспекте в одноименной повести 1835 года «ближе к двум часам», свидетельствует о том, что чтение газет для определенной части столичных жителей стало таким же обязательным, как беседы со своим доктором или чашка «кофию или чаю»: «Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и *важную статью в газетах* о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю <...>»¹

Есть в данном эпизоде и своя ирония относительно предпочтений читателей газет: «важная статья» о приезжающих и отъезжающих, словно бы в газетах ничего другого важного и интересного не было.

Следующее упоминание газет снова подтверждает сделанное наблюдение. Говоря о «странных характерах», встречающихся на Невском, автор признается, что заблуждался относительно тех «людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды». Он сначала думал, что это сапожники. Однако позже

¹ Гоголь Н.В. Невский проспект // Гоголь Н.В. Избр. соч. В 2-х т. Т. 1. М., Худож. лит., 1978. С. 405. Далее произведения Н.В. Гоголя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

выяснилось: «<...> они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию всё порядочные люди». [I, 406] Значит, среди столичных жителей уже была такая категория людей, которые занимались исключительно прогулками и «чтением газет по кондитерским», и последнее их занятие было одним из свидетельств того, что они «порядочные люди».

Повесть «Портрет» (1835) обращена к анализу механизма и последствий измены ради корысти художническому долгу. Ее центральный мотив — необыкновенный портрет с живыми глазами, обладающий сверхъестественной силой. Сокровище, случайно обнаруженное художником Чартковым в раме портрета, сначала приводит его к мысли о возможности спокойной работы, по крайней мере, в течение трех лет: можно «запереться в комнату, работать... три года для себя, не торопясь, не на продажу». На краски и гравюры, на содержание квартиры, на обеды и чай теперь есть. Однако эти мысли сменяются другими замыслами, и для реализации последних Чартков обращается к помощи прессы. Охваченный необоримым желанием «схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету», «взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю *ходячей газеты*, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Чарткова»...» [I, 467]

Некоторые исследователи творчества Гоголя (Н. Л. Степанов) считают, что в «издателе *ходячей газеты*» узнаваем Фаддей Булгарин¹, а сама газета — это «Северная пчела». Гоголевского издателя более всего характеризует даже не столько то, как он радушно принял художника, подробно расспросив «об имени, отчестве, месте жительства», сколько тот факт, что статья «О необыкновенных талантах Чарткова» появилась в его газете «вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах». Тем самым создается впечатление, что это явления едва ли не одного порядка.

¹ Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859), писатель и журналист, издатель и редактор журналов «Северный архив», «Сын Отечества» и др. С 1825 по 1859 г. издавал газету «Северная пчела».

Не менее выразительна и сама статья, представляющая нового необыкновенно талантливому художника: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен; отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградой». [I, 467—468]

Всего лишь «десять червонцев» сделали Чарткова «прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением» для «образованных жителей столицы». Мастерская художника предстала для читателей как «великолепная», уставленная «портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов», да еще и с указанием точного адреса. Отметим, что сам автор статьи в этой мастерской никогда не бывал, но зато честно, хоть иногда фамильярно, отработал те самые «десять червонцев». Концепт газета в данном эпизоде наполняется у Гоголя *рекламным содержанием*: она готова давать любую информацию, никак не заботясь о ее достоверности, если за конкретное содержание этой информации заплачено. Естественно, что реакция того, кто заказал такую рекламную статью, была самой радостной: «С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостью; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно

польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доньше ему совершенно неизвестная <...>» [I, 468]

Хотя художник и называет публикацию, которая вызвала в нем самые радостные ощущения, объявлением, на самом деле — это настоящая рекламная статья. Реакция Чарткова примечательна еще и тем, что дает возможность почувствовать, какой ценностью для современников Гоголя обладало не то что похвальное слово, высказанное печатно, а уже сам факт, что кого-то «печатным образом» называют по имени и отчеству. Сам Чартков почитает такой факт за высокую честь. Значит, само упоминание имени в газете, а тем более, если помимо упоминания сказано еще и похвальное слово, почиталось за честь.

Однако помимо чести как таковой, газетное слово принесло и вполне реальную практическую пользу. На следующий день после выхода статьи в мастерской художника появилась дама, которая буквально с порога заявила: «Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было...» [I, 468] Одна хвалебная публикация у читающей публики может создать впечатление, что о художнике «столько пишут». Даже явное расхождение между написанным в газете и тем, что открылось даме в мастерской, не может поколебать ее уверенности в великолепном таланте Чарткова — такова сила веры в печатное слово. А отсутствие тех великолепных полотен, о которых с восторгом писал журналист, всегда можно объяснить, что и сделал художник.

Заказное выступление газеты с хвалебной статьей не осталось фактом единичным. Периодическая печать постоянно преумножала славу Чарткова: «Когда в журналах появлялась *печатная хвала* ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой *печатный лист* везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались». [I, 475–476]

Гоголь развивает мысль, согласно которой периодическая печать, с одной стороны, выступает в качестве *источника роста популярности, славы*, а также *материального благополучия* («заказы увеличивались»). А с другой, ее *хвалу можно купить* «за свои же деньги», а потом еще и тешить себя этой купленной славой «до самой простодушной наивности».

Пришло время, когда «некоторые, знавшие Чарткова прежде», заметили, что в нем начал исчезать талант, угасать дарование, сам он, однако, этого не замечал, и одной из причин такой его слепоты была периодическая печать: «Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже *в газетах и журналах* читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович» <...>» [I, 476]

Газеты и журналы мешают художнику объективно видеть и оценивать себя не только внешне, но и внутренне, когда прилагательные «почтенный» и «заслуженный» начинают приниматься за чистую монету, хотя читатель уже уяснил, что «печатная хвала» куплена Чартковым «за свои же деньги». В итоге, периодическая печать оказывается отчасти виновной в той трагедии, которой закончилась история художника Чарткова.

В повести «Нос» (1836) писателя волнует проблема искаженных представлений о ценностях жизни. Такие искаженные представления характерны, прежде всего, для бюрократического сознания, ярчайшим примером проявления которого является майор Ковалев. Он выступает как трагикомическая жертва собственного чиновничества, самоотожествления человека с присвоенным ему чином, званием.

Первый раз газета появляется в повести в качестве детали интерьера кондитерской, куда зашел майор Ковалев, чтобы удостовериться, а не представилось ли ему исчезновение носа. Среди прочих деталей он замечает, что «на столах и стульях валялись залитые кофеом вчерашние газеты». [I, 436]

Не найдя понимания у встреченного им собственного носа и боясь того, что тот может, «пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города», герой решил обратиться к помощи газеты. При этом он уверен, что в таком решении «само небо вразумило его». Газетное слово, в глазах героя, обладает той могущественной силой, которая способна привести неприлично ведущий себя нос к порядку: «Он решился отнестись прямо *в газетную экспедицию* и заблаговременно сделать *публикацию* с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания». [I, 439]

В этом решении майора Ковалева — понимание газетной публикации, а значит, и газеты в качестве *средства призвать на помощь* окружающих, вывести постигшее его несчастье за пределы только его личной

проблемы. Решение представляется ему настолько принципиально важным, что он «велел извозчику ехать в газетную экспедицию, и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «скорей, подлец! скорей, мошенник!» [I, 439]

Майор Ковалев настолько уверовал в газетную публикацию как средство поставить собственный нос на место в прямом и переносном смысле, что в приемной, где оформляют объявления, заявляет, что он желает «припечатать». И позже, когда он называет случившееся «мошенничеством или плутовством», герой снова повторяет, что просит «только припечатать», то есть разоблачить и заклеить безобразное поведение его носа.

Ожидая своей очереди, майор Ковалев замечает, что «почтенный чиновник», принимающий объявления, занят только проблемой количества букв в подаваемых объявлениях, содержательная сторона того, что завтра будет напечатано в газете, его не интересует. Благодаря наблюдениям героя, читатель имеет возможность узнать о том, объявления какого содержания публиковались современной прессой: «По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра». [I, 440]

Объявления передают сам дух времени, в котором можно получить «в услужение» кучера «трезвого поведения» или девку 19 лет, которая упражнялась «в прачечном деле», можно купить молодую горячую лошадь «семнадцати лет от роду», дачу с местом для разведения превосходного березового или елового сада, можно купить даже «старые подошвы». После таких объявлений возникает ощущение, что нет ничего удивительного даже в том, что в газете может появиться и объявление о пропаже носа у майора Ковалева, а тот, кто «этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение».

Однако чиновник, принимающий объявления, выслушав историю героя, заявляет, что не может «поместить такого объявления в газетах»,

потому что «газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов». [I, 441] Значит, определенная часть читателей видела, по версии Н.В. Гоголя, в газетах источник «несообразностей и ложных слухов», то есть газеты давали для такого видения основания. Примечательно, что сам майор Ковалев в произошедшем с ним не видит ничего несообразного, на что чиновник имеет свое соображение: «Это вам так кажется, что нет. А вот, на прошлой неделе, такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения». [I, 441–442]

Даже убедившись в отсутствии носа у майора Ковалева, чиновник отказывается принимать несуразное, с его точки зрения, объявление, тем более что и выгоды для героя в таком газетном сообщении он не видит, однако тут же дает парадоксальный, на первый взгляд, совет: «<...> Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос), или так, для общего любопытства». [I, 442]

Получается, что объявление о пропаже носа в безымянной газете, которую представляет чиновник, дать нельзя, дабы не «потерять репутацию», а вот в «Северной пчеле» можно описать произошедшее с майором Ковалевым «как редкое произведение натуры», да еще и «для пользы юношества». Газета Фаддея Булгарина представлена Гоголем, таким образом как источник несуразностей, которые выдаются к тому же, как обладающие воспитательным потенциалом.

Следующий за таким советом незначительный, на первый взгляд, эпизод дает понимание газеты как *средства поднятия настроения*. В состоянии совершенной безнадежности майор Ковалев «опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе всё испортила!» [I, 442]

В финале повести автор удивляется тому, «как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том

смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо!» [I, 452] Опять же, подавать объявление о пропавшем носе «неприлично, неловко, нехорошо», а вот напечатать «статьку» об этом в «Северной пчеле», да еще и «для пользы юношества» и «так, для общего любопытства» — вполне нормальное дело.

Герой повести «Записки сумасшедшего» (1835) титулярный советник Поприщин живет в состоянии раздвоения личности. С одной стороны, его отличают способность критически мыслить и даже протестовать, а с другой, он постоянно испытывает приступы зависти к тем, кто его унижает и оскорбляет, пользуясь своим социальным и материальным положением. Он мечтает о том, чтобы стать таким же обладателем прав и привилегий, как и его притеснители. Повествование от первого лица дает писателю возможность раскрыть своеобразие восприятия мира человеком, который чем далее, тем более теряет способность адекватно оценивать происходящее в окружающем пространстве. Его записки свидетельствуют о том, как жадно и с интересом герой воспринимает, буквально впитывает все происходящее. Одним из явлений окружающего мира, влияющих на сознание героя, стала периодическая печать. Услышав говорящую по-человечески собаку, герой вспоминает, что ему известно «множество подобных примеров», которые уже случались на свете: «Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю». [I, 535–536]

Если история про рыбу, которая сказала два слова на «странном языке», известна герою на уровне слухов («говорят»), то о двух коровах, спросивших себе в лавке фунт чаю, он узнал из газет. Слухи и газеты, таким образом, оказываются уравненными в том, какого характера информацию они несут. Такая информация могла быть одной из причин того, что сознание героя начинает воспринимать окружающий мир искаженно. Следовательно, газеты выступают в качестве одной из причин такого искажения.

Автор записок упоминает конкретную газету, на публикации которой он реагирует особенно активно: «Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-Богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут <...>» [I, 536]

Представления Поприщина о французах и о том, как с ними надо поступать, формируются благодаря все той же «Северной пчеле» Фаддея Булгарина, которая, как видим, не давала Гоголю покоя, о чем свидетельствуют нелицеприятные упоминания о ней, переходящие из одной повести в другую. Автору записок нравится то, как пишут курские помещики, сам Гоголь при этом не дает примеров того, как они пишут, и не имеет возможности, в силу своеобразия жанра, прокомментировать утверждение героя. Читателю остается только догадываться о том, каковы были достоинства опубликованного курскими помещиками в газете «Северная пчела».

Представления героя о том, что делается за границей, также формируют газеты. В записи от 5 декабря можно прочитать: «Я сегодня все утро *читал газеты*. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. *Пишут*, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? *Говорят*, какая-то донна должна взойти на престол. Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, — не может стать, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, стать может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то; Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины». [I, 544—545]

Данный эпизод свидетельствует о том, насколько злободневными для российского читателя были события, происходившие в Испании, начиная с 1833 года. Эти события были объектом пристального внимания периодической печати, в том числе и газеты «Северная пчела». «Испанский кризис» начался 29 сентября 1833 года, когда умер испанский король Фердинанд VII. Наследницей престола была поспешно объявлена его трехлетняя дочь Изабелла II, вступление на престол которой послужило причиной начала гражданской войны. Герой «Записок сумасшедшего», благодаря газетам, находится в курсе происходящих событий и верно понимает их суть в самом начале его рассказа об испанских делах, однако постепенно это верное понимание сменяется неадекватным восприятием и этих дел, и своей собственной роли в них. Его «опасения» за судьбу испанского престола — это опасения России, которая сама является монархией, за судьбу одного из монархических домов Европы.

В связи с посещением театра Попришин упоминает и о тех, кто делает современные газеты, о журналистах. Его записи сохранили воспоминания о том, что вызвало смех героя в каком-то водевиле. Это были стишки на стряпчих, а также о купцах и их сынках, которые «дебошничают и лезут в дворяне»: «Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят все бранить и что автор просит от публики защиты». [I, 538]

Герой никак не комментирует характеристику, данную журналистам создателями водевиля, по всей вероятности, будучи согласен с нею.

В поэме «Мертвые души» (1842) периодическая печать представлена исключительно газетами. Впервые они упоминаются в эпизоде, где Павел Иванович Чичиков, осматривает город NN: «Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было *сказано в газетах* при описании иллюминации, что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». [II, 136–137]

Концепт газета наполняется здесь содержанием *средство искажения истинного положения дел*. За «красивостью» описания того, как выглядит сад «широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день», стоит неприкрытое желание угодить «господину градоначальнику», высказать ему свою признательность и уважение. Всего лишь маленький эпизод поэмы сразу дает представление о том, какого характера была губернская печать, в каком положении она находилась. Не случайно, видимо, и то, что роль ее в развитии сюжета, в обрисовке действующих лиц и создании характеров нельзя назвать в поэме значительной. Косвенное подтверждение этому есть в эпизоде, когда на бричку Чичикова, покидающего деревню Ноздрева, «наскakала коляска с шестериком коней». На образовавшуюся «сумятицу» сразу же собрались мужики из ближайшей деревни: «Так как подобное зрелище, — замечает автор, — для мужика сушая благодать, все равно что для немца *газеты* или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята». [II, 202] Происшествие на дороге для русского мужика — это то же самое, что

чтение газет для немца. Крестьяне в тех местах, где путешествует Чичиков, еще толком и не знают, что такое газета. Не только крестьяне, но и помещики вполне обходятся без нее.

Другое дело жители, прежде всего чиновники губернского города. В связи с характеристикой предпочтений почтмейстера в чтении автор замечает, что «прочие тоже были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». [II, 256] Нельзя не заметить иронии автора, когда «более или менее» просвещенными оказываются не только те, кто читали Карамзина и «Московские ведомости», но даже и те, кто «и совсем ничего не читал», Ирония сказывается и в том, что сочинения Карамзина в деле просвещения губернских чиновников оказываются словно бы приравнены к газете «Московские ведомости».

Не случайно, что именно в пересказе почтмейстера, как одного из самых просвещенных, читатель узнает историю о капитане Копейкине. Пытаясь оправдать нелепость своего предположения о том, что Чичиков — это и есть капитан Копейкин, почтмейстер сначала признал свою ошибку и даже публично назвал себя «телятиной»: «Однако ж, минуто спустя, он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что *видно по газетам*, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека Бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было». [II, 296–297]

Газета, в глазах почтмейстера и других чиновников города, выступает в качестве авторитетного источника информации о том, как сегодня «усовершенствована механика», позволяющая происходить самым невероятным событиям, хотя в итоге окружающие все равно «усумнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко». [II, 297]

В этом же эпизоде газеты упоминаются в поэме и в связи с предположением, согласно которому «не есть ли Чичиков переодетый Наполеон». Автор находит такому предположению вполне закономерное объяснение: «... нужно помнить, что всё это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере на целые восемь лет, заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» *зачитывались немилосердно* и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни

на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали мерку овса? как воспользовались вчерашней порошей?» говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но, тем не менее, дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе». [II, 297–298]

Получается, что эпоха после «достославного изгнания французов» в России, характеризовалась повышением внимания к политике, что проявилось, в том числе, и в интересе к периодической печати, особенно к публикациям «Московских ведомостей» и «Сына отечества». Тот факт, что «наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ» постоянно спрашивались о том, «что пишут в газетах», и нет ли в них сообщения о том, что Наполеона выпустили с острова, ставит газеты в оппозицию по отношению к разного типа пророкам, один из которых упоминается в тексте. Значительной частью российского общества газеты уже начинают восприниматься как источник сведений, более надежный, нежели всевозможные авторы пророчеств и предсказаний.

Примечательно, что герой, похождения которого составили основу сюжета поэмы, Павел Иванович Чичиков, имеет свое представление о периодической печати, в частности о газетах, но это представление в значительной степени расходится с тем, о котором говорилось выше. Встретив погребальную процессию, герой приходит к таким размышлениям: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот *напечатают в газетах*, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровожаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови». [II, 308]

Герой высказывает явное недоверие газетам, которые могут написать много «всякой всячины», прибавить то, чего не было, расписать несуществующие заслуги, хотя из всех и заслуг-то только и были «густые брови».

Русская поэзия XIX – XX веков

Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ
1792 – 1878

Поэт Петр Андреевич Вяземский в стихотворении «Когда? Когда?» (1815), задаваясь вопросами о том, «когда утихнут дни волненья» и «воскреснут добрые нравы», когда не станет корысти «в храминах суда», а поэты «будут скромны», когда дружба будет «в бедствиях тверда» и т. д., среди прочих задает принципиальный для него вопрос:

<...> Когда газета позабудет
Людей морочить без стыда,
Суббота отрицать не будет
Того, что скажет среда?
Когда, когда?¹

В этом вопросе отразилось представление о том, что газеты — это *средство морочить людей*, и делают они это «без стыда». Кроме того, пресса у Вяземского наполняется значением *непостоянства мнений*, готовности в субботу отрицать то, что было сказано в среду.

Есть у поэта и другое видение прессы. К примеру, в главе «Из путешествия в стихах», которая называется «Станция» (1825), поэт вспоминает о том, как он жил в Варшаве,² как особенно любил читать одну из городских газет. «Дмушевского листы», так называет поэт газету, издававшуюся известным актером, в которой тот выступает для него как «летописец верный». Издатель этой газеты, по наблюдениям поэта, отличается «неутомимостью примерной» и «зорким глазом». Через свою газету он «ведет историю Варшавы», сохраняет ее облик, выразительные, запоминающиеся черты для будущего:

¹ Вяземский П.А. Когда? Когда? // Вяземский П.А. Соч. в 2-х т. — М.: Худож. лит., 1992. С. 67.

² П.А. Вяземский служил в Варшаве с 1817 по 1921 год. Был обвинен в «польских симпатиях», отправлен в отставку и отдан под тайный надзор полиции.

<...> На все вперя зоркий глаз:
Спектакли, выезды в заставы,
Продажа книг, побег собак,
Проказы, добрых дел примеры,
Волнение мод и атмосферы,
Движенья жизни — смерть и брак;
Движенья биржи — курс, банкроты;
Дела веков, дела минуты, —
Все сгоряча в сырой листок
Передаёт печать прилежно,
Уздам и потомству впрок...¹

Приведенный отрывок интересен тем, что в нем представлено содержание одной из неправительственных российских газет, которая издавалась частным образом. «Зоркий глаз» и «словоохотный язык», признается поэт, заставляли его «заслушиваться нежно» этого «варшавского вестовщика» и даже более того:

<...> На голос дружного привета
Ответ созвучный я давал:
Поэзией была газета,
И над афишкой я мечтал.
Я волю дал широким перьям
Залетной памяти моей,
Мечтой коснулся я преддверьям
Чертогов прелестей и фей.²

По предыдущему отрывку мы знаем о том, каким содержанием наполнялась любимая газета, знаем также и о том, что ее издатель отличался неутомимостью примерной», «зорким глазом», «словоохотным языком», поэтому нет ничего удивительного в том, что для автора «путешествия в стихах», по его собственному признанию, «поэзией была газета». Такое возвышение газеты до поэзии — довольно редкое явление не только в русской, но и в мировой литературе вообще. Чаше всего художественное сознание склонно противопоставлять периодическую печать (особенно газеты) и художественное творчество, в первую очередь поэзию. А у Вяземского они становятся синонимами, и такое содержание концепта газета можно рассматривать как исключительно высокую оценку конкретного периодического издания.

¹ Вяземский П.А. Станция // Вяземский П.А. Соч. в 2-х т. — М.: Худож. лит., 1992. С. 140.

² Там же. С. 140—141.

* * *

Алексей Константинович ТОЛСТОЙ 1817–1875

Поэма Алексея Толстого «**Портрет**» (1874) – это попытка привести в порядок «воспоминаний рой», составить «из их толпы цветистой и летучей» поэтический обзор, который «другим послужит в назиданье». Среди этого «роя» воспоминаний есть и связанные с периодической печатью:

Все ж из меня не вышел реалист —
Да извинит мне Стасюлевич это!
Недаром свой мне посвящала свист
Уж не одна *реальная газета*.
Я ж незлобив: пусть виноградный лист
Прикроет им небрежность туалета,
И пусть Зевес, чья сила велика,
Их русского сподобит языка!¹

Реакцию газет на творчество и жизненную позицию поэта он сам определяет как «свист». Еще более выразительной и сниженной характеристикой периодической печати выступает упоминание о «виноградном листе», призванном прикрыть «небрежность туалета», тем более, что ближайшая культурная ассоциация связана с фиговым листом. Ко всему прочему, «реальные газеты», которые посвящали поэту свой свист, сами еще не «сподобились» русского языка.

* * *

Яков Петрович ПОЛОНСКИЙ 1819–1898

В стихотворении «**Прогулка по Тифлису**» (1846), рассказывая о привычном времяпрепровождении, Яков Полонский отмечает в качестве одного из обязательных занятий – чтение газет. Отмечает и то,

¹ Толстой А.К. Портрет // Толстой А.К. Соч. в 2 т. – М.: Худож. лит., 1981. Т. 1. С. 365.

что в размеренной тифлисской жизни наступает такой момент, когда «журналы запоздали», а «читать газеты лень». Чтение газет выступает наряду с ежедневными прогулками, обсуждениями «в собрание» военных дел и новостей, общением с военными и т.п. в качестве одного из важнейших занятий.

В главе «Новизна впечатлений» незаконченной поэмы «Братья» (1869) поэт рассказывает уже о жизни в Риме. Вспоминая хозяина дома, в котором остановился Игнат, поэт замечает, что тот был уверен: «Ни одного нет в Риме негодяя», и в подробностях передает характер его занятий, которым, казалось, не было предела:

<...> целый день, бывало,
Он в лавочке то скоблит, то сверлит;
Но спешная работа не мешала
Ему порой принять веселый вид —
Соседа подозвать, мигнувши глазом,
Похвастаться, что он почтен заказом
Правительства, что это для него,
Гробовщика, приятнее всего, —
Уже с утра визжал его подпилоч,
С утра стучал он молотом своим,
Так к вечеру немало он носилок
Сколачивал и был неутомим,
Но гробовщик ни за какую цену,
Ни для какого в свете мертвеца
Не стал бы делать гроба — за измену
Великую почел бы...¹

Постоянная занятость не мешает гробовщику всегда быть в курсе того, о чем пишут свежие газеты, их содержание является для него возможностью обсудить последние общественные события, такие, например, как выступление очередного политического деятеля:

Вот жильца
Увидел он, под зонтом, в серой блузе,
И кличет: «Гей! зайдите о французе
Потолковать. — Что стали говорить
Газеты?! — О! О! надо нам спешить
С носилками. А что сказал Маццини
С трибуны — вы читали? — Я читал...

¹ Полонский Я.П. Новизна впечатлений // Полонский Я.П. Лирика. Проза. — М., 2002. С. 249–250

Божественно!.. Э!.. никакой Рубини
Так не споет!»...¹

Опубликованная в газете речь политика производит на гробовщика не меньшее впечатление, чем выступление знаменитого итальянского тенора Джованни Батиста Рубини (1794 или 1795–1854). Впечатление было настолько ярким, что старый гробовщик, по его признанию, даже целовал газету, а затем «всю ночь не спал»:

... Я губы измарал
Печатными чернилами, *целуя*
Газету – всю ее исцеловал.
И знаете ли, что вам доложу я,
Синьор Иллючи! Я всю ночь не спал –
Все думал: для чего им нужно папство,
Когда оно и нам не нужно! Рабство
Проклятое – и больше ничего!»²

Живя довольно бедно, о чем неоднократно упоминается в поэме, простые итальянцы не могли отказать себе в регулярном чтении газет. Это позволяет им, как и старому гробовщику, не только весьма эмоционально и даже страстно реагировать на происходящие события, но ощущать себя и свидетелями, и участниками этих событий,

* * *

Аполлон Николаевич МАЙКОВ

1821 – 1897

Для лирики Аполлона Майкова характерно разнообразное и даже порой неожиданное наполнение содержания концепта газета. Программным в этом отношении является стихотворение «Газета» 1845 года. В нем, по всей вероятности, отразились впечатления поэта, который в 1842–1844 годах, живя в Италии и Франции, следил за жизнью России и Европы по публикациям в периодической печати. Лирический сюжет стихотворения развивается в настоящем времени, в котором, «сидя в тени виноградника, – признается лирический ге-

¹ Там же. С. 250.

² Там же.

рой, — жадно порою читаю / Вести с далекого Севера». Эти вести, приносимые газетными страницами, наполнены драматическим и даже трагическим содержанием:

Шумно за Альпами движутся в страшной борьбе поколения:
Ломятся с треском подмостки старинной громады, и смело
Мысль обрывает кулисы с плачевного зрелища правды.¹

В отличие от «спокойно-великого Рима», происходящее «на Севере», то есть на Родине, в России наполнено напряжением и громами борьбы:

<...> Точно из верной обители смотришь, как молнии стрелы
Тучи чертят, вековые леса зажигают,
Крест золотой с колокольни ударом сорвут и разгонят
В страхе людей, как пугливое стадо овец изумленных... [99]

Концепт газета наполнен здесь содержанием *достоверные и трагические вести*, которые обладают большой силой воздействия на читателя, настолько большой, что, как результат чтения газетных новостей, лирический герой загорается стремлением:

Так бы хотелось туда! Тоже смело бы, кажется, бросил
Огненный стих с сокрушительным словом!.. [99]

Однако это стремление лирического героя угасает при воспоминании о той же периодической печати, но уже на Родине, о нравах, которые в ней царят, о подробностях «этой в целом торжественной драмы»:

... Поникнешь в раздумье
Вдруг головой: выпадает из рук роковая газета...
Но как припомнишь подробности в целом торжественной драмы,
Жалких Ахиллов журнального мира и мелких Улиссов;
Вспомнишь корысть их, как двигатель — впрочем, великого дел <...> [99]

В издательском деле Ахиллы стали жалкими и Одиссеи мелкими, хотя участвуют они все-таки в торжественной драме. Несмотря на то, что они являются участниками «великого дела», движет этими новоявленными

¹ Майков А.Н. Газета // Майков А.Н. Соч. в 2 т. Т. 1. — М., 1984. С. 99. Далее произведения А.Н. Майкова цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

Ахиллами и Одиссеями корысть, которая становится одним из важнейших составляющих того, что представляют собой современные средства массовой информации. Забыть о них, о том, чем наполнены газеты, позволяет всего лишь один взгляд любимой женщины, которая способна смотреть, «ревнуя меня не к газете, а к Нанне-соседке». Один этот взгляд заставляет забыть и об «общественной драме», и той грязи, которая ее сопровождает. Лирический герой возвращается в лоно простых человеческих отношений, в которых тоже есть своя борьба, но есть и «долгие лобзания», есть свое сопротивление, но «с сердцем» и «чуть не сквозь слез», есть свои укоры и брань (но ведь милые бранятся — только тешатся):

<...> Мгновенно

Все позабудешь: и грязь, и величье общественной драмы,
Бросишься мигом тебя целовать...
Ты противишься, с сердцем,
Чуть не сквозь слез, уклоняя уста от моих поцелуев, и после
Легкой борьбы добровольно уступишь, и долгим лобзаньем
Я заглушаю в устах у тебя и укоры, и брань. [99]

Сложившийся круг отношений с близким человеком сопротивляется проникновению в его пространство того, что приносит в него периодическая печать. В оппозиции *пресса — отношения с близким человеком* первая проигрывает, даже если благодаря ей приходят вести с далекой Родины.

В стихотворении «**Весь Неаполь залит газом...**» (1859) Аполлон Майков рисует жизнь ночного Неаполя, он видит мисс румяную Мери за работой, грудь которой «дышит», как

Дышит птичка, из-под лапы
У кота освободясь... [173]

Однако не все могут радоваться жизни ночного Неаполя, есть человек, который сознательно уходит в другое пространство, и это пространство, создаваемое газетой:

<...> Лишь в одном окошке лампа:
За газетой мистер Джон...
Точно саван примеряя,
Times разворачивает он... [172–173]

Человек, развертывающий газету, напоминает лирическому герою примеряющего саван, одеяние из белой ткани для покойников, то есть готовящегося к уходу в мир иной. Упоминание савана а данном контексте ассоциирует концепт газета с *загробным миром*, с пространством, которое противостоит жизни ночного Неаполя.

* * *

Алексей Михайлович ЖЕМЧУЖНИКОВ 1821 – 1908

Эпитафия Алексея Жемчужникова «Газете «Весть» (1871) основана на убежденности в том, что нет никакой трагедии в исчезновении очередного периодического издания, что это само по себе уже есть свидетельство *бесполезности прессы*, или, как минимум, какой-то ее части. Поэтому даже партия газеты «Вести» безболезненно продолжит свою жизнь после исчезновения ее печатного органа:

О том, что «Вести» нет, воздержимся тужить:
Она своим друзьям жить долго приказала;
И «Вести» партия без «Вести» будет жить, —
Не скажут про нее, что без вести пропала.¹

Зато в эпитафии «Нашей цензуре» (1871) звучит уверенность в том, что та самая цензура, которой «уж нет», и рука которой уж «не подымается, чтоб херить», бессмертна:

Тебя уж нет!.. Рука твоя
Не подымается, чтоб херить, —
Но дух твой с нами, и нельзя
В его бессмертие не верить!..²

Эпитафия вспоминает закон о печати 1865 года, которым отменялась предварительная цензура. К более обстоятельному разговору о нем мы вернемся в главе, посвященной Н.А. Некрасову.

¹ Жемчужников А. М. Избр. произведения. — М.-Л.: Сов. писатель, 1963. С. 108.

² Там же.

В миниатюре «После чтения газет» всего лишь четыре строки передают то впечатление, которое складывается у рядового читателя относительно происходящего в мире:

Над миром туча всё висит...
Чем это кончится — Бог знает!
И разразиться не грозит,
И разойтись не обещает.¹

Процитированное четверостишие может быть истолковано двояко. Либо газеты на самом деле *обладают способностью* передавать своеобразие переживаемых исторических моментов, либо они просто *умеют создавать ощущение* некоей неопределенности, некоего переходного состояния мира. Однако при любом истолковании значение и роль газет в обществе предстают существенными.

* * *

Алексей Николаевич ПЛЕЩЕЕВ 1825 – 1893

Стихотворение Алексея Плещеева, которое называется точно так же, как и стихотворная миниатюра Алексея Жемчужникова, «После чтения газет» (1854) констатирует сам факт того, что газеты выступают в качестве источника тяжелых новостей:

Мне тяжело читать *кровавые страницы*,
Что нам о племенных раздорах говорят,
Как тяжело смотреть на сумрачные лица
Семьи, где издавна господствует разлад <...>²

Концепт газета наполняется у поэта значением источника информации о кровавых событиях и о «племенных раздорах». Однако содержание читательского представления о газетах у Плещеева выходит далеко за рамки только трагичности происходящего в окружающем мире.

¹ Там же. С. 138.

² Плещеев А.Н. Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1975. С. 77.

Чтение газет заставляет лирического героя стихотворения вспомнить о своей любви к Отчизне, о том, как он «всей полнотой души» желает «цвести и крепнуть ей».

Газетная информация заставляет лирического героя лишний раз вспомнить и о том, что он не питает вражды «к племенам чужим». У него есть свое отношение к тому содержанию газет, которое можно определить как героическое:

<...> Рассказ о подвигах на поле грозной битвы
Восторгом пламенным мне не волнует кровь;
И к небесам я шлю горячие молитвы,
Чтоб низошла в сердца озлобленных любовь.¹

Показательно, что именно газеты с их «кровавыми страницами», рассказами «о племенных раздорах» и «о подвигах на поле грозной битвы» лелеют мечты лирического героя, как читателя газет, о том, чтобы «миновали дни тревог», чтобы народы позабыли «вражду и ненависть свою» и чтобы в конечном итоге: «Все племена слились в единую семью!»

* * *

Константин Константинович СЛУЧЕВСКИЙ 1837 – 1904

В стихотворении «**Не стонет справа от меня больной...**» (1883) лирический герой Константина Случевского признается:

<...> Газета дня передо мной раскрыта...
Она мне не нужна, я всю ее прочел:
По-прежнему в ходу ослиные копыта,
И за клочок сенца идет на пытку вол!

И так я утомлен отсутствием свободы,
Так отупел от доблестей людей,
Что крики кошек и возню мышей
Готов приветствовать как голоса природы.²

¹ Там же.

² Случевский К.К. Не стонет справа от меня больной...//Случевский К.К. Стихотворения и поэмы. М.-Л.: Сов. писатель, 1962. С. 145.

«Газета дня» в данном контексте дает возможность двоякого толкования. С одной стороны, под «газетой дня» можно понимать события дня прошедшего вообще, но с другой, «газета дня» может пониматься и как конкретное периодическое издание. Однако при любом толковании обращение к понятию «газета» наполняет его вполне конкретным содержанием. Газета выступает в качестве свидетельства того, что в окружающей действительности, как и прежде «в ходу», то есть пользуется спросом, грубость и тупость («ослиные копыта»). В этой действительности голод управляет поведением человека, заставляет его ради куска хлеба идти «на пытку».

Газета, как таковая, не подвергается вроде бы оценке лирического героя, однако уже сам факт того, что она может выступать свидетельством происходящего в окружающем мире, говорит в ее пользу. Тот, кто, обратившись к газете, «всю ее прочел», имеет возможность лишний раз убедиться в «отсутствии свободы», в «доблестях людей», от которых можно отупеть, людей, деятельность которых мало отличается от «криков кошек и возни мышей».

В поэме «Призрак» (1880) главная героиня Мария не может радоваться тому, что принимает у себя в имении Царя, о котором еще совсем недавно знала только по газетным публикациям. В поэме Царь ни разу не назван по имени, однако и без этого понятно, что речь идет об Александре I. В сознании героини он, прежде всего, тот, кто победил Наполеона, он своей борьбой «в защиту веры и короны» увлек «милльоны сердец» своих подданных:

<...> Под утро только задремала
Мария. Как глубоко спит!
Она всю ночь соображала,
Что Царь в дому ее гостит.
Царь! И какой еще? Милльоны
Сердец давно ли он увлек
В защиту веры и короны?
Пылал пожарами восток;
Стремился воинства поток;
Убитых церковь поминала,
Живые жались к знаменам...
И этот Царь — он тут, он сам!
Беседу вел... Чай наливала...
Давно ли *по столбцам газет*
За ним следил весь Божий свет?¹

¹ Случевский К. К. Призрак // Сочинения в стихах. — М.-СПб., 2001. С. 191–192.

«Столбцы газет» дают возможность всему миру, а с ним и героине поэмы, следить за деятельностью императора России. Эти «столбцы газет», в первую очередь, и более всего оказываются причастны к тому, что «милльоны» были увлечены «Царем Благословенным», что увидели в нем защитника «веры и короны». В видении Марии, газеты были буквально переполнены рассказами о Царе:

Рассказам места не хватало,
И царский облик виден был
Среди порывистого шквала
Событий — там, где Бог вершил...¹

Значит, и через несколько лет после войны с Наполеоном, когда уже стали историей «Бородино и бой под Красным, Париж, и Лейпциг и Москва»,² российская печать была полна рассказами о них, и этих рассказов было так много, что им даже «места не хватало». А император Александр I изображался этой печатью обязательно «среди порывистого шквала».

Герой поэмы «Ларчик» (1880) Петр Павлыч, решивший через семь лет после смерти жены «хлам разобрать, чердака дребедень», приступает «к священнодействию» и обнаруживает в старых хранящихся вещах настоящий «винегрет»: десять сорочек, кусок полотна, иссохшее мыло, «съеденный молью остаток сукна», старый сюртук, обглоданный зайка, посуда:

<...> И продолжает Петр Павлыч работу;
Перебирает бумаги в руках;
Письма он к письмам кладет, счет ко счету;
В *старой газете* прочел в новостях
Судное дело, когда-то большое...³

В поэме для героя остается непонятным, с какой целью его покойная супруга хранила на чердаке старые газеты, как впрочем, как впрочем, и все другие вещи, найденные им. Однако, была в этих старых газетах какая-то ценность, известная только покойной супруге,

¹ Там же. С. 192.

² Там же. С. 172

³ Там же. С. 237–238.

потому что рядом с ними герой обнаружил медальон с изображением возлюбленного своей покойной жены и его письма к ней. Тайна эта останется тайной, так же, как тайна содержания ларчика, который был положен в гроб вместе с женой, как тайна имени и местонахождения ее сына, рожденного от любовника.

* * *

Максимилиан Александрович ВОЛОШИН 1877–1932

В стихотворении «Газеты» (1915) у Максимилиана Волошина возникает выразительный образ газеты военного времени, которая каждое утро представляет «вестей горючих письма» и стремится «ожечь ползучим ядом» душу читателя. Образ наполнен натуралистически отвратными деталями:

<...> В строках кровавого листа
Кишат смертельные трихины -
Проникновенны, лезвиины,
Неистребимы, как мечта.

Бродила мщенья, дрожжи гнева,
Вникают в мысль, гниют в сердцах,
Туманят дух, цветут в бойцах
Огнями дьявольского сева.¹

Дело, которым занимается газета, представлено как «дьявольский сев». В стихотворении «Посев», написанном в том же году, Волошин уже дал философски-выразительный ответ на этот вопрос о том, что его более всего волнует в разгоревшейся войне. Не только то, что сегодня происходит на полях сражений по всей Европе, но и то, что взойдет на этих полях после войны. Поэт видит в будущем «бед и ненависти колос», который взойдет «в полях безрадостных побед», нена-

¹ Волошин М.А. Газеты // Волошин М.А. Средоточье всех пугей. Избранные стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники — М., 1989. С. 71–72. Далее произведения М.А. Волошина цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

висти между враждующими сегодня, но взойдет он завтра и будет расти, плодоносить после войны. И если в стихотворении «Посев» таким сеятелем выступает сама война, то в стихотворении «Газеты» «дьявольский сев» производят уже последние. Одним из средств такого «дьявольского сева» выступает ложь:

Ложь завлакивает мозг
Тягучей дремой хлороформа,
И зыбкой полуправды форма
Течет и лепится как воск.

И гниlostной пронизан дрожью,
Томлюсь и чувствую в тиши,
Как, обезболенному ложью,
Мне вырезают часть души. [72]

Не только откровенная ложь, но и «зыбкой полуправды форма» используется газетами для самых низменных целей. Нельзя не заметить того, как поэт продолжает подчеркивать натуралистически отвратные черты такого явления, как газеты военного времени. Газетная ложь оказывается тем, что позволяет вырезать «часть души». Поэтому спасение для душ тех, кто видит ложь и понимает, в чем кроется полуправда газетных сообщений, только в одном:

Не знать, не слышать и не видеть...
Застыть как соль... уйти в снега...
Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть! [72]

В поэме «Машина» (1922) из цикла философских поэм «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» (1922–1929) Максимилиан Волошин повествует о том, как в его современности распространяется информация. Научно-технические открытия усовершенствовали и ускорили этот процесс, передавая «в пространствах звуки и слова», но оказались бессильны в передаче даже «единой мысли человека»:

Осуществленье всех культурных грез:
Гудят столбы, звенят антенны, токи
Стремят в пространствах звуки и слова,

Разносит молния
Декреты и указы
Полиции, правительства и бирж, —
Но ни единой мысли человека
Не проскользнет по чутким проводам. [166]

Газета как средство массовой информации выступает в качестве некоего продолжения ротационной машины, как некий механизм, который «вырабатывает» правду «одну для всех, на каждый день и час»:

Ротационные машины мечут
И день, и ночь печатные листы,
Газеты вырабатывают правду
Одну для всех на каждый день и час:
Но ни одной строки о человеке —
О древнем, замурованном огне. [166]

Газеты, в представлении Максимилиана Волошина, не способны передать ни единой строки о человеке, вернее, о его истинной сущности, то есть о «древнем замурованном огне». Они передают внешнее, связанное с делами и поступками человека, которые лежат на поверхности, не касаясь внутренней, глубинной сути того, что движет человеком во времени и пространстве.

В поэме «Государство» (1922), написанной всего через две недели после поэмы «Машина», Максимилиан Волошин создает образ государства, которое способно исказить, переиначить философскую мысль, согласно которой правд может быть много, а истина одна. Если в предыдущей поэме у него «газеты вырабатывают правду», то в «Государстве»:

Есть много истин, правда лишь одна:
Штампованная признанная правда. [189]

«Признанная правда» — это та, которая разрешена государством, имеющим право ее штамповать. Выразительно сказано и о материале, из которого штампуются такая правда:

Она готовится
Из грязного белья
Под бдительным надзором государства
На все потребности,
И вкусы, и мозги. [189]

Газета выступает в качестве главного носителя такой штампованной и признанной, что равнозначно *государственной* правды:

Ее обычно сервируют к кофе
Оттиснутой на свежие листы,
Ее глотают наскоро в трамваях,
И каждый, сделавший укол с утра,
На целый день имеет убеждения
И политические взгляды, —
Может спорить,
Шуметь в собраниях и голосовать. [189]

Концепт газета понимается и в качестве обязательной составляющей утреннего кофе, и в качестве того, что можно буквально глотать «наскоро в трамваях». Прочитавший газету — это человек, который сделал себе «укол с утра», то есть ввел в себя дозу лечебного, а то и наркотического вещества. Человек, прочитавший газету, имеет и убеждения, и «политические взгляды», получает право и возможность «спорить, шуметь в собраниях и голосовать», однако все это только на один день.

Финал главки, посвященной газете в структуре государственной власти, более чем выразителен:

... Из государственных мануфактур,
Как алкоголь, как сифилис, как опий.
Патриотизм, спички и табак, —
Из патентованных наркотиков
Газета
Есть самый сильно действующий яд,
Дающий наибольшие доходы. [189]

В качестве средства массовой информации газета у Волошина стоит в одном ряду с такими «государственными мануфактурами», как «алкоголь», «сифилис», «опий», «патриотизм», «спички» и «табак». При этом она понимается как «самый сильно действующий яд», к тому же дающий этому государству «наибольшие доходы».

Так в поэме «Государство» у Волошина складывается совершенно нелицеприятная характеристика газеты как средства государственного управления, с подчеркиванием особой силы и значимости этого средства.

* * *

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА

1892–1941

В цикле «Маяковскому» (1930) концепт газета служит у Марины Цветаевой созданию образа великого поэта эпохи, трагический уход которого отражен в печати:

*Литературная¹ — не в ней
Суть, а вот — кровь пролейте!
Выходит каждые семь дней.
Ушедший — раз в столетье
Приходит. Сбит передовой
Боец. Каких, столица,
Еще тебе вестей, какой
Еще — передовицы?²
«Литературная — не в ней...»*

Первая строка стихотворения вспоминает «Литературную газету», экстренный выпуск которой от 17 апреля 1930 года был весь посвящен Маяковскому. Этот факт не мешает Цветаевой видеть в «Литературной газете» оппозицию творческой сути поэта, ибо «не в ней Суть». Это противопоставление выражено и во времени. У газеты, которая называется «литературной», и у поэта разные периоды появления в свете: она «выходит каждые семь дней», а такие, как Маяковский, появляются «раз в столетье». Значит, и ценность их прихода несопоставима. Поэтому для столицы не может быть других более важных и значимых вестей, не могут газеты выйти с более актуальными и насущными передовицами. Однако никакие газетные сообщения не дают возможности примириться с той трагедией, которая попала на страницы газет, тем более, когда в некоторых ей уделили место только на второй странице:

*<...> Эх кровь-твоя-кровца!
Как с новью примириться,*

¹ Здесь и далее в цитируемых текстах курсив М.И. Цветаевой. — С.А., С.В.

² Цветаева М.И. «Литературная — не в ней...»// Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель, 1990. С. 405. Далее произведения М.И. Цветаевой цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

Раз первого ее бойца
Кровь — на второй странице
(Известий.) [405]

Третье стихотворение цикла «В сапогах, подкованных железом...» открывается эпиграфом из однодневной газеты «Владимир Маяковский» от 24 апреля 1930 года: «В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции». («Однодневная газета», 24 апреля 1930 г.)» [405]

В стихотворении Цветаевой «ботинки, подбитые железом», становятся сапогами, которые представлены как главная отличительная деталь, характеризующая жизнь и творчество великого поэта:

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал —
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал —

.....

В сапогах — двустопная жилплощадь,
Чтоб не вмешивался жилотдел —
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес — и брал — и клял — и пел —

В сапогах и до и без отказа
По невспаханностям Октября,
В сапогах — почти что водолаза:
Пехотинца, чище ж говоря:

В сапогах великого похода,
На донбассовских, небось, гвоздях.
Гору горя своего народа
Стапятидесяти (Госиздат)
Миллионного...

.....

Так вот в этих — про его Рольс-Ройсы
Говорок еще не приутих —
Мертвый пионерам крикнул: Стройся!
В сапогах — *свидетельствующих*. [405—406]

Заменяв газетную деталь на еще более приземленную и даже грубую, Цветаева делает ее лейтмотивом образа поэта, который брал любую

гору, не зная обходов и объездов, и даже эту гору нес. В этих «цветаевских» сапогах поэт «и клял – и пел», и шел «по невспаханностям Октября». Для нее – это сапоги «великого похода», в которых он познавал и отражал «гору горя своего народа», поэтому именно они есть лучшее свидетельство того, каким был поэт Владимир Маяковский.

Использование газетных эпиграфов обычно связано у Цветаевой с обращением к событиям, о которых она могла узнать только из средств массовой информации. Так стихотворение «Один офицер» (1938–1939) из цикла «Стихи Чехии» (1938–1939) открывается эпиграфом «Из сентябрьских газет 1938 г.», сообщавших о том, как чешский офицер в Судетах, «оставив солдат в лесу, вышел на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев». «Конец его», как сказано в эпиграфе, «неизвестен». [459] Само стихотворение разворачивает это газетное сообщение, наполняет его выразительными деталями и подробностями, самая выразительная из которых:

<...> Выстрела треск.
Треснул – весь лес!
Лес: рукоплекс!
Весь – рукоплекс!
Пока пулями в немца хлещет –
Целый лес ему рукоплещет!... [461]

Газетное сообщение, выстроенное в лирический сюжет, дает возможность сделать принципиально важный для поэтессы вывод:

Значит – страна
Так не сдана,
Значит – война
Все же – *была!* [461]

Сами газеты при этом у Марины Цветаевой не получают сколько-нибудь положительной характеристики. Главная их отрицательная роль заключается в том, что они не просто противостоят творчеству, они мешают его восприятию. В знаковом для творчества периода эмиграции стихотворении «Тоска по Родине! Давно...» (1934) непонимающие творчество поэтессы – это «читатели газетных тонн»:

<...> Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично – на каком

Непонимаемой быть встречным!
(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетия — он,
А я — до всякого столетия!... [461]

Концепт газета в этом стихотворении наполнен значением *невероятной тяжести*. Не понимающий поэтессу читатель не способен к такому пониманию потому, что приучен глотать «газетные тонны» новостей, событий, былей и небылиц, доить их для того, чтобы узнать очередные сплетни. Он, этот читатель — продукт современной цивилизации, «двадцатого столетия», а творческий человек, поэт не замкнут только в своем времени, он — «до всякого столетия».

Газета предстает как абсолютно отрицательное и даже отвратное явление в стихотворении «**Читатели газет**» (1935). Уже в первой строфе люди в метро, в «подземном змее», где «каждый — со своей газетой», определены, как больные заразной болезнью — «со своей экземой». У каждого из них — «жвачный тик»:

Жеватели мастик,
Читатели газет. [448]

В видении поэтессы, газета стирает возрастные различия и индивидуальные черты лица, поэтому нельзя разобрать, кто читает газету: старик, атлет, солдат, у каждого вместо лица — «газетный лист», которым «весь Париж с лба до пупа одет». Лирический герой не может оставаться сторонним наблюдателем и призывает девушку бросить газетное чтиво, чтобы не родить «читателя газет». И эта реплика свидетельствует о том, что газета понимается уже в качестве некоего существа, способного к продолжению рода «читателей газет».

Очень выразительно, в метких и емких деталях в стихотворении передано содержание, которым наполнены газеты:

<...> Кача — «живет с сестрой» —
ются — «убил отца!» —
Качаются — тщетою
Накачиваются.

Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат... [448–449]

Накачавшийся «тщетою» читатель газет уже не способен увидеть «закат или рассвет», его более интересуют клевета, растраты, наветы, отвратные истории о том, как кто-то «живет с сестрой» или «убил отца», то есть то, чем в первую очередь заполнены столбцы и абзацы газетного листа. То, что сегодня стало содержанием газет, приводит лирического героя к убеждению в том, что

... Гуттенбергов *пресс*
Страшней, чем Шварцев *прах!* [449]

Изобретение печатного станка оказывается страшнее, чем изобретение пороха, который предназначен, прежде всего, для убийства. Значит, газета, как результат изобретения печатного станка, это — *орудие убийства*, только еще более мощное, чем те орудия убийства, в которых используется порох. Поэтому:

Уж лучше на погост, —
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет! [449]

Особую выразительность образу придает рефрен, в котором каждый раз изменяется первая строка, каждый раз наполняющая его новым смыслом, новым видением «читателей газет». Поочередно они выступают у Цветаевой как «жеватели мастик», «глотагели пустот», «хвататели минут» и «чесатели корост». Самой Марине Цветаевой этот рефрен виделся едва ли не самой ценной частью стихотворения, в период работы над которым она записала в черновой тетради: «Дай Бог — Читателей газет! Влезаю с отвращением — как в то самое 6 час. метро, ибо знаю, *как буду биться* и отчаиваться. Но refrain настолько хорош, что стоит...» [747] Все связанное с газетами и их читателями было для поэтессы настолько неприятным, что даже само вхождение в тему, «влезание» в работу вызывало отвращение.

Особое неприятие вызывают у поэтессы те, кто делает газеты. Это они гноят наших сыновей «во цвете лет», они ежедневно совершают кровосмесительный грех:

<...> Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей,
Писатели газет!

Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что́ думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — *нелицом*
Редактора газет-

ной нечисти. [449]

Именно «писатели газет» — настоящие враги творческого человека. Они, эти представители «газетной нечисти», которые не имеют лица и которые давно являют собой пустое место («пустее места — нет!»), но от них зависит судьба очередной рукописи поэта.

В таком незавидном, абсолютно неприглядном виде выглядит концепт газета в лирике Марины Цветаевой.

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ

1821–1877

Концептуальное видение средств массовой информации в творчестве Н.А. Некрасова во многом определяется тем, что он сам как автор и издатель, как редактор был активным участником процессов, в них происходивших. Этим объясняется то, что практически за каждым явлением, событием, тенденцией, ставшими предметом его поэтических наблюдений, стоят реальные факты жизни современной периодической печати.

На этом, к примеру, основаны стихотворения цикла **«Песни о свободном слове»**. Этот цикл дает развернутую картину того, что представляла собой, в понимании поэта Некрасова, периодическая печать, словно увиденная изнутри — рассыльным редакции, наборщиком, фелетонистом, а также представляет реакцию читающей публики на то, что предлагает ей пресса. Появление этого цикла связано с принятием нового закона о печати от 6 апреля 1865 года, по которому периодические издания освобождались от предварительной цензуры под денежный залог. На самом деле предварительная цензура периодических изданий заменялась карательной.

Цензура получила возможность просматривать материалы уже в отпечатанном виде, а вся ответственность за опубликованное, по этому закону, ложилась на редакторов и издателей. По этому же закону карательные органы цензуры получали право отдавать редакторов и авторов «противоправительственных», «антигосударственных» и «подрывающих устои» публикаций под суд, Цензура получила право вырезать неугодные публикации из уже отпечатанной книги или номера журнала, при необходимости уничтожить весь «вредный» номер или книгу. Вводилась практика предупреждений периодическим изданиям относительно недопустимых публикаций. После третьего предупреждения издание могло быть закрыто. Предупреждения появились сразу же после вступления закона в силу. Уже в мае 1866 года были закрыты журналы «Современник» и «Русское Слово». Предупреждения

выдавались газетам и журналам либерального, реакционного и даже проправительственного толка.

Стихи, составившие цикл, написаны в форме песен, которые поют газетный рассыльный, наборщик, поэт, литераторы, фельетонист, читающая публика.

Уже в стихотворении «**Рассыльный**» (1865) заглавный герой рассказывает о том, как изменилась жизнь его и его знакомого, такого же редакционного рассыльного «дедушки» Миная, после введения нового закона о печати.

<...> век свой мы лезли из кожи,
Чтобы в цензуру поспеть;

Цензор в спокойствии нашем
Равную роль играл, —
Раньше, бывало, мы ляжем,
Если статью подписал;

Если ж сказал: «Запрещаю!»
Вновь я садился писать,
Вновь приходилось Минаю
Бегать к нему, поджидать.¹

Новый закон о печати изменил жизнь рассыльных, отпала необходимость бегать, сбивая подметки, к цензорам по поводу каждого номера, а то и отдельной публикации. На вопрос своего приятеля о том, не к цензору ли «на Васильевский остров» идет он, герой стихотворения гордо отвечает:

<...> «Баста ходить по цензуре!
Осlobонилась печать,
Авторы наши *в натуре*
Стали статейки пущать.

К ним да к редактору ныне
Только и носим статьи...
Словно повысились в чине,
Ожили детки мои!

¹ Некрасов Н.А. Рассыльный // Некрасов Н.А. Собр. соч. в 4 т. — М.: Правда, 1979. Т. 2. С. 154–155. Далее произведения Н.А. Некрасова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

Каждый теперича кроток,
Ну, да и нам-то расчет:
На восемь гривен подметок
Меньше изнашивается в год!...» [II, 155]

В представлении рассыльного, печать освободилась, за опубликованное отвечает только редактор, к нему теперь носят статьи, которые авторы могут отдавать в печать в натуральном, не измененном цензурой виде. Изменилась жизнь и наборщиков, чей «гимн суровый» звучит в стихотворении «**Наборщики**» (1865). В этом гимне есть жалобы на трудности работы «у пыльного станка», на то, что «тошней труда не сыщешь», а потому здоровье наборщика очень быстро становится «хлипким». Однако и наборщики рады тому, что «свобода слова негаданно пришла» и дела теперь пойдут по-другому. Раньше, если приносили «тетрадь оригиналу», то работы в наборе было «до отвала», что никак не являлось гарантией того, что статья получится большая:

<...> Тетрадь толстенька в стане,
В неделю не набрать.
Но не гордись заране,
Премудрая тетрадь!

Не похудей в цензуре!
Ужо мы наберем,
Оттиснем в корректуре
И к цензору пошлем.

Вот он тебя читает,
Надев свои очки;
Отечески марает —
Словечко, полстроки! [II, 156]

Наборщики по-отечески желают «премудрой тетради» не похудеть «в цензуре», потому что по своему опыту знают, что после пера цензора у статьи бывало «живого нет местечка», поэтому набор рассыпали и освободившиеся литеры бросали, «как в ямы мертвецов»:

<...> По кассам! Вновь в порядке
Лежат одна к одной.
Потерян ключ к загадке,
Что выражал их строй!

Так остается тайной,
Каков и где тот плод,
Который вихрь случайный
С деревьев в бурю рвет. [II, 156]

Загадкой останется то, что выражали эти литеры, когда были частью общего строя статьи, ее настоящий, до цензурного вмешательства, вид навсегда останется тайной. Статья в ее первоначальном виде уподобляется здесь тому плоду, который унес «вихрь случайный». Определить изначальную авторскую мысль уже нельзя. На этом, о чем наборщики знают по своему опыту, превратности судьбы материала, который еще совсем недавно был «тетрадь толстенка», не заканчиваются:

<...> Уж в новой корректуре
Статья невелика,
Глядишь — опять в цензуре
Посгладят ей бока.

Вот наконец и сверстка!
Но что с тобой, тетрадь?
Ты менее наперстка
Являешься в печать!

После того как материал повторно побывал у цензора, он, бывший когда-то целой тетрадью, может явиться в печать размером уже «менее наперстка». Таковы горькие размышления наборщиков о том, какой была судьба журналистов, редакторов и их материалов в условиях предварительной цензуры. Есть в этих размышлениях и другое, принципиально важное. Наборщики — народ грамотный и во многом разбирающийся, не случайно, они «бывают философы порой»:

<...> Не всё же набирают
Они сумбур пустой.

Встречаются статейки,
Встречаются умы —
Полезные идейки
Усваиваем мы... [II, 157—158]

Это замечание свидетельствует о том, что «сумбур пустой» — явление вполне распространенное и набирать его приходится часто,

однако они же знают и о том, что в периодической печати встречаются и «статейки», и «умы», и даже «полезные идейки». Несмотря на некоторую иронию, которая слышится в использовании уменьшительных форм, наборщики умеют ценить грамотные статьи, которые содержат полезное и свидетельствуют об уме их авторов. Однако наборщикам хотелось бы, чтобы и их труд когда-то заинтересовал тех, чьи труды им приходится набирать, чтобы они заинтересовались тем, как работают те, кто воплощает на газетном листе мысли журналистских умов:

<...> Но не равны заботы.
Чтоб время навестать,
Мы слепнем от работы...
Хотите ли писать?

Мы вам дадим сюжеты:
Войдите-ка в полночь
В наборную газеты -
Кромешный ад точь-в-точь!

Наборщик безответный
Красив, как трубочист...
Кто выдумал *газетный*
Бесчеловечный лист? [II, 158—159]

Место, где непосредственно создается (набирается) газета, видится самим наборщикам, как «ад кромешный», о котором журналисты и репортеры предпочитают не писать, а в нем есть свои, достойные опубликования сюжеты. Концепт газета наполняется значением *бесчеловечности* по отношению к тем, кто ее создает, к тем, условия труда которых «сложней, чем в рудниках», кто «вечно на ногах» и слепнет «от пыли и свинца». Но даже они, эти безымянные авторы «гимна наборщиков», который услышал поэт, не могут не радоваться пришедшей свободе. Об этом поют и они, и хор:

«<...> Но вот свобода слова
Негаданно пришла,
Не так уж бестолково
Авось пойдут дела!» [II, 159]

Х о р

Поклон тебе, свобода!
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
С рабочего народа
Ты тяготу сняла!.. [II, 159]

Открывшемуся простору возрадовался и поэт из одноименного стихотворения, который хорошо помнит, что прежде

<...> жизнь была так коротка
Для песен этой лиры, —
От типографского станка
До цензорской квартиры! [II, 159]

Рады новому закону литераторы, один из которых считает, что «Теперь пойдут иные речи!» Второй уверен в том, что «Теперь нас ждут простор и слава!» Но есть среди них и тот, кто оказался самым мудрым:

А третий посмотрел лукаво
И головою покачал!¹ [II, 160]

Стихотворение «Фельетонная букашка» (1865) — это не только рассказ о том, как отреагировал фельетонист на новый закон, но и выразительный образ последнего, который тем более примечателен, что стихотворение написано опять-таки от первого лица. Через этот образ передаются и черты современной периодической печати. Фельетонист сам называет себя «букашкой», которая ищет «посильного труда». По собственным наблюдениям, он, «как ходячая бумажка», сильно «поистрепался» за годы работы в печати:

<...> Но лишь давайте мне сюжеты,
Увидите — хорош мой слог.
Сначала я писал куплеты,
Состряпал несколько эклог,

¹ В данном случае Некрасов почти дословно цитирует Лермонтова:

Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал...

Но скоро я стихи оставил,
Поняв, что лучший на земле
Тот род, который так прославил
Булгарин в «Северной пчеле». [II, 160]

Современный фельетонист готов «хорошим слогом» писать на любую тему, его жизнь — это постоянный поиск сюжетов, за которыми он обращается к читателю. Фельетонистом его сделал Булгарин: издаваемая им «Северная пчела» одной из первых ввела раздел «Фельетоны». Необходимо только заметить, что фельетоны самого Булгарина и издаваемой им газеты отличались крайней беспринципностью и переменчивостью оценок. Герой некрасовского стихотворения признается, что умеет писать «в великосветском, модном тоне», что свидетельствует о спросе, который есть у читающей публики на этот тон. Кроме того, из признаний фельетониста можно узнать, что его интересуют черты жизни «здешней и московской», словно бы другой России и не существует вовсе. Последнее свидетельствует о вполне определенной тенденции в российской периодической печати 60-х годов XIX века.

«Знаком вам господин Пановский? — спрашивает фельетонист. — Мы с ним похожи по перу». И такое признание свидетельствует о вполне определенной направленности творчества героя стихотворения. Н.М. Пановский — известный московский журналист, сотрудник «Московских ведомостей» и других изданий, позиция которого отличалась крайним консерватизмом и реакционностью. Поэтому нет ничего удивительного и в другом признании:

Умел писать я при цензуре,
Так мудрено ль теперь писать? [II, 161]

Эти слова фельетониста свидетельствуют о его убежденности в том, что цензуры больше нет, она осталась только в воспоминаниях:

<...> Ох! было время — вспомнить больно!
Дрожишь, бывало, за статью.

Мою любимую идейку,
Что в Петербурге климат плох,
И ту не в каждую статейку
Вставлять я без боязни мог.

Однажды написал я сдуру,
Что видел на мосту дыру,
Переполошил всю цензуру,
Таскали даже ко двору!

Ну, дали мне головомойку,
С полгода поджимал я хвост.
С тех пор не езжу через Мойку
И не гляжу на этот мост! [II, 161]

Время цензуры фельетонисту «вспомнить больно», потому что приходилось дрожать за каждую статью. Даже бранить климат в столице Российской империи (это — исторический факт) считалось «опасным вольнодумством». Еще большим «вольнодумством» считалось упоминание в печати о недостатках тротуаров, проезжей части улиц и мостов столичного города. И только «под старость» фельетонист узнал счастье, как ему на данный момент видится, «без цензуры» сочинять.

Недовольной новым законом о печати, отменившим предварительную цензуру, оказалась, в видении Некрасова, по-настоящему только читающая публика, вернее, подавляющая ее часть. Стихотворение «Публика» (1865) открывается и завершается весьма выразительным припевом:

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной... [II, 162]

Этим припевом стихотворение не только открывается и завершается, в самом тексте «песни» он встречается еще четыре раза, акцентируя мысль на том, что «свободная пресса» только прибавила хлопот. Эта пресса, в видении читающего обывателя, не только «рвется» и «брыкается», но еще и «бьет», напоминает коня, незнакомое «с уздой», роль которой в свое время выполняла цензура. Освободившееся «юное чадо прогресса» похоже на нелюдимого, лесного зверя, сорвавшегося с цепи, под которой опять-таки подразумевается цензура. Концепт пресса наполняется, по мнению значительной части читающей публи-

ки, таким содержанием, как *дикость, необузданность, неуправляемость*, то есть *социально опасным*.

В какой-то момент «песня публики» начинает звучать как молитва, обращенная к богу с просьбой послать «терпенье» тем, кто читает современную периодическую печать, и к цензуре, которая просто обязана снова воспрянуть, потому что

<...> Всюду одно осуждение,
Всюду нахальная брань!
В цивилизованном классе
Будто растленье одно... [II, 162]

«Свободная пресса» оказывается виновна не только в том, что она лишь осуждает и несет «растленье одно», но и в том, что в стране царит бедность, процветает пьянство, господствуют «продажная честь» и одно «старанье» — нажиться. В этой прессе работают авторы «злодейские», которые хитрят и стремятся «лестью лакейской» усыпить бдительность читающей публики.

<...> Мы не хотим поцелуев,
Но и ругни не хотим...
Что ж это смотрит Валуев,
Как этот автор терпим?
Слышали? Всё лишь подобье,
Всё у нас маска и ложь,
Глупость, разврат, узколобье...
Кто же умен и хорош?
Кто же всегда одинаков?
Истине друг и родня? [II, 162–163]

Те, кто не хочет «поцелуев» и «ругни», готовы даже обратиться к тогдашнему министру внутренних дел Валуеву, чтобы тот не позволял терпеть нетерпимых авторов, запретил писать о том, что «всё у нас маска и ложь», называть происходящее в стране «глупостью», «развратом» и «ложью», чем занимается пресса, свободная от цензуры.

Есть в этом стихотворении обращение публики к конкретным событиям, иллюстрирующим поведение свободной прессы:

<...> Нынче, журналы читая,
Просто не веришь глазам,

Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикам!
Экой герой сочинитель!
Экой вещун-богатырь!
Верно ли только, учитель,
Вывел ты эту цифирь?
Если ее ты докажешь,
Дай уж нам кстати совет:
Чем расплатиться прикажешь?
Суммы такой у нас нет! [II, 163]

Здесь имеется ввиду статья Ю.Г. Жуковского, критика и публициста журнала «Современник», опубликованная в 1865 году. В статье «Записки современника» известный публицист писал о долге цивилизованных классов народу, который, по его приблизительным подсчетам, составлял шесть миллиардов рублей. Возмущению помещиков, вчерашних крепостников не было предела. А сам эпизод наглядно иллюстрирует тот факт, кто является настоящим автором некрасовской песни. Коллективный автор сам себя характеризует, утверждая, что такой суммы нет, и вообще

Нет ничего, кроме модных,
Но пустоватых голов,
Кроме желудков голодных
И неоплатных долгов,
Кроме усов, бакенбардов
Да «как-нибудь» да «авось»...
Шутка ли! шесть миллиардов!
Смилуйся! что-нибудь сбрось! [II, 163]

Читающую публику возмущает и то, что ее личная жизнь для свободной прессы перестала быть запретной темой:

<...> Мало, что в сфере публичной
Трогают всякий предмет,
Жизни касаются личной!
Просто спасения нет! [II, 164]

Нельзя выпить «лишний бокал» за обедом, нельзя поругаться с соседом и сказать «громкое слово», а тем более, подраться («Редко друг друга мы бьем»), потому что

<...> Завтра ж в газетах напишут!
Господи! что за скоты!
Как они знают всё, слышат!...
Что потом сделаешь ты?
Ежели скажешь: «Вы лжете!» —
Он очевидцев найдет,
Если дуэлью пугнете,
Он вас судом припугнет.
Просто — не стало свободы,
Чести нельзя защитить...
Эх! эти новые моды!
Впрочем, есть средство: побить.
Но ведь, пожалуй, по роже
Съездит и он между тем.
Чем это кончится, Боже!
Чем это кончится, чем?.. [II, 164]

В представлении читателя современной прессы, последняя не может вести себя по-человечески, но при этом обладает способностью все знать и все слышать. Она научилась защищаться не только в судебном порядке, но и физически. Свободная пресса делает современность бурной и тревожной, расшатывает устои, насаждает атеизм:

<...> Все пошатнулось... О, где ты,
Время без бурь и тревог?..
В Бога не верят газеты,
И отрицают поэты
Пользу железных дорог! [II, 165]

Последняя строка процитированного отрывка — это намек на стихотворение «Железная дорога», за публикацию которого в «Современнике», Н.А. Некрасов как редактор журнала получил второе предупреждение.

У читающей публики «дыбом становится волос» от того, «чем наводнилась печать». Новый закон привел к тому, что даже умеренные в прошлом издания стали позволять себе слишком много:

<...> Даже умеренный «Голос»
Начал не в меру кричать;
Ни одного элемента
Не пропустил, не задев,

Он положеньем Ташкента
Разволновался, как лев;
Бдит он над Западным краем,
Он о России болит,
С ожесточеньем и лаем
Он обо всем говорит!
Он изнывает в тревогах,
Точно ли вышел запрет:
Чтоб на железных дорогах
Не продавали газет? [II, 165]

Умеренно-либеральная газета «Голос», издававшаяся А.А. Краевским, получила предупреждение за публикацию некоторых статей. В них обсуждались перспективы принятия Узбекистана в состав России («По поводу принятия Ташкента под покровительство России»), проблемы освоения русскими западных районов («Какие сословия могут более способствовать к водворению русского элемента в Западном крае») и также само положение русских в России вообще («Русские в России»).

Чуть позже (1872) М.Е. Салтыков-Щедрин назовет либеральную газету А.К. Краевского «Голос» «Истинным Пенкоснимателем» за умение вести пространные беседы с читателем на темы, которые нельзя назвать актуальными, волнующими современников, а в самом обсуждении не углубляться и не выходить за пределы разрешенного.

Проблема продавать или не продавать на железных дорогах газеты приводит читающую публику к такому умозаключению:

<...> Что — на дорогах железных!
Остановить бы везде.
Меньше бы трат бесполезных!
И без того мы в нужде.
Жизнь ежедневно дороже... [II, 166]

Концепт газета, таким образом, наполняется значением *бесполезности*, потому что именно газета выступает в качестве одной из причин того, что многие в России живут «в нужде». Чуть ниже желание запретить продажу газет «везде» выглядит уже едва ли не как их полное запрещение, основанное на убежденности в том, что большой беды не будет:

<...> Право, конец бы таковский,
И не велика печаль!

Только газеты московской
Было б, признаться, нам жаль,
Впрочем... как пристально взвесить,
Так и ее — что жалеть!
Уж начала куролесить,
Может совсем ошалеть. [II, 166]

Под «газетой московской» Н.А. Некрасов подразумевал «Московские ведомости» М.Н. Каткова. По мнению власти, даже это консервативное и близкое правительству издание в свете нового закона начинало «куролесить», в публикациях появились статьи, направленные против действий министров, хотя эта оппозиция была неизменно консервативной. Чтобы газета совсем не «ошалела», ей в марте 1866 года было вынесено первое предупреждение, однако стихотворение Некрасова датировано декабрем 1865, что свидетельствует о том, как поэт смог предугадать будущее периодического издания, решавшего воспользоваться теми возможностями, которые открывал новый закон о печати.

Вполне естественно, что читающая публика сравнивает нынешние времена, когда «все пошатнулось», с тем, как было прежде, когда печатать твердо знала, кого она может избрать своей жертвой и кого не смеет касаться:

Прежде лишь мелкий чиновник
Был твоей жертвой, печать,
Если ж военный полковник —
Стой! ни полслова! молчать!
Но от чиновников быстро
Дело дошло до тузов,
Даже коснулся министра
Неустрашимый Катков.
Тронуто там у него же
Много забористых тем... [II, 166]

Предпоследняя песня цикла, написанная от имени создателей современной прессы, уже своим названием «Осторожность» (1865) предупреждает о том, как должна вести себя свободная печать, а ее содержание — это поэтически выразительный рассказ о том, каких тем и в каких аспектах ей нельзя касаться.

Первый сюжет песни передает историю о том, как в Ледовитом океане парень, ссылаясь на то, что они «пришли на остров дикой, / Где

ни церкви, ни попов», предлагает девушке не «розно спать». Писать об этом в газете не надо, «ведь это против брака», а потому — «не нажить бы нам хлопот».

Одна из распространенных формулировок предостережений газете или журналу звучала так: «Порицание начал семейного союза». По этому пункту была признана «вредной» статья А.Н. Пыпина «Новые времена. Община реформаторов в Нью-Йорке», за которую журнал «Современник» получил первое предостережение, а потому

Осторожность! осторожность!
Осторожность, господа!... [II, 167]

Процитированные слова, как обращение к прессе, лейтмотивом звучат в конце каждого куплета.

Во втором сюжете рассказывается о том, как «у солидного папаши» дочь оказалась либералкой: отказала «жениху с хорошим чином» и обвенчалась «с каким-то армянином». Не без иронии указана и причина, как она видится солидному обществу, такого вызывающего поступка:

(Говорят, журналы наши
Всё читала день и ночь)... [II, 167]

Ничего удивительного в таком событии вроде бы нет, а потому пресса могла бы не остаться в стороне:

<...> В свете это сплошь бывает,
Это *тиснуть* мы могли б,
Но ведь это посягает
На родительский принцип!
За подобную оплошность
Не постигла б нас беда?
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа! [II, 167]

В данном эпизоде поэт высмеивает еще одну формулировку обвинений против прессы: «посягательство на родительский принцип».

Третий сюжет песни рассказывает о том, как помещик Пантелеев «век играл, мотал и пил», крестьянин Федосеев «все трудился и копил», а в итоге — первый по улицам столицы «ходит гол», а второй приобрел «дворянские земли». И в этой истории для прессы нет ничего нового:

<...> В свете это все бывает,
Много есть таких дворян,
Но ведь это означает
Оскорблять дворянский сан.
Тисни, тисни! есть возможность, —
А потом дрожи суда... [II, 167]

История вполне обыденная, и можно бы «тиснуть» ее в газету или журнал, но это может быть расценено как «оскорбление дворянского сана». В чем через некоторое время и в самом деле обвинили уже упоминавшегося публициста Ю.Г. Жуковского. Он в 1866 году опубликовал в «Современнике» статью «Вопрос молодого поколения», в которой, по мнению обвинителей, содержалось «оскорбление чести и достоинства всего дворянского сословия». Обвинен был также соредактор Н.А. Некрасова по журналу А.Н. Пыпин, который пропустил эту статью. Оба были привлечены к суду. В итоге длительного судебного разбирательства был вынесен приговор, согласно которому А.Н. Пыпин и Ю.Г. Жуковский подверглись «денежному взысканию по сту рублей и аресту на военной гауптвахте в течение трех недель каждого». Н.А. Некрасов обстоятельно рассказал об этом в стихотворении «Суд» (1868).

Четвертый сюжет песни «Осторожность» посвящен тому, что сколько народ «ни добывает, / все не впрок ему идет», потому что:

<...> И подрядчик нажимает,
И торгаш с него дерет.
Уж таков теперь обычай?
Стонут, воют бедняки...
Ну — а класс-то ростовщичий?
Сгубят нас ростовщики!
Я желал бы их, проклятых,
Хорошенечко пробрать,
Но ведь это на богатых
Значит бедных натравлять?
Ну, какая же возможность
Так рискнуть? кругом беда! ... [II, 168]

«Хорошенечко пробрать» подрядчиков, торгашей, ростовщиков никак нельзя, потому что это значит на богатых «бедных натравлять». И здесь снова речь идет о вполне реальной угрозе получить цензурное обвинение в «возбуждении вражды или ненависти одного сословия к другому». Поэтому не стоит и рисковать.

В последнем сюжете песни рассказывается о том, как во время крестного хода в одном селе случился пожар, но тушить его никто не стал, ибо «не бросать же Божье дело», надо прежде кончить крестный ход. Естественно, что «покудова с иконой» селяне «обходили все село», огонь распространился и на другие посадки:

<...> Погорели! В этом много
Правды горькой и простой,
Но ведь это против Бога,
Против веры... ой! ой! ой!
Тут полнейшая возможность
К обвиненью без суда... [II, 169]

Несмотря на то, что в этом трагическом событии много «правды горькой и простой», писать о нем нельзя, если не хочешь быть привлечен к суду за выступление «против Бога», «против веры», то есть публикация такой истории в печати может быть расценена как «выступление против православной церкви и христианской веры».

В стихотворении «Газетная»¹ (1865) само место, предназначенное для чтения периодической печати, первоначально ассоциируется со свежим воздухом, светом, потому что лирический герой добирается к нему «через дым, разъедающий очи», минуя «омут кромешный» и «царство теней» светского общества.

<...> Добрались мы походкой поспешной
До газетной...
Здесь воздух свежей;
Пол с ковром, с абажурами свечи,
Стол с газетами, с книгами шкаф.
Неуместны здесь громкие речи,
А еще неприличнее храп... [II, 124]

Речь вроде бы идет об интерьере газетной комнаты, ее атмосфере, однако эта характеристика распространяется и на сами газеты, чтение которых несовместимо с шумом, а тем более с храпом. Ощущение гармонии и умиротворенности исчезает в тот момент, когда лирический герой размышляет о том, какой видит себя российская периодическая печать, как она себя позиционирует:

¹ Газетная — название одной из комнат Английского клуба, предназначенной для чтения газет и журналов.

<...> Не без гордости русская пресса
Именуется иногда
Путеводной звездой прогресса,
И недаром она так горда:
Говорят — о, Гомер и Овидий! -
До того *расходилась печать*,
Что явилась потребность субсидий.
Эк,хватила куда! исполать! [II, 124—125]

Российскую печать, которая «не без гордости» именovala себя «путеводной звездой прогресса», никак не смущал тот факт, что в 60-х годах некоторые газеты и журналы Санкт-Петербурга и Москвы получали правительственные субсидии на издание. Такие субсидии нельзя было расценивать иначе, как подкуп печати, которая до такой степени «расходилась», и за это ей, «звезде прогресса» — хвала и слава («исполать!»). Лирический герой с иронией сожалеет о том, что «таксы нет на гражданские слезы», но и без соответствующей оплаты они «льются рекой».

С меньшей иронией чуть ниже лирический герой размышляет о том, чем наполнены страницы современной периодической печати:

<...> Образцы изумительной прозы
Замечаются в прессе родной:
Тот добился успеху во многом
И удачно врагов обуздал,
Кто идею свободы с поджогом,
С грабежом и убийством мешал;
Тот прославился другом народа
И мечтает, что пользу принес,
Кто на тему «вино и свобода»
На народ напечатал донос. [II, 125]

За «идеей свободы с поджогом» стоят вполне реальные события весны 1862 года, когда в Санкт-Петербурге произошло несколько больших пожаров. Реакционная печать объявила их делом рук нигилистов, как наиболее революционной части молодежи. Эту клевету, распространявшуюся определенной частью периодической печати, изобличал А.И. Герцен в «Колоколе», сам Некрасов тоже не оставался в стороне.

Упоминаемый «донос на народ» имеет вполне реальную основу. В начале 60-х годов в российской печати появились статьи, которые не просто обвиняли народ в повальном пьянстве и лени, но и трактовали

это как результат реформы 1861 года, отменившей крепостное право. Последнее является одной из причин того, что газетно-журнальным рассказам о бедственном положении народа российская читающая публика предпочитает французские романы, она любит их за отсутствие «мрака и стога». Эта публика считает, что и так знает «наши немощи», поэтому не хочет отравлять свой утренний чай думами о них.

Сравнивая читателей газет двух столиц, лирический герой замечает, что «москвич идеальней», а потому в Москве «газетная вечно полна»:

<...> В Петербурге любители чтенья
Пробегают один «Инвалид»;
В дни, когда высочайшим приказом
Назначается много наград,
Десять рук к нему тянется разом.
Да порой наш журнальный собрат
Дерзновенную штуку отколет,
Тронет личность, известную нам,
О! тогда целый клуб соизволит
Прикоснуться к презренным листам.
Шепот, говор. Приводится в ясность -
Кто затронут, метка ли статья?
И суровые толки про гласность
Начинаются. Слыхивал я
Здесь такие сужденья и споры...
Поневоле поникнешь лицом
И потупишь смущенные взоры... [II, 126]

В видении лирического героя стихотворения, читатели северной столицы предпочитают только газету «Русский Инвалид», издававшуюся Военным министерством. Предпочитают, видимо, за то, что она печатала сообщения о наградах и служебных назначениях: столичному жителю всегда интересно было знать («Десять рук к нему тянется разом»), кто какую награду получил, какие новые назначения по службе есть у друзей и соперников, знакомых и просто известных людей. Интерес к этой газете только возрастал, если кто-то из журналистов отваживался на «дерзновенную штуку» — трогал «личность, известную всем». Тогда начинались «шепот, говор», рассуждения о качестве газетной публикации, тогда разгорались «суровые толки про гласность». Все это свидетельствует о том, что даже приверженность к одной из бранной газете никак не могла охладить интереса читающей публики к проблемам гласности в современной периодической печати.

При всей значимости размышлений лирического героя стихотворения «Газетная» о том, каким содержанием наполнена пресса, а также о том, как к этому содержанию относится читающая публика, главным в нем является образ цензора, пусть и бывшего. Читатель еще не знает, о ком пойдет речь, а образ уже не вызывает симпатий:

<...> Среди праздных местечек,
Под огромным газетным листом,
Видишь, тощий сидит человек
С озабоченным, бледным лицом,
Весь исполнен тревогою страстной,
По движениям похож на лису,
Стар и глух; и в руках его красный
Карандаш и очки на носу. [II, 128]

Этот «человечек» (не человек!) в «оны годы» служил «цензуре», поэтому, даже будучи сегодня не при должности, сберег привычку к красному карандашу, без которого читать прессу не может:

<...> Все, что прежде черкал в корректуре,
Отмечать: выправляет он слог,
С мысли автора краски стирает.
Вот он тихо промолвил: «Шалишь!»
Глаз его под очками играет,
Как у кошки, заметившей мышь;
Карандаш за привычное дело
Принялся... [II, 128]

Выразительный образ цензора — тощего человечка, «с озабоченным, бледным лицом», исполненного тревогою страстной, «по движениям» похожего на лису, старого и глухого, дополняется новыми красками. Он привык выправлять слог и стирать краски «с мысли автора», то есть делать ее невыразительной, бесцветной. Отношение цензора к авторской мысли приравнивается при этом к тому, как относится кошка к мыши.

Бывший цензор признается, что «ужасается», читая современные журналы, ум его при этом цепенеет, ведь в этих журналах, «что ни строчка — скандалы, скандалы». Цензора возмущает, к примеру, то, что обличен его «собственный кум» — «моралист-проповедник». По привычке он хотел бы заткнуть рот этим журнальным обличителям, давая

им вполне эмоционально выраженную и четкую характеристику, а заодно и тому, что сегодня без него журналы пустили на свои страницы:

<...> Цыц!.. Умолкни, *журнальная тварь!*..
Он действительный статский советник,
Этот чин даровал ему царь!
Мало им, что они Маколея
И Гизота в печать провели,
Кровопийцу Прудона, злодея
Тьера выше небес вознесли,
К государственной росписи смеют
Прикасаться нечистой рукой!
Будет время — пожнут, что посеют!
(Старец грозно качнул головой.)
А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнул он и очки уронил.)
Вот где бедствие! вот где опасность
Государству... Не так я служил! [II, 128—129]

«Цензурная логика» проста: человек, которому чин действительно-го статского советника даровал сам царь, не может быть проходимцем, а потому писать об этом нельзя («Цыц!»). Показательно, что цензора возмущает появление на журнальных страницах имени английского политического деятеля, публициста и историка Т. Маколея, французского политического деятеля и историка Ф. Гизота (Гизо), в трудах которого была предпринята одна из первых попыток объяснения исторического процесса борьбой классов. Французского социалиста, теоретика анархизма П. Прудона герой стихотворения называет «кровопийцей», которого также незаслуженно «в печать провели». Вознесенным печатью «до небес» оказывается и французский политический деятель, историк А. Тьер. Все дело в том, что называемые цензором историки, публицисты, общественные деятели не отличались особой революционностью взглядов, их сочинения свободно и довольно широко переводились и издавались в России в 60-е годы.

Другое дело, что герой Некрасова, исполненный «тревогою страстной», служил в цензурном комитете в годы «мрачного семилетия», по его собственному признанию, «занимаясь семь лет этим дельцем». В этот период «о Прудоне говорили втихомолку, запрещали Маколея... даже, кажется, Гизо!» (И.А. Гончаров).

Современные газетно-журнальные авторы особенно возмущают цензора «мрачного семилетия» тем, что смеют прикасаться «к государ-

ственной росписи... нечистой рукой». И это снова упоминание подлинного события, связанного с тем, как сильно была искажена цензурой статья Н.Г. Чернышевского «О Государственной росписи доходов и расходов», посвященная анализу российского государственного бюджета.

В словах бывшего цензора звучит гордость, когда он признается:

О чинах, о свободе, о взятках
Я словечка в печать не пускал. [II, 129]

Слова же том, что «при новых порядках» он оказался не нужен, проникнуты глубоким сожалением, но герой не дерзает роптать на начальство, специфика прежней службы сделала свое дело: «*Не умею*¹ — и этим горжусь».

Зато научился вникать в свое дело настолько, что умел подбирать ключ к любому сочинению, ловить автора «на каждом словечке», заставляя его вертеться, «как муха на свечке», дрожать перед всесильным цензором, чтобы в итоге:

<...> И уйдет тихомолком домой.
Рад-радехонек, если тетрадку
Я, похерив, ему возвращу,
А то, если б пустить по порядку...
Но всего говорить не хочу! [II, 129]

«Пустить по порядку» — это норма старого закона о печати, согласно которой, «вредную» рукопись не следовало возвращать автору, а по установленному порядку передать в Третье (жандармское) отделение. Это еще одна примечательная деталь, характеризующая положение российской прессы до принятия закона 1865 года.

Сам себе бывший цензор видится земледельцем, который вырывал «сорные травы из гряд».

Не меньшую гордость вызывают воспоминания героя о том, какие идеи и мысли благодаря его участию стали достоянием периодической печати. В первую очередь те, которые были «дельны и строги»:

<...> Я вам мысль, что «большие налоги
Любит русский народ», пропустил,
Я статью отстоял в комитете,

¹ Курсив Н.А. Некрасова. — С.А., С.В.

Что реформы раненько вводить,
Что крестьяне — опасные дети,
Что их грамоте рано учить! [II, 129–130]

В 60-е годы XIX века в России активно обсуждался вопрос о необходимости образования для крестьянства, его уровнях и направленности. Значительная часть дворянства при этом абсолютно отрицала необходимость даже элементарной грамоты для крестьян, считая это опасным для государства. Цензор, естественно, оказался на их стороне. «Тощий человечек» вспоминает и другие свои «заслуги», за которые ему пришлось много терпеть от авторов, «оскорбленных писателей», романисток и даже от приснившегося Фейербаха, сочинения которого были запрещены в России. Годы работы в цензурном комитете привели его к такому выводу:

<...> Ни родства, ни знакомства, ни дружбы
Совесть цензора знать не должна,
Долг, во-первых, — обязанность службы!
Во-вторых, сударь: дети, жена! [II, 130]

Особого внимания заслуживает методика работы цензора, не только стоящего на страже «целомудрия прессы», но и берегущего интересы «писателей бедных», как он сам считает. Лирическому герою-повествователю он приводит такие примеры своей деятельности по «спасению» как литературных, так и публицистических материалов:

<...> Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд их лишал.
Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: «Равнодушно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: «ра-душно»
Выйдет... что же? три буквы не счет!
Если скажешь: «В дворянских именьях
Нищета ежегодно растет», —
«Речь идет о сардинских владеньях» —
Поясню — и статейка пройдет!

.....
Незаметные эти поправки
Так изменят и мысли, и слог,
Что потом не подточишь булавки!
Да, я авторов много берег! [II, 131]

В рассуждениях бывшего цензора о трех буквах, которые «не в счет», нет никакого преувеличения. Стихотворение «Газетная» было опубликовано в восьмом номере журнала «Современник» за 1865 год, а уже в девятом номере этого журнала были опубликованы записки С.Н. Глинки «Мое цензорство», в которых встречается такое признание: «Можно ли, чтобы кто-нибудь написал: «я не люблю Бога, я не люблю царя?» Но если б... это и случилось, тогда цензор благомыслящий вычеркнул бы частицу «не», и осталось бы: я люблю Бога, я люблю царя». [II, 385]

Кстати, стихотворение «Газетная» стало одним из произведений Н.А. Некрасова, за публикацию которых в 8 и 9 номерах за 1865 год журналу «Современник» было вынесено первое предостережение, хотя в самом тексте предостережения это стихотворение и не было названо. Цензурное ведомство не захотело признаваться в том, что одной из причин этого предостережения стала такая откровенная сатира, даже издевка над тем, что такое цензура и кто ею занимается.

В таких обстоятельствах, в условиях действия таких законов о печати предстает в лирике Н.А. Некрасова концепт средства массовой информации.

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

1821–1881

В прозе Федора Михайловича Достоевского современная печать занимает особое место, и это неудивительно, если учесть, что для значительной части его произведений газетные сообщения стали основой сюжета или сюжетной идеей.

В романе «Униженные и оскорбленные» (1861) во многом автобиографичный образ рассказчика Ивана Петровича раскрывается в его отношении к двум драмам, в которых он не только свидетель, но и участник. Главной героиней первой драмы является Нелли — внучка разорившегося англичанина-фабриканта Смита. После смерти деда Иван Петрович становится ее воспитателем и покровителем. Вторая драма связана с историей семьи Ихменевых, дочь которых уходит от родителей ради любви к сыну врага этой семьи — князя Валковского.

Постепенно в сознании героя-рассказчика раскрывается своеобразие мира, в котором многое взаимосвязано, в том числе и эти две драмы. Выясняется, к примеру, что соблазнитель Наташи Ихменевой — это сын человека, который в свое время соблазнил ее мать. И окружающий мир начинает восприниматься героем как цепь повторений, отрицательным образом влияющих на судьбы хороших людей. Мир устроен так, что именно для тех, кто хочет в нем жить честно, он оборачивается унижениями и оскорблениями. Не последнюю роль в этом играет современная пресса.

Первый раз в романе «Униженные и оскорбленные» газета возникает, когда герой рассказывает о человеке, первоначально именуемом «старик», который в кондитерской Миллера «аттестовал себя престранно». Среди странностей его поведения упоминается, в том числе, и то, что «никогда он не взял в руки ни одной *газеты*». Весьма примечательное наблюдение, свидетельствующее о том, что газета в руках посетителя кондитерской является одним из показателей его нормального, «не странного» поведения, тем более что посетителями кондитерской Миллера были, по наблюдениям рассказчика, большею частью немцы, и они постоянно «углублялись в чтение немецких *газет*». Для самого же рассказчика газета в этом эпизоде выступает как нечто вызывающе

дремоту. Оказавшись в кондитерской, герой «взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал».¹ По всей вероятности, имеется в виду «Франкфуртер гешефтсберихт» — немецкая ежедневная газета, выходившая во Франкфурте-на-Майне с 1856 года.

Возможно, что дремоту у рассказчика газеты вызывали потому, что он «ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать *русские журналы*, которые у него получались». [III, 172] Так уже в самом начале газеты выступают как *оппозиция журналам*. Тем более что чуть ниже рассказчик признается, что в ту пору он «сотрудничал по *журналам*, писал *статейки*», и это сотрудничество давало твердую уверенность в том, что ему «удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь». [III, 172] Уменьшительно-уничижительное «статейки» в данном случае относится не столько к журналам, сколько к собственному творчеству. Журналу еще предстоит сыграть важную роль в том, что старик Ихменев признал в рассказчике приличного человека, признал и дело, которым тот занимается, хотя последний и был сочинителем. Помогли «объявления в *журналах*» и «несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело». [III, 187]

Само присутствие концепта журнал в романе связано не столько с пониманием его как средства массовой информации, сколько с видением его в качестве явления литературной жизни. Хотя есть здесь упоминание журнала «Деревенский брадобрей» («Dorfbarbier»), который с наслаждением почитывает «приезжий гость, купец из Риги Адам Иваныч Шульц». Достоевский два раза ошибочно называет этот журнал газетой. Когда Адам Иваныч заметил, что за ним пристально наблюдает некий старик, он «молча закрылся газетой», а потом выглядывает «из-за газеты». Затем, когда ему совсем надоело такое разглядывание, «с нетерпеливым жестом бросил он газету на стол».

Писателю принципиально важно показать реакцию человека, которого самым бесцеремонным образом разглядывают в кондитерской. Упоминаемое печатное издание лишь дополняет выразительность, объемность нарисованной картины, а чем оно в данном случае является, журналом или газетой, не суть важно.

Следующее появление газеты в романе несет уже принципиально важный смысл. Николай Сергеевич Ихменев, ценя литературную дея-

¹ Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л., Наука, 1972–1984. Т. 3. 1972. С. 172–172. Далее произведения Ф.М. Достоевского цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

тельность Ивана Петровича, начал интересоваться литературой и даже читать критические статьи критика Б., за которым угадывается фигура В.Г. Белинского уже потому, что в одном из эпизодов герой прямо цитирует его слова из статьи «Современные заметки», обращенные к Достоевскому. Белинского, по наблюдению Ивана Петровича, «он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». [III, 191]

«Северный трутень» — так по-своему, пародийно-иронически переименовал Достоевский газету «Северная пчела», издававшуюся в Петербурге Н.И. Гречем и Ф.В. Булгариным. Уже потому, что «пчела» заменена на «трутня», можно судить, как относился, как понимал писатель этот печатный орган. Газета «Северная пчела» в 1830–1840 годы выступала как орган оппозиционный В.Г. Белинскому и натуральной школе. В романе Достоевского она оказывается одной из причин, если не виновниц того, что личная жизнь Ивана Петровича и Наташи не сложилась. Николай Сергеевич говорил ему: «<...> Ты, положим, талант, даже замечательный талант... ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант (я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне»; слишком уж там тебя худо третируют: ну да ведь это что ж за *газета*!). Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора или хоть год: пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа; не удастся тебе — сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..» [III, 191]

Герой хоть и понимает, что газета, в которой третируют Николая Петровича, никудышная, однако, тем не менее, именно из-за ее выступлений предлагает повременить, подождать «годика эдак полтора». Не будь ее выступлений, жизнь Наташи и Николая Петровича, вне сомнения, сложилась бы иначе.

В «Преступлении и наказании» (1866), по Л.П. Гроссману, «Достоевский в границах одного романа развернул исключительное богатство социальных характеров и показал сверху донизу целое общество в его чиновниках, помещиках, студентах, ростовщиках, стряпчих, следователях, врачах, мещанах, ремесленниках, священниках, кабатчиках, сводницах, полицейских и каторжниках. Это — целый мир сословных и профессиональных типов, закономерно включенный в историю одного идеологического убийства».¹

¹ Гроссман Л. П. Город и люди «Преступления и наказания» // Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1939. С. 50.

Одним из источников, позволивших развернуть «исключительное богатство социальных характеров» и показать «сверху донизу целое общество», стала современная писателю периодическая печать. Начнем с неоднократных сообщений газет начала 1860-х годов о том, что в связи с ростом нищеты трудового населения Петербурга особенно усилилось ростовщичество, ставшее обыденным явлением. К примеру, только один номер «Ведомостей С.-Петербургской полиции» за 1865 год опубликовал одиннадцать объявлений о выдаче денег на проценты под различные залоги. Газета «Голос» в феврале 1865 года писала: «Все эти объявления показывают, с одной стороны, крайнюю потребность в деньгах в бедном классе, а с другой — накопление сбережений людьми, не умеющими обратить эти деньги на какое-нибудь производительное предприятие. При чтении всех этих предложений денег представляется, с одной стороны, скарденность и алчность, а с другой — раздирающая душу нищета и болезнь».¹

Петербургские газеты конца 1850-х — начала 1860-х годов постоянно писали о том, что рост нищеты городских низов, их неуверенность в завтрашнем дне являются главной причиной систематического увеличения преступности. Сам Достоевский неоднократно признавался, что в основу повествования о преступлении Раскольникова легли художественно претворенные им на страницах романа факты, извлеченные из уголовной хроники.

В нескольких номерах сентября 1865 года газета «Голос» сообщала о том, как в Москве проходил военно-полевой суд над приказчиком, купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, раскольником по вероисповеданию. Герасим Чистов обвинялся в предумышленном убийстве в Москве в январе 1865 г. двух старух — кухарки и прачки — с целью ограбления их хозяйки. Преступление было совершено между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сыном хозяйки квартиры, мещанки Дубровиной, в разных комнатах в лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые из окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, серебряные и золотые вещи. По информации петербургской газеты, старухи были убиты порознь, в разных комнатах и без сопротивления с их стороны одним и тем же орудием — посредством нанесения многих ран, по-видимому, топором: «<...> Чистова изобличает в убийстве двух старух орудие, которым это преступление совершено, пропавший топор чрезвычайно острый, насаженный на короткую ручку».²

¹ Голос. 1865. 7 (19) февр. № 38.

² Голос. 1865. 12 (24) сент. № 252.

Газеты и журналы конца 1850-х — начала 1860-х годов постоянно писали о росте преступности, алкоголизма и проституции в России. Так, журнал «Время» в 1862 году опубликовал статьи М. Родевича и П. Сокальского о книге Э.А. Штейнгеля «Наша общественная нравственность» (1862), в которых авторы пытаются найти причины «падения» женщины, отыскать в современном обществе условия, способствующие развитию проституции как социального явления.

Место жительства главного героя романа также представлено в периодической печати. Газета «Петербургский листок», например, писала о том, что в «Столярном переулке¹ находится 16 домов (по 8 с каждой стороны улицы). В этих 16 домах помещается 18 питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей и увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески: входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо, — везде найдешь вино».²

По информации той же газеты, рядом, на Вознесенском проспекте, помещалось 6 трактиров (один из них посещает в романе Свидригайлов), 19 кабаков, 11 пивных, 10 винных погребов и 5 гостиниц.

Есть и другие факты, свидетельствующие о том, насколько газетная информация стала частью романа Достоевского. В свое время детальное сопоставление картины Петербурга в романе и отражения событий жизни города в текущей газетной хронике 1865–1866 годов было проведено В.В. Даниловым.³

В самом романе пресса является весьма существенным элементом повествования. Хотя газета первый раз возникает в тексте романа в качестве *бытовой подробности*. Раскольников, убив старуху-процентщицу, начинает искать вещи, оставленные в залог, и находит «браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в *газетную бумагу*, но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками». [У1, 64]

В этой же роли газета возникает и в тот момент, когда Раскольников вернулся из полицейского участка в страхе, что в его комнате уже был обыск, а он оставил взятые на квартире старухи-процентщицы вещи

¹ Здесь, на углу Малой Мещанской улицы, в доме И.М. Алонкина жил в 1864–1867 гг. и сам писатель

² Петербургский листок. 1865. 18 марта. № 40.

³ Данилов В.В. К вопросу о композиционных приемах в «Преступлении и наказании» Достоевского // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук. 1933. № 3. С. 249–263.

«в этой дыре». Перекладывая их в карманы, он замечает, что «одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется орден...» [YI, 84]

Газета упоминается в романе и в тот момент, когда Раскольников становится свидетелем разбирательства в полиции с «пышной дамой» Луизой Ивановной, в заведении которой ночью случился дебош с пьянством и дракой. По ее словам, главный виновник происшествия угрожал: «Я, говориль, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас всё сочинить». [YI, 79]

Здесь упоминается хорошо известное в современной Достоевскому периодической печати явление — люди, из работавших в газете или просто писавших для нее, позиционировали себя как обладающие некоей властью, которым дозволено то, на что остальные права не имеют. Автор фельетона «Из дневника Петербуржца», к примеру, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» писал в 1865 году: «Нравы нашего литературного задворья становятся все более и более дикими. Про обличителей разных трактиров, ресторанов и проч. приходится слышать вещи самого возмутительного содержания. Они являются всюду, едят, пьют, получают подарки и хвастаются, что обличат тотчас, если что не по ним, т.е. если им не дадут взятки или спросят за выпитое вино или съеденный обед деньги».¹

В таком поведении кроется одна из причин отрицательного, если не враждебного, отношения ко всякого рода «сочинителям», не только газетным, выраженное в словах поручика полиции: «Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи... тьфу!» [YI, 79]

Роль газеты в повествовании становится значительной в тот момент, когда Разумихин рассказывает о том, что у него с Заметовым «дело одно общее завязалось», и они его обязательно «вытащат». А дело это «о красильщике»: «Да, бишь, я тебе только начало рассказывал... вот, про убийство старухи-то закладчицы, чиновницы... ну, тут и красильщик теперь замешался...» На что Раскольников отвечает: «Да про убийство это я и прежде твоего слышал, и этим делом даже интересуюсь... отчасти... по одному случаю... и в газетах читал! <...>» [YI, 104]

Разумеется, Раскольников ни в каких газетах «про убийство» не читал, в романе об этом нет никакого упоминания, но он твердо знает, что газеты не могли упустить такого происшествия, а потому свою информированность в этом преступлении всегда можно *объяснить за счет газет*.

¹ Санкт-Петербургские ведомости, 1865, 8 июля, № 172.

И тем не менее, войдя в трактир «Хрустальный дворец», куда приглашал его Разумихин, он вспоминает, о чем хотел прочитать в газетах и первым делом спрашивает: «Газеты есть?» Герой словно бы решил подстраховаться относительно своей информированности в убийстве, его не смущает даже то, что среди посетителей он вроде бы заметил Заметова. Он просит чаю и принести «газет, старых, этак дней за пять сряду». Получив газеты, Раскольников принялся отыскивать нужное. Его поиски дают возможность, пусть и отчасти, узнать о том, что писали современные газеты: «Излер — Излер — Ацтеки — Ацтеки — Излер — Бартола — Массимо — Ацтеки — Излер... фу, черт! А, вот отметки: провалилась с лестницы — мещанин сгорел с вина — пожар на Песках — пожар на Петербургской — еще пожар на Петербургской — еще пожар на Петербургской — Излер — Излер — Излер — Излер — Массимо... А, вот...» [У1, 124]

В 1860-е годы газеты часто писали о деятельности Излера Ивана Ивановича, владельца загородного сада «Минеральные воды». В 1865 году они были полны сообщений о приезде в Петербург лилипутов — юноши Массимо и девушки Бартоло, которые якобы были потомками древних обитателей Мексики — ацтеков. В представлении героя, ищущего другую информацию, о них писали так часто, что других новостей он не замечает. Посоперничать в популярности с такими новостями могли только пожары. Однако старания героя были вознаграждены: «Он отыскал наконец то, чего добивался, и стал читать; строки прыгали в его глазах, он, однако ж, дочел всё «известие» и жадно принялся отыскивать в следующих нумерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы, от судорожного нетерпения <...>» [У1, 124]

Писатель очень достоверно психологически передает, как герой судорожно перебегаем глазами с одного заголовка на другой, встречая в первое время одни и те же. Не менее выразительно передано и то, как от найденной информации газетные строки начинают прыгать в его глазах, как он жадно отыскивает «в следующих нумерах позднейшие прибавления». Газета, таким образом, выступает в качестве одного из выразительных средств раскрытия состояния героя, совершившего преступление. Психологическая значимость эпизода заключается в том, что преступник имеет возможность прочитать о том, как увидели его преступление те, кто не может знать всего произошедшего в деталях и подробностях, ибо они известны только ему одному.

Не менее выразителен и следующий эпизод, в котором к Раскольникову подсел Заметов, интересующийся: «... Что это вы газеты читаете?» А затем он же замечающий: «Много про пожары пишут...» На по-

следнее замечание Раскольников явно с вызовом отвечает: «Нет, я не про пожары. — Тут он загадочно посмотрел на Заметова; насмешливая улыбка опять искривила его губы. — Нет, я не про пожары, — продолжал он, подмигивая Заметову. — А сознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал?»

... — Так сказать, про что я читал, что разыскивал? Ишь ведь сколько нумеров велел натащить! Подозрительно, а?» [YI, 125]

А далее начинается вообще, можно сказать игра с огнем, словно бы в Раскольникове просыпается тот самый, который не «тварь дрожащая», а тот, который «право имеет», который может себе позволить так опасно говорить о самом себе: «<...> объявляю вам... нет, лучше: «сознаю съ»... Нет, и это не то: «показание даю, а вы снимаете» — вот как! Так даю показание, что читал, интересовался... отыскивал... разыскивал... — Раскольников прищурил глаза и выждал, — разыскивал — и для того и зашел сюда — об убийстве старухи чиновницы, — произнес он наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание и ровно целую минуту они так друг на друга глядели». [YI, 125]

Чтение газетных сообщений о совершенном им преступлении возбуждает героя, заставляет говорить весьма опасные в его положении вещи: «<...> Это вот та самая старуха, — продолжал Раскольников, тем же шепотом и не шевельнувшись от восклицания Заметова, — та самая, про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал. Что, теперь понимаете?» [YI, 125]

Газетные сообщения становятся *причиной* такой опасной игры с человеком, который имеет отношение к следствию по убийству старухи-процентщицы. Они возбуждают героя настолько, что Раскольников «сам совершенно не в силах был сдержать себя», они пробуждают в нем воспоминания о совершенном с психологически точной достоверностью: «И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!» [YI, 126]

Особую роль в романе Достоевского играет обращение самого героя к возможностям периодической печати. Созревшую в сознании героя теорию об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях он посчитал

необходимым сделать достоянием многих. Уже само стремление донести через прессу до других свои идеи является попыткой продемонстрировать свою «необыкновенность». Хотя в этом плане герой не отличался настойчивостью — отдав статью еще полгода назад в газету, он не стал добиваться ее опубликования и даже забыл о ней. Только от Порфирия Петровича Раскольников узнает, что статья опубликована, да еще и в другой газете, так как та, в которую он отдал свою статью, перестала существовать.

С другой стороны, личность самого Раскольникова, как возможного преступника, заинтересовала Порфирия Петровича благодаря статье, опубликованной в газете, хотя по признанию следователя, статья Раскольникова заинтересовала его еще раньше, до того, как было совершено преступление: «<...> а впрочем, и всегда интересовала меня, — одна ваша статейка: «О преступлении»... или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел удовольствие в «Периодической речи» прочесть. [YI, 198]

В любом случае, данный факт свидетельствует о том, что для настоящего профессионала пресса может служить *источником* весьма важной и полезной информации, как о психологии преступника, движимого идейными соображениями вообще, так и о конкретном исполнителе злодеяния по отношению к двум беззащитным женщинам.

Через газетную статью следователь разгадал сущность Раскольникова, угадал в нем возможного преступника.

Эпизод, в котором Порфирий Петрович вспоминает и комментирует статью Раскольникова, примечателен и еще одним моментом. Разъясняя некоторые положения своего газетного выступления, герой замечает, что он вовсе и не настаивает на том, «чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что *такую статью и в печать бы не пропустили*. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право...» [YI, 199]

Значит, периодическая печать 1860-х годов функционировала в рамках определенных этических норм и правил, когда не каждая идея могла стать достоянием самой широкой читающей публики. Сам Раскольников осознает, что его идея, доведенная до определенной степени крайности, которую и предлагает Порфирий Петрович, — это уже то, что не могло быть допущено на страницы периодической печати.

Газета со статьей Раскольникова еще раз появляется в романе в тот момент, когда до принятия решения о признании в убийстве останется

совсем немного времени, когда в глубине души герой уже такое решение принял: «Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол». [YI, 396]

Здесь есть и «язвительно-сладкое чувство» автора, правда, приходящее всего на мгновение, но есть и воспоминание о душевной борьбе последних месяцев. И главное — газетная статья, написанная в прошлом, стала для него началом того, о чем в настоящем он может думать только «с отвращением и досадой».

Журнал в романе «Преступление и наказание» возникает в самом неожиданном смысле. Отважившись на посещение квартиры — места совершенного преступления, Раскольников встречает там двух работников, которые оклеивали стены новыми обоями. Они почти не обратили на него внимания и продолжали свой разговор:

«<...> Приходит она, этта, ко мне поутру, — говорил старший младшему, — раным-ранешенько, вся разодетая. «И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь, чего ты передо мной, говорю, апельсинничаешь?» — «Я хочу, говорит, Тит Васильич, отныне, впредь в полной вашей воле состоять». Так вот оно как! А уж как разодета: журнал, просто журнал!

— А что это, дядьшка, журнал? — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у «дядьшки».

— А журнал, это есть, братец ты мой, такие картинки, крашенные, и идут они сюда к здешним портным каждую субботу, по почте, из-за границы, с тем то есь, как кому одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу. Рисунок, значит. Мужской пол всё больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что отдай ты мне всё, да и мало!» [YI, 133]

Журнал дан в восприятии человека, который сам журналы никогда не читал, а только видел, как они выглядят, потому и сравнивает он «этту» с внешним видом журнала. Кстати, второй собеседник вообще не знает, что это такое. В отличие от газет, журнал остается пока достоянием людей городских и имеющих материальный достаток, а для тех, кто не имеет к ним доступа, это — «картинки крашенные», которые рассказывают о том, «как кому одеваться».

Несколько иным содержанием наполняется концепт средства массовой информации в романе «Идиот» (1868). Первый раз газета упоминается в романе, когда князь Мышкин рассказывает о том, что он в Лионе видел смертную казнь, замечая при этом, что «там очень не любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах». [VIII, 54] Публичная казнь как явление в Европе еще практикуется, но общественное мнение уже воспринимает ее как отвратное зрелище, отвратное настолько, что посещающие ее женщины становятся предметом газетных публикаций негативного характера.

Следующее упоминание газеты в романе опять-таки связано с иностранной прессой. Рассказывая Настасье Филипповне о себе и своих товарищах, генерал Ардалион Александрович Иволгин не без позы общается: «Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся от дел буржуа, в шашки и читаю «Indépendance» <...>» [VIII, 92]

Одним из своих достоинств герой считает то, что он читает не какие-то там российские газеты, а «Indépendance Belge» («Бельгийская независимость»). Газета выходила в Брюсселе в 1830–1937 годах и отличалась тем, что широко освещала политическую и общественную жизнь Западной Европы. Сам Достоевский, судя по «Дневнику писателя», в 1867–1868 годах постоянно читал эту газету.

Как выяснилось, генерал не только читал бельгийскую газету, но и пользовался вычитанными из нее историями, выдавая их за якобы произошедшие с ним самим. Желая развлечь Настасью Филипповну, он рассказал такую одну такую историю, благодаря чему попал в неловкое положение. Оказалось, что среди присутствующих он был не единственным, кто постоянно читал «Indépendance Belge». Выслушав историю его приключений в вагоне поезда, Настасья Филипповна заявила: «Но позвольте, как же это? ... Пять или шесть дней назад я читала в «Indépendance» — а я постоянно читаю «Indépendance» — точно такую же историю! Но решительно точно такую же! Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой: точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно болонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое!

<...> — Как! Точь-в-точь? Одна и та же история на двух концах Европы, и точь-в-точь такая же во всех подробностях, до светло-голубого платья! — настаивала безжалостная Настасья Филипповна. — Я вам «Indépendance Belge» пришлю!» [VIII, 92]

Уверения генерала в том, что рассказанный им случай произошел именно с ним, но только «два года раньше» выглядят неубедительно. Нас, однако, более интересует другой аспект эпизода. Газета в нем представлена не в качестве некоего собрания интересных или занимательных историй, но *источником материала* для представления персонажем своей жизни, своей манеры поведения как увлекательных и интересных, свидетельствующих о его жизнелюбивом и решительном характере.

Газета, о чем свидетельствует и приведенный выше пример, выступает и в качестве *источника информации*, а ее распространенность в обществе такова, что пользоваться этой информацией в личных целях необходимо крайне осторожно, чтобы не попасть в ситуацию, подобную той, в которой оказался генерал Иволгин.

Персонажи романа относятся к газетам как к возможности следить за событиями. В одном из эпизодов Лебедев спрашивает князя Мышкина: «Ваше сиятельство! — с каким-то порывом воскликнул вдруг Лебедев, — про убийство семейства Жемариных *в газетах* изволили проследить?» [VIII, 161] Значит, в представлении этого героя, газеты дают возможность не просто узнать о каком-либо событии, о том же убийстве семейства Жемариных, но и создают образ этого события, развернутый во времени, дают возможность «проследить» за тем, как это событие разворачивается.

В данном случае речь идет о реальном преступлении, обстоятельства которого, а также следствие и суд над преступником широко освещались в прессе. 10 марта 1868 года в газете «Голос» Достоевский прочел сообщение о том, что в Тамбове, в доме купца Жемарина было убито шесть человек. В последствии та же газета подробно рассказывала о ходе следствия и суде над восемнадцатилетним дворянином Витольдом Горским, который давал уроки сыну Жемариных.

Для персонажей романа имеют весьма существенное значение не только событиями, о которых рассказывают газеты, люди, чьи имена попали на газетные страницы, вызывают повышенный интерес. Тот же Лебедев интересен Аглае Епанчиной не только тем, что «толкует Апокалипсис», но и тем, что о нем «в газетах печатали». Правда, от него самого она узнает, что «это о другом толкователе, о другом-с, и тот номер, а я за него остался» [VIII, 202], однако изначальный интерес к нему с ее стороны был вызван тем, что газеты, как ей представлялось, упоминали его имя.

Газета, в том числе и названная выше, неоднократно возникает в качестве бытовой подробности. К примеру, генерал, ожидает князя

Мышкина в кафе-бильярдной «с бутылкой пред собой на столике и в самом деле с «Indépendance Belge» в руках». [VIII, 106]

Такая бытовая подробность может быть и весьма важной деталью повествования. Брошенные Настасьей Филипповной в камин деньги не сгорели потому, что, «пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы». По замечанию одного из персонажей «разве только тыщоночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы», [VIII, 146]

Чтение газет в качестве услуги может способствовать установлению добрых отношений между персонажами, как, к примеру, случилось у Коли с генеральшей Епанчиной, которой он не льстил, но «сумел стать у них совершенно на равную и независимую ногу, хоть и читал иногда генеральше книги и *газеты*, — но он и всегда бывал услужлив». [VIII, 157] Такая *форма общения*, как чтение газет, в данном случае выступает как средство *установления добрых отношений* между персонажами.

Один из персонажей романа размещал в газетах объявления о том, что дает «деньги под золотые и серебряные вещи» [VIII, 368], то есть занимался тем, чем и убитая Раскольниковым героиня «Преступления и наказания».

Есть в романе персонаж, который признается, что «ужасно» любит «в газетах читать про английские парламенты, то есть не в том смысле, про что они там рассуждают (я, знаете, не политик), а в том, как они между собой объясняются, ведут себя, так сказать, как политики: «благородный виконт, сидящий напротив», «благородный граф, разделяющий мысль мою», «благородный мой оппонент, удививший Европу своим предложением», то есть все вот эти выраженьица, весь этот парламентаризм свободного народа — вот что для нашего брата заманчиво! Я пленяюсь <...>» [VIII, 309–310]

Формы обращения заседающих в «английских парламентах», передаваемые газетами, служат для этого читателя заманчивым образцом, некоторым выразительным словесным явлением, которое пленит. В этом для него — весь «парламентаризм свободного народа». Газета предстает в качестве источника *образцов*, примеров речи, форм выражения, которыми хотел бы обладать и читатель.

Периодическая печать в романе Достоевского может выступать в роли средства заявить о себе, о своей программе. Те, кто заявляют о себе в печати, вызывают большее доверие, нежели те молодые люди, которые, по словам Лебедева, «не то, чтобы нигилисты», потому что дальше пошли: «Это собственно, некоторое последствие нигилизма, но не

прямым путем, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с; не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распада на части России <...>» [VIII, 213–214]

Принципиально важную роль в развитии действия и в судьбе главного героя играет «одна еженедельная из юмористических» газета. Скорее всего, речь идет о газете «Искра», издававшейся под редакцией поэта В.С. Курочкина с 1859 по 1873 год. Когда Лизавета Прокофьевна просит князя обязательно, «сию же минуту» прочесть напечатанное в газете, потому это прямо касается его дела, последний, видимо, уже зная содержание статьи, пытается сопротивляться: «Не лучше ли, однако, не вслух, — пролепетал князь, очень смущенный, — я бы прочел один... после...» [VIII, 217]

Однако Лизавета Прокофьевна требует, чтобы газетную статью читали немедленно и вслух. Достоевский приводит статью полностью, что дает возможность читателю не просто прочитать якобы опубликованное в газете, а увидеть стиль публикаций, которые направлены на то, чтобы решить свои личные проблемы, расправиться с неугодным человеком.

Уже название статьи «Пролетарии и отпрыски, эпизод из дневных и вседневных грабежей! Прогресс! Реформа! Справедливость!» обещает разоблачение каких-то «вседневных грабежей» в свете прогресса и реформ. Есть в этом названии и намек на необходимость торжества справедливости относительно тех, кого относят к пролетариям. Однако, после прочтения статьи возникает впечатление, что «прогресс» и «реформа» взяты для «громкости», для «антуражу», ибо речь о них никак не идет. Описанные события к грабежам не имеют никакого отношения, а тех, кого в названии статьи именуют пролетариями, называть таковыми можно только с очень грубой натяжкой даже без определения К. Маркса.

Сам текст статьи опять же открывается ни о чем не говорящим упоминанием «так называемой святой Руси», века реформ и «компанийских инициатив», этот век почему-то назван еще и «веком национальностей» и «сотен миллионов, вывозимых каждый год за границу», веком «поощрения промышленности и паралича рабочих рук». [VIII, 217] Словно бы автор пишет обо всем, что приходит ему на ум, независимо от того, имеет ли оно отношение к теме статьи или нет.

Произошедшее автор статьи определяет как «странный анекдот», который случился «с одним из отпрысков миновавшего помещичьего

нашего барства». Речь, разумеется, идет о князе Мышкине, история жизни которого передана в самой издевательской манере, тем более очевидной для тех, кто к этому эпизоду уже знает героя и составил о нем довольно определенное мнение. Самое вызывающее в повествовании о жизни князя Мышкина связано с тем, что автор статьи открыто пишет о том, что герой «барский отпрыск был *идиот*», который «лечился от родового *идиотизма*» в Швейцарии, но «*идиот*, разумеется, умным не сделался». Более того, в статье утверждалось, что «отпрыск, хоть и *идиот*, а все-таки попробовал было надуть своего профессора». [VIII, 217–218]

Слово «идиот» на протяжении всей статьи настойчиво повторяется в разных вариантах. О стилистических «изысках» автора статьи свидетельствует, к примеру, то, что он может вспомнить грибоедовское «свежо предание, а верится с трудом» и рядом заметить, что в какой-то момент «счастье повернулось к нашему герою *задом*». Предельно язвительно и с сарказмом автор статьи пишет о полученном наследстве, не забывая при этом снова неоднократно упомянуть об идиотизме, прибавив к этому еще и убитые «голодной смертью целые губернии»: «<...> Не тут-то было-с: фортуна, убивающая голодную смертью целые губернии, проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская *Туча*¹, пронесшаяся над иссохшим полем и разлившаяся над океаном. Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери (бывшей, разумеется, из купчих), старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства, бесспорного, круглого, чистого, наличного — и (вот бы нам с вами, читатель!) всё это нашему отпрыску, всё это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии! Ну, тут уже музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одною известною красавицей-содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей, нашлись даже родственники, а пуше всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака, и чего же лучше: аристократ, миллионер, идиот — все качества разом, такого мужа и с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь!..». [VIII, 218–219]

Всего лишь один небольшой отрывок из этой, довольно пространной статьи демонстрирует и стилистические «изыски», и логику мыс-

¹ Курсив Ф.М. Достоевского. — С.А., С.В.

ли автора, задача которого — развенчать «нашего барона в штиблетах».

Последующее изложение не менее интересно, к примеру, когда в статье рассказывается о том, кто претендует на то, чтобы «новоявленный миллионер» поделился с ним своим достатком. Это был «посетитель, с спокойным и строгим лицом, с вежливой, но достойной и справедливой речью, одетый скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли» [YIII, 219]

Написано это так, что не может не вызвать улыбки, когда пытаешься понять, что значит «вежливая, но достойная и справедливая речь». И уж, конечно, нельзя воспринимать иначе, как вершину стилистических находок автора, его слова о том, посетитель был одет «скромно и благородно», да еще и «с видимым прогрессивным оттенком мысли».

Далее в статье рассказывалось о том, что получивший богатое наследство имеет возможность «безнаказанно давить людей своими миллионами», а делиться с нуждающимся не хочет, хотя «дело не юридическое, остается одна только гласность», только поэтому автор и передает «анекдот этот публике, ручаясь за его достоверность». [YIII, 221]

Как видим, гласность уже во времена героев романа «Идиот» понималась в качестве одной из важнейших функций периодической печати и использовалась как одно из действенных средств разрешения важных, в том числе и личного характера, вопросов.

Точнее всего, на наш взгляд, характер и стиль этой публикации оценил Иван Федорович: «Это черт знает что такое, ... точно пятьдесят лакеев вместе собирались сочинять и сочинили». [YIII, 222] Действительно, вся статья буквально пронизана остроумием и стилистическими изысками, которые иначе, как лакейскими назвать трудно.

Как и следовало ожидать, такой оценкой Ивана Федоровича возмущены, прежде всего те, кто имел к статье непосредственное отношение.

Коле, которому выпало читать злополучную статью, было «невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к грязи впечатлительность была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что произошло что-то необычайное, всё разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это». [YIII, 221]

Писатель замечает, что «ощущали нечто в этом же роде» и другие. Неловко и стыдно было девушкам, Лизавета Прокофьевна испытывала «чрезвычайный гнев». Все другие участники события «имели как бы несколько сконфуженный вид».

Особо отмечена реакция князя на газетную статью: «С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях с слишком застенчивыми людьми: он до того застыдился чужого поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое мгновение он и поглядеть на них боялся». [VIII, 221]

Газетная публикация дает возможность писателю еще раз вспомнить о необычайном нраве князя Мышкина, который знает, что «всё неправда, что в статье напечатано», но при этом просит «говорить так, чтобы понимать друг друга», более того, ради этого понимания он даже не против «насчет статьи». Его только решительно удивляет, если только кто-нибудь из присутствующих написал эту статью. Князь в очередной раз демонстрирует собравшимся беспримерную доброту своего сердца.

Боксер, который является автором статьи, согласен с князем, что не все в ней правда, согласен и с тем, что написано «резко», не без «некоторых неточностей, так сказать гипербол», по его собственным словам. Однако готов все это оправдать тем, что «прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение; важен благодетельный пример, а уже потом будем разбирать частные случаи, и, наконец, тут слог, тут, так сказать, юмористическая задача, и, наконец, — все так пишут, согласитесь сами! Ха-ха!» [VIII, 225]

Перед нами философия оправдания публикации любого характера, любого стиля и даже откровенной лжи. Важна уже сама инициатива поднятия в печати важной проблемы, цель и намерение этой инициативы, которая выступает как «благонамеренный пример». А слог, стилистические особенности которого мы уже отмечали, как оказывается, всегда можно оправдать «юмористической задачей», к примеру. И самое главное — в признании автора статьи есть характеристика периодической печати вообще. Он в своей лакейской риторике не одинок — «все так пишут».

Всего лишь одна публикация в газете вызывает новые споры и объяснения между персонажами романа, меняет характер взаимоотношений между ними и судьбу главного героя.

Чуть ниже о нравах, поощряемых прессой, с возмущением говорит Лизавета Прокофьевна: «Истины ищут, на праве стоят, а сами как басурмане его в статье расклеветали». [VIII, 238] Периодическая печать выступает, в понимании героини, в качестве того, что *не способствует торжеству права*, потому что занимается клеветой на это самое право. Ее возмущение вызывает и то, как общество через прессу относится, например,

к обольщенной девушке. Такое общество она называет «диким и бесчеловечным» за то, что через газеты «оно позорит обольщенную девушку. Да ведь коли бесчеловечным общество признаешь, стало быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам-то ее *в газетах* перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб это ей было не больно? Сумасшедшие! Тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?» [VIII, 238]

Пример с обольщенной девушкой позволяет показать то, как, в представлении, пусть всего лишь одной героини Лизаветы Прокофьевны, концепт средства массовой информации наполняется содержанием *бесчеловечность*, приносящая боль. Пресса выступает как средство, способствующее бесчеловечному поведению общества, его тщеславию и сумасшествию. Отсюда — пресса является в обществе тем, что способствует сумбуру, хаосу и безобразию. Обращаются к возможностям периодической печати, работают в ней, по логике героини, люди, которые не веруют.

Других, более обстоятельных, свидетельств о тех, кто делает газеты, об их характере и манере поведения, идеологии в романе Достоевского нет, а единственный представитель этой профессии, которого писатель заметил всего один раз, не вызывает никакой симпатии. Им был человек, который пришел в компании Рогожина, когда тот принес Настасье Филипповне те самые сто тысяч рублей: «Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и давеча утром; прибавился только какой-то беспутный старичишка, в свое время бывший редактором какой-то *забудыжной обличительной газетки* <...>» [VIII, 133]

Есть в романе «Идиот» сопоставление того, как воспринимается одна и та же информация, данная газетой и описанная в художественной литературе. Князь Мышкин признается: «Я знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это сочинитель, — знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно; а прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов поучаетесь русской действительности <...>» [VIII, 412–413]

Речь идет о действительно произошедшем убийстве. Выписки из газетных публикаций о нем есть в записной тетради Ф.М. Достоевского к роману «Идиот». Сделаны они из газет «Московские ведомости» и «Голос» за 1867 год. Будучи хорошо знакомым с содержанием газет-

ных публикаций об этом убийстве «за часы», писатель устами своего героя высказывает мысль о том, насколько недоверчиво критика относится к «выдумкам» писателей («сочинителей»), знатоков народной жизни. Зато то же самое, но напечатанное в газете, не вызывает никаких сомнений. Концепт газета, таким образом, оказывается в оппозиционных отношениях с тем, что принято понимать под художественной литературой, однако вина за такую оппозиционность лежит не на газетах или художественной литературе, а на критиках, которые с недоверием относятся к «выдумкам» писателей.

Роман «Бесы» (1871–1872) был задуман Достоевским как политический памфлет на западников и нигилистов. Пытаясь решить вопрос о причинах и истоках современного нигилизма, писатель уделяет в романе много внимания анализу той роли, которую сыграли средства массовой информации в становлении и развитии идеологии и практики этого учения. Повествование в «Бесах» ведется от лица некоего хроникера. Последний выступает не только в качестве очевидца и летописца произошедших событий, но и как их участник.

О роли прессы этот городской обыватель пишет уже на первых страницах своей хроники, когда доводит до сведения читателя «Несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского». По возвращении из-за границы, он в какое-то время «блеснул в виде лектора на кафедре университета», а затем, «уже после потери кафедры — он успел напечатать (так сказать в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования, — кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху, или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено, и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было, и что автор сам поленился закончить исследование». [X, 8–9]

Здесь есть характеристика героя, который «блеснул», работая на кафедре в университете, а затем «в виде отместки» за потерянную кафедру и чтобы «указать, кого они потеряли», обратился к публикации статьи в журнале. Есть и характеристика журнала, который представлен как прогрессивный, печатающий Диккенса и проповедующий идеи

Жорж Санд, а главное пострадавший за публикацию первой части статьи Верховенского. В связи с тем, что описываемые события происходят в конце 40-х годов, не названным в романе журналом могли быть только «Отечественные записки», которые в 1840-х годах опубликовали в переводе романы Диккенса: «Оливер Твист», «Бернеби Радж», «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», «Домби и сын», а также романы Жорж Санд «Орас», «Домашний секретарь», «Жак», «Жанна», «Лукреция Флореани» и повести «Мельхиор», «Андре», «Маркиза», «Теверино». Сам Достоевский весьма положительно отзывался о такой политике «Отечественных записок».

Варвара Петровна, с которой Степан Трофимович Верховенский, по замечанию писателя, был связан «дружбой странной», выписывала газеты и журналы «во множестве», а герой их «читал постоянно». Чтение его отличалось своеобразием: «Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлёкся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие <...>» [X, 19]

Значит, современные газеты и журналы давали возможность их постоянному читателю быть в курсе успехов русской литературы и заниматься изучением «высшей современной политики наших внутренних и внешних дел».

Особая роль возникает в глазах героев романа у средств массовой информации в тот момент, когда писатель говорит о наступившем «особенном времени», которое было очень непохожим «на прежнюю тишину», и о попытках этих героев разобраться в его особенностях. Во множестве появились слухи и факты «в чрезмерном количестве», однако неясны были идеи, эти факты сопровождающие: «Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась». [X, 20]

Замечание о круге чтения Варвары Петровны примечательно тем, что свидетельствует: в описываемую эпоху не только до столичных жителей, но и до провинции стали доходить заграничные запрещенные издания и даже прокламации, и объем их был весьма значителен. Другое дело, что они так же, как и официально издаваемые газеты и журналы, картину происходящего не проясняли, от их информации

«только голова закружилась». Поэтому единственным, кто мог бы объяснить Варваре Петровне «все эти идеи», раз и навсегда был приглашен Степан Трофимович Верховенский.

В отношении последнего к средствам массовой информации есть свой индивидуальный подход. Степан Трофимович довольно высокомерно относился ко всему происходящему, и вызвано такое отношение было тем, что «он сам забыт и никому не нужен». Однако именно средства массовой информации, и прежде всего запрещенные, вызывают в нем интерес к окружающему: «Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы <...>» [X, 20]

Появление имени героя в средствах массовой информации и его реакция на это появление, с одной стороны, наполняют этот концепт таким содержанием, как способность возвращать интерес к происходящему, к жизни вообще. С другой стороны, в приведенном наблюдении периодическая печать характеризуется стремлением неизменно сравнивать героев своих публикаций с какими-то известными политическими и литературными деятелями, которые уже заслужили и признание, и уважение в обществе. Эта же печать выступает, как это уже не раз отмечалось в произведениях как русской, так и зарубежной литературы, в качестве источника неверной информации, настолько неверной, что в случае с Верховенским дело дошло даже до обещания некролога.

При таком влиянии на поведение героя он, узнав, что Варвара Петровна решила «основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь», стал относиться к ней «еще высокомернее», «почти покровительственно». [X, 20–21] Таким образом, люди, занимающиеся изданием средств массовой информации или имеющие к ним отношение, в глазах героев, которые видят себя значительными политическими фигурами, выглядят как стоящие значительно ниже, как достойные высокомерного отношения.

Периодическая печать в романе неоднократно и в разных аспектах выступает в качестве средства заявить о себе, привлечь внимание к своеобразию и необычности своей персоны. И если для Верховенского принципиально важно быть объектом публикаций в прессе, то для

Кармазинова она является местом, где он выступает в качестве автора. Именно авторство в периодической печати дает ему возможность рассказать о своей исключительности, что очень точно было замечено рассказчиком: «С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода, где-то у английского берега, чему сам был свидетелем и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целью выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?» [X, 70]

В данном случае мы имеем дело с вполне определенной манерой журналистского поведения, если хотите, даже с определенным типом журналиста, который пишет материал не столько для того, чтобы показать сущность и характер происходящих событий, сколько для того, чтобы «выставить себя самого». Более того, Достоевский устами автора-рассказчика передает саму методику такого самопредставления.

Связь с органами периодической печати в романе Достоевского может выступать в качестве отличительного признака нового персонажа в момент, когда другие персонажи еще только с ним знакомятся. Так, рассказчик говорит о Шигалеве как о человек, о котором мало что известно, но при этом: «... я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью». [X, 109] Даже в отсутствие всякой информации о том, чему была посвящена статья и как назывался тот самый «прогрессивный петербургский журнал», человек, написавший статью, в глазах рассказчика становится каким-то особенным, не таким, как все.

Мысль Варвары Петровны об издании собственного журнала имела и другие, не менее важные последствия. Во-первых, «к ней хлынуло еще больше народу». Во-вторых, «тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд». И, в-третьих, очень быстро объявились пятеро литераторов, которые приняли решение относительно еще не существующего журнала Варвары Петровны: «Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же переда-

ла его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела». [X, 22–23]

В этом эпизоде проявилось то отношение, которое сложилось в обществе к издателям периодической печати: если человек еще только намеревается издавать, в данном случае журнал, то, значит, он капиталист и готов к тому, чтобы эксплуатировать чужой труд. Выходит, что существование любого периодического издания, в глазах многих, основано на эксплуатации. При этом желающих быть поближе к самому издателю и его делу оказывается много. Более того, могут найтись и те, кто считает себя вправе завладеть таким изданием на вполне «законных» основаниях.

Между тем, благодаря тому, что в доме Варвары Петровны собиралось много народа, ее имя вместе с именами Степана Трофимовича и генерала Дроздова попало на страницы печати. Ссора генерала с одним «знаменитым юношей» буквально на другой день была обличена в печати, «и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. «В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая». [X, 23]

Прессу, которая в этом эпизоде выступает как поборница новых идей на стороне тех, кто борется с ретроградами, менее всего интересуется, кто был зачинщиком ссоры, на чьей стороне была правда. Пресса не может упустить случая лишний раз заклеить консерваторов и сторонников режима, даже если в ряды последних попадают те, кого можно причислить только к оппонентам этого режима.

Для Варвары Петровны идея издания журнала была временным увлечением, вскоре она отказалась от «прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и проч.)» и «стала копить и скупиться». [X, 38]

Одной из множества тем, которые обсуждались на вечерах в доме Варвары Петровны, была тема уничтожения цензуры, которую писа-

тель отмечает в качестве первой. Известно, что тема эта широко обсуждалась на страницах газет и журналов в 60–70-е годы. К примеру, журнал «Современник» писал в 1863 году: «Газеты и журналы единогласно высказывали мысль, что цензура не достигает своей цели, и вследствие этого стала придумывать разные средства, которые бы вернее привели к той цели, которую имеет в виду цензура. <...> Поговаривали даже и о свободе печати, т.е. об освобождении ее от цензуры. <...> Некоторые предлагали освободить литературу от цензуры и подвергнуть ее надзору суда...»¹

В романе есть и другие примеры, которые свидетельствуют о том, что Достоевский выразительно и последовательно отразил своеобразие и проблемы современной ему печати.

Герои романа, независимо от своей деятельности или политических взглядов, так или иначе реагируют на то, что появляется в периодической печати. К примеру, когда в кружке Верховенского, как и по всей России, «заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение», то «Степан Трофимович очень смеялся.

— Друзья мои, — учил он нас, — наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, — то сидит еще в школе...» [X, 32]

Довольно пространную и своеобразную характеристику периодической печать получает в связи с «литературным предприятием», которое задумала в романе Лизавета Николаевна Тушина, ученица Верховенского: «Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы, или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со

¹ Современное обозрение // Современник, 1863, № 1. С. 235–236.

всем случившимся». [X, 103]

Здесь явно прослеживается мысль о том, что периодическая печать, сообщая о множестве событий и происшествий, постоянно имеет дело с временным и проходящим, с тем, что постепенно стирается в памяти читающей публики. Сами периодические издания также живут недолгую жизнь, они частично «складываются в шкапы», однако большая часть из них рвется, превращается в обыкновенный мусор, идет «на обертки и колпаки». У многих читателей, тем не менее, нередко возникает желание вернуться к тому, что было когда-то напечатано, однако найти нужную информацию «в этом море листов» оказывается очень трудно.

Таким образом, сознание героев романа Достоевского уже воспринимает объем периодических изданий, образно ассоциируя его с морем. А с другой стороны, принципиально важна сама мысль о возможности собирать всю публикуемую в этом «море листов» информацию в одну книгу, расположив ее в хронологическом и тематическом порядке. Собранная в одно целое информация, ставшая в свое время достоянием прессы, по мысли автора проекта, способна «обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год», и это даже при том что на страницы периодической печати попадает лишь малая часть фактов этой жизни. Такая мысль автора идеи собирать опубликованную прессой информацию в одну книгу, чтобы в итоге получить настоящую характеристику русской жизни, свидетельствует о том, как определенной частью читающей аудитории России воспринималась периодическая печать, какую, вне сомнения, значительную роль отводили ей многие получатели этой информации.

Лизавету Николаевну не смущает даже то, что, по замечанию одного из персонажей, «вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все». [X, 103]. Она уверена, что книга выйдет, «хоть и толстая, но ясная», потому что в ней необходимо собирать не все. Можно не включать в нее «указы, действия правительства, местные распоряжения, законы». Включению подлежат происшествия, так или иначе выражающие «нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курioзы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность.

И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок. Это была бы так сказать картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год». [X, 103]

Рассуждения Лизаветы Николаевны о том, что из опубликованного прессой должно войти в задуманную ею книгу, дают возможность не только сориентироваться в проблематике современной ей периодической печати, но и иметь представление о том, что, по мнению ее и ей подобных, может составить картину «духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год». Примечательно, что и материальные интересы героиня не отвергает, признаваясь, что задумала свое мероприятие «не для барышей», но «барышами» будет горда.

Замысел Лизаветы Николаевны лишний раз иллюстрирует мысль, согласно которой концепт средства массовой информации неизменно ассоциируется с возможностью как свободного распространения, так и свободного доступа к информации. Иными словами, это информация открытого типа, не требующая дополнительных усилий для ее получения. Такая мысль неоднократно подчеркивается в романе. Рассказывая об успехах Петра Степановича Верховенского в городе, о том, как он был принят и обласкан самим губернатором, хроникер не забывает упомянуть о том, как такому успеху были удивлены окружающие. Удивление и любопытство были вызваны тем, что этот герой «слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, «что можно даже из газет доказать», как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников». [X, 169]

Сведения о революционном прошлом в данном случае являются настолько открытой информацией, что ее можно получить даже из газет, не прибегая к специальным расследованиям или поискам.

Полученная из периодической печати информация постоянно используется персонажами романа для принятия жизненно важных решений, иногда самых неожиданных. К примеру, капитан Лебядкин узнал из газет об одном американце, который, помимо всего прочего, завещал «свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно и нощно выбивать на нем американский национальный гимн». Такое известие подвигло его к решению завещать свой «скелет в академию, но с тем, с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен навеки веков ярлык со словами: «раскаившийся вольнодумец». [X, 209]

Разумеется, пресса в романе может восприниматься в качестве основы для принятия более важных и сложных, нежели у капитана Лебядкина, решений. Так, Юлия Михайловна, которая очень ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с «высшим миром», была уверена в том, что пренебрегать молодежью нельзя, надо знать, чем она живет: «Кричат, что они коммунисты, а по-моему, надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь все — все газеты, коммуны, естественные науки, — все получаю, потому что надо же, наконец, знать, где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии». [X, 235–236]

Концептуально газеты, в представлении героини, выступают в качестве того, что противостоит «верхам своей фантазии» и дает возможность быть в курсе того, что происходит в жизни, «где живешь и с кем имеешь дело».

Для людей, живущих в провинции, особое значение имеет то, как их жизнь видится и воспринимается в столице. Важнейшим отражением такого видения и восприятия является столичная пресса. Она упоминается в романе неоднократно, и эти упоминания дают вполне выразительное представление о том, что интересовало столичную прессу в провинциальной жизни. К примеру, столичная пресса заинтересовалась книгоношей, которая продавала Евангелие, а ей в мешок из шалости подложили «целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы». [X, 251]

Другой пример — это «шпигулинская история», о которой, по замечанию хроникера, «так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты». [X, 269] История эта заключалась в том, что на фабрике Шпигулиных заболел и умер от азиатской холеры рабочий, а затем заболело еще несколько человек, вследствие чего город был напуган.

Те же столичные газеты по-своему описывали случившийся на Шпигулинской фабрике бунт рабочих, включив в свои корреспонденции информацию о пожарных бочках, которые якобы были приготовлены для разгона рабочих. Хроникер же, который был свидетелем событий, называет такие утверждения «вздором»: «Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена; между тем я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет <...>». [X, 342]

Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что, по наблюдениям хроникера, столичную печать в жизни провинции интересуют почти

исключительно сенсационные, скандальные происшествия, что нередко оборачивается тем, что истинные происшествия в их городе выглядят на страницах столичной печати как вздор.

Один из самых интересных и показательных моментов в романе связан с тем, как герои, стремящиеся к разрушению сложившейся системы жизни, находят то, что может работать лучше и эффективнее периодической печати. Верховенский рассказывает Ставрогину о своем плане и о том, какую роль в его реализации должна выполнить агитация, которая будет проходить устно, в виде рассказов и легенд. Такая устная агитация, если ее правильно организовать, может своими легендами победить любую официальную пропаганду, может донести «новую правду»: «Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается». А тут мы дватри соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то — газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: «новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы*¹ будем, мы, одни мы». [X, 326]

Убежденность Верховенского основана на знании психологии тех, кому пока недоступно печатное слово, кто привык жить новостями, которые разносит народная молва. Таких в России большинство, и они поверят легенде о добром «Иване-царевиче», о скрывающемся, но несущем правду. Устная агитация понимается героем в качестве средства, более эффективного, нежели периодическая печать.

В той части хроники, которую сам хроникер определяет как «самую тяжелую», он дает описание окончания праздника, одной из составляющих которого стала «литературная кадриль». «Трудно было бы представить, замечает хроникер, — более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегория, как эта «кадриль литературы». Ничего нельзя было придумать менее подходящего к нашей публике <...>» [X, 389].

Составляющим элементом кадрили был «один пожилой господин, невысокого роста, во фраке, — одним словом, так, как все одеваются, — с почтенною седою бородой (подвязанною, и в этом состоял весь костюм), танцующий, толкаясь на одном месте с солидным выражением

¹ Курсив Ф.М. Достоевского — С.А., С.В.

в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места. Он издавал какие-то звуки умеренным, но охрипшим баском, и вот эта-то охриплость голоса и должна была означать одну из известных газет». [X, 389]

Исполнители кадрили таким образом пародировали А.А. Краевского и его газету «Голос» («охрипшим баском»), которая выходила в Петербурге с 1863 по 1883 год. То, что пожилой господин «толокся на одном месте, почти не сдвигаясь с места», должно было, видимо, символизировать застой и неумение газеты двигаться вперед.

Была и другая аллегория: «<...> «Честная русская мысль» изображалась в виде господина средних лет, в очках, во фраке, в перчатках и — в кандалах (настоящих кандалах). Подмышкой этой мысли был портфель с каким-то «делом». Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключающее в себе удостоверение, для всех сомневающихся, в честности «честной русской мысли». Все это досказывалось распорядителями уже изустно, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподнятой правой руке «честная русская мысль» держала бокал, как будто желая провозгласить тост. По обе стороны ее и с нею рядом сенили две стриженные нигилистки, а vis-a-vis танцевал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжелою дубиной в руке и будто бы изображал собою непетербургское, но грозное издание: «Прихлопну мокренько будет». Но несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремленных на него очков «честной русской мысли» и старался глядеть по сторонам, а когда делал *pas de deux*, то изгибался, вертелся и не знал куда деваться — до того, вероятно, мучила его совесть...» [X, 390]

История с «честной русской мыслью» и «распечатанным письмом из-за границы» подразумевали события, связанные с журналом «Дело», который выходил в Петербурге с 1866 по 1888. «Честной русской мыслью» журнал позиционировал себя, а «распечатанное письмо из-за границы» должно было, по всей вероятности, иллюстрировать мнение о связях журнала с русской революционной эмиграцией. Возможна и другая трактовка этой детали — как намек на частные случаи перлюстрации писем журнальных корреспондентов. То, что господин средних лет был «в настоящих кандалах», являлось намеком на жестокие репрессии правительства по отношению к виднейшим сотрудникам журнала Н.В. Шелгунову и П.Н. Ткачеву. Кроме того, эти кандалы можно расшифровать и как намек на то, что журнал «Дело» был одним из немногих периодических изданий, которые не были освобождены

от предварительной цензуры после выхода в 1865 году новых «правил печати».

Под «непетербургским, но грозным изданием» для современников Достоевского был очевиден намек на «Московские ведомости» М.Н. Каткова, имевшие ярко-выраженную реакционно-охранительную ориентацию. В газете регулярно помещались статьи определенно доносительского характера, направленные против оппозиционных правительству органов печати, в частности, и против «Дела».

Слова «Прихлопну – мокренько будет» – это почти цитата из статьи самого Достоевского «Опять «Молодое перо» (1863) по отношению к редактору «Московских ведомостей» Н.М. Каткову.

Достоевский и в других эпизодах романа иногда цитирует свои высказывания относительно периодической печати, сделанные им в различных литературно-публицистических статьях. Есть цитата из собственного пародийного стихотворения. Степан Трофимович, рассказывая о том, как они с Варварой Петровной ехали в Москву, признается: «Мы выехали как одурелые... я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

«Век и век и Лев Камбек,
Лев Камбек и век и век...» [X, 24]

Герой цитирует начальные строки пародийного стихотворения Достоевского, в котором высмеиваются популярные мотивы сатирической журналистики 1860-х годов:

Век и век и Лев Камбек,
Лев Камбек и век и век.
На пистончике лорнет
Страхов, жители планет...[XII, 285]

«Век» – петербургский еженедельник. Лев Камбек – журналист, издатель «Семейного круга» (1859–1860). «Жители планет» – название нашумевшей статьи Н.Н. Страхова, которая вызвала самые иронические отклики в журналах «Время», «Современник» и других.

Довольно детальное описание «литературной кадрили» дает представление о том, какой виделась жизнь столичной печати человеку, живущему в провинции. Другое дело, что у самого хроникера, как было отмечено выше, такое аллегорическое изображение не вызывает

никаких симпатий, он сознается, что от вида «этих тупеньких выдумок» ему «стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатление как бы стыда отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физиономиях». [X, 390]

Роман «Бесы» дает возможность увидеть, какую роль в жизни героев играет периодическая печать, какое отношение к ней сформировалось у провинциальной читательской публики, и самое главное — в нем просматривается понимание и отношение к этой печати самого писателя.

Таким, по нашим наблюдениям, предстает концепт средства массовой информации в нескольких романах Ф.М. Достоевского, дающих вполне законченное и цельное представление о нем, как о важном элементе повествования.

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

1823–1886

Уже в первой законченной пьесе «Семейная картина» (1847) А.Н. Островский, выводя на сцену плутовство русского купечества, обращается к тому, как в его среде может быть использовано газетное слово для решения своих корыстных целей. Купец Ширялов намерен использовать это слово для решения своих проблем с сыном: «Нет, а уж я думаю, сударь ты мой, *его в газете опубликовать*. Вот, дескать, сыну моему от меня никакого доверия нет, долгов за него не плачу и впредь не намерен. Да и подпишу: мануфактур-советник и временно московский 1-й гильдии купец Парамон Ферапонтов сын Ширялов».¹

Глубокий и своеобразный взгляд А.Н. Островского на драматизм русской жизни проявился уже в первой его крупной комедии «**Свои люди — сочтемся!**» (1850). Комедия обращена к обличению одного из наиболее косных и развращенных классов русского общества, она открыла для российского читателя и зрителя (пьеса была поставлена в 1861 году) одно из примечательных явлений современной действительности — самодурство. Это открытие у Островского наполнено социальным, политическим, а главное — психологическим содержанием. Не меньший интерес в пьесе представляет и то, что в ней выведены герои в самобытности русского характера, в своей национальной типичности.

Действие комедии разворачивается в однородной социальной среде, что заявлено уже в названии пьесы, однако семейные отношения, в которых важной составляющей являются материальные, имущественные интересы, оказываются связаны с целым комплексом важнейших социальных вопросов. Купеческое сословие предстает в пьесе Островского как явление консервативное, ревностно относящееся

¹ Островский А.Н. Семейная картина // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 5537 (vgi. Библиотека русской классики, S. 25).

к сохранению традиций и обычаев, самобытного жизненного уклада. Особое место в этом жизненном укладе, по наблюдениям драматурга, со временем заняла периодическая печать.

Самсон Силыч Большов уверен в том, что все «кругом мошенники», а слава как о мошенниках лежит не только на купцах, несмотря на то, что газета, которую принес ему Подхалюзин, дает много доказательств мошенничества именно купцов. Из газеты купец узнает не радующие его и довольно однотипные новости: «Такого-то года, сентября такого-то дня, по определению Коммерческого суда, первой гильдии купец Федот Селиверстов Плешков объявлен несостоятельным должником; вследствие чего...» Что тут толковать! Известно, что вследствие бывает. Вот-те и Федот Селиверстыч! Каков был туз, а в трубу вылетел», — читает Большов и сразу же интересуется у Подхалюзина: «А что, Лазарь, не должен ли он нам?»¹ Объявление в газете, таким образом, становится поводом для волнения купца в связи с возможностью материального ущерба для своего дела.

Следующее объявление, найденное купцом в газете, такого же характера: «Московский первой гильдии купец Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником». Это объявление вызывает у него вопрос: «За этим ничего нет?» [I. 50] И снова газетная информация становится поводом для волнения в связи с возможностью материального ущерба.

Далее находится и третий: «Московский второй гильдии купец Ефрем Лукин Полуаршинников объявлен несостоятельным должником». [I. 50] Есть и четвертый. Первый из объявленных несостоятельным должником оказался должен Большову «пудов никак тридцать, не то сорок» сахару, второй — «бочонка с три-с» постного масла, на третьего есть вексель, однако он скрывается. Остается неясным, должен ли что-либо четвертый из объявленных несостоятельными купцов, ибо нервы Большова не выдерживают такого чтения: «Да тут всех не перечтешь до завтрашнего числа, — возмущается он. — Возьми прочь!» Принимая от Самсона Силыча газету, Подхалюзин замечает: «Газету только пакосят. На все купечество мораль этакая». [I. 51]

В этой реплике Подхалюзина проявляется понимание концепта газета как чего-то *важного* и *ценного*, если не сказать больше, как чего-то, что не позволительно «пакостить» сообщениями о несостоя-

¹ Островский А.Н. Свои люди — сочтемся // Островский А.Н. Соч. В 3-х т. М., Худож. лит., 1987. Т. 1. С. 50. Далее произведения А.Н. Островского цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте, кроме специально оговоренных случаев.

тельных, нечестных и скрывающихся купцах. С другой стороны, такая информация возводит «на все купечество» нехорошую мораль.

Примечательно, что в газете Большов не стал читать ничего, кроме объявлений, словно бы ничего другого в ней и не было, его интерес к газетной информации строго избирателен. Да и к самим объявлениям его интерес также избирателен, купец не сразу дошел до тех объявлений, которые его заинтересовали, сначала он буквально пробежал другие: «Объявления казенные и разных обществ: один, два, три, четыре, пять и шесть, от Воспитательного дома». Это не по нашей части, нам крестьян не покупать. «Семь и восемь от Московского новерситета, от Губернских правлений, от Приказов общественного призрения». Ну, и это мимо. «От Городской шестигласной думы». А ну-тко-сь, нет ли чего! (*Читает.*) «От Московской городской шестигласной думы сим объявляется: не пожелают ли кто взять в содержание нижеозначенные оброчные статьи». Не наше дело: залоги надоть представлять. «Контора Вдовьего дома сим приглашает...» Пускай приглашает, а мы не пойдем. «От Сиротского суда». У самих ни отца, ни матери <...>» [I. 50]

В том, как знатный купец реагирует на объявления от Московского университета, Воспитательного, Вдовьего дома и Сиротского суда, проявляется вполне определенная сословная мораль приобретателя, которого интересует только собственный материальный интерес. С другой стороны, его чтение дает вполне определенное представление о том, какого рода объявления печатались в современной событиям прессе. Речь идет о газете «Московские ведомости».

Газетные публикации в пьесе Островского могут выступать в качестве предмета разговора. Так на предложение Большова побеседовать «маненько» Устинья Наумовна отвечает: «Отчего ж и не побеседовать! Вот, золотые мои, слышала я, будто *в газете напечатано*, правда ли, нет ли, что другой Бонапарт родился, и будто бы, золотые мои...» [I. 75]

Понятно, что какая-то газетная информация дошла до героини в искаженном виде: сама она газету не читала, а только слышала о том, что в ней напечатано. Предлагаемый предмет разговора Большову, который, как мы помним, газеты читает, не интересен, а потому и смысла он в нем не видит: «Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на милосердие Божие; да и не об том теперь речь». [I. 75] Благодаря этому небольшому диалогу, возникает ощущение, что газеты заняты какими-то, не представляющими особой важности проблемами, не касаются того, что является основой и содержанием жизни персонажей.

В отличие от героя пьесы «Свои люди — сочтемся», который выражает недовольство тем, что рассказами о неблагоприятном поведении «газету только пакостят», персонаж пьесы «Волки и овцы» (1875) Беркутов считает такие публикации полезными, информирующими, прежде всего, самих купцов об опасностях их коммерческой деятельности: «Я думаю, вам случалось *читать в газетах*, что в последнее время много стало открываться растрат, фальшивых векселей и других бумаг, подлогов и вообще всякого рода хищничества. Ну, а по всем этим операциям находятся и виновные <...>» [III, 187]

В купеческой среде газеты постоянно выступают и в качестве средства политического просвещения, формирования представлений о жизни и нравах других народов. К примеру, в пьесе «Тяжелые дни» (1863) один из персонажей, желая наиболее выразительно представить поведение своего отца, сообщает: «Теперича *в газетах про черкесов пишут*, что они злые хищники и бунтовщики; так поверьте душе моей, что ни одному черкесу того не сделать, что тятенька могут».¹

События войны на Кавказе, освещаемые периодической печатью, создали в сознании большинства россиян, которые сами не были участниками боевых действий, образ черкесов как злых хищников и бунтовщиков. Основываясь на газетных рассказах о поведении последних и зная о том, что представления окружающих о черкесах сформированы тоже газетными публикациями, герой пытается убедить окружающих в том, что его родной отец способен на такое зло, что «ни одному черкесу того не сделать».

В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) гусар Егор Курчаев приводит к главному герою Егору Глумову своего приятеля Голутвина, который представлен драматургом как «человек, не имеющий занятий». В ходе разговора выясняется, что последний писал «романы, повести, драмы, комедии», но его «не печатают нигде, ни за что», даже «и даром не хотят». По словам Курчаева, «вот он и хочет сотрудином быть в *юмористических газетах*». Сам же Голутвин при этом добавляет: «Хочу за скандалчики приняться». [II, 63]

И концепт газета, таким образом, с самых первых событий пьесы (разговор между персонажами происходит во втором явлении первого действия) наполняется содержанием *скандальности*, хотя Глумов уверен

¹ Островский А.Н. Тяжелые дни // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Пабблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 6810 (vgl. Библиотека русской классики, S. 1).

в том, что «опять не напечатают». И все-таки газета, пусть и юмористическая, выступает местом приложения творческих сил человека, желающего заниматься скандалами. В будущем так оно и происходит, когда газета, вовсе даже не юмористическая, используется в качестве средства разоблачения того самого Егора Глумова, молодого скептика и острого наблюдателя, скатившегося к цинизму (*М.Е. Салтыков-Щедрин*). С этой целью важному господину Крутицкому, который считает, что Глумов «может далеко пойти», были посланы газетный лист со статьей, изобличающей молодого человека и выкраденный у него дневник. В этом дневнике есть не только справки о расходах, но и острые, нелицеприятные характеристики окружающих, в том числе и самого Крутицкого.

Герои, в руках которых оказались эти два документа, сначала обращаются к статье под названием «Как выходят в люди», снабженную портретом с подписью: «Муж, каких мало». По мнению богатой вдовы Турусиной, статья — «это какая-нибудь гнусная интрига, у него должно быть много врагов». А знакомство Клеопатры Львовны Мамаевой с этой статьей привело ее к мысли о том, что «тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитрича: тут все малейшие подробности его жизни, если это только не выдумки». [II, 123] Реплика первой героини свидетельствует о том, что в представлении части читающей публики газета способна выступать в качестве *средства, орудия интриги*. Реплика второй героини характеризует газету как *возможный источник выдумок*.

Нил Федосеевич Мамаев замечает, что к статье и к дневнику есть пояснение: «В доказательство того, что все в статье справедливо, прилагается сей дневник». После такого уточнения герой спрашивает: «Что нам читать — статью или дневник?» И получает вполне определенный ответ Крутицкого: «Лучше уж оригинал». [II, 123] Есть, видимо, своя логика в том, что присутствующие отдают предпочтение дневнику, то есть «оригиналу», тем самым, определяя газетную публикацию как явление уже не оригинальное и вторичное по отношению к дневнику Глумова.

Некоторые герои Островского постоянно читают газеты, чаще всего при этом не сообщается о том, какая именно информация их интересует, отсутствуют и указания на ту реакцию, которую вызывает у персонажей прочитанное, хотя иногда такая реакция все-таки присутствует. Герой пьесы «Доходное место» (1857) Василий Жадов на предложение выпить заявляет: «Что вы мне не дадите почитать! *Интересная статья* попалась, а вы все мешаете». Зато буквально через

несколько минут другой герой Аким Юсов, прочитав газету, бросает ее и заявляет: «Что нынче пишут! Ничего нравоучительного нет!» [I, 311–312]

Нет смысла анализировать эти две разные реакции на газету, когда в пьесе нет указаний на то, что именно читали разные персонажи. Важнее то, как по-разному современники воспринимали периодическую печать.

В пьесе «Бесприданница» (1879) только один герой, Мокий Парменыч Кнуров, постоянно занят чтением газеты. Авторские ремарки сообщают о том, что «вынимает из кармана французскую газету и читает», «вынимает газету», «закрывается газетой», «погружается в чтение газеты», просто «читает газету», однако никакой другой информации о том, что он читал, а тем более об отношении героя к прочитанному в пьесе нет. Возникает впечатление, что ничего интересного для окружающих, чем можно было бы с ними поделиться, газеты не печатают. А для самого Кнурова чтение — это некое ритуальное действие, которое никак не меняет его представлений и отношений с окружающим миром, по крайней мере, в тексте пьесы свидетельств таких изменений нет.

В пьесе «Старый друг лучше новых двух» (1860) концепт газета использован в качестве *средства характеристики персонажа*. На сообщение о том, что к ним идет Пульхерия Андревна Гушина, хозяйка дома дает ей такую характеристику: «Это наш телеграф; нам *газет* не нужно получать. А ведь и достается ей, бедной, за сплетни; ну, да благо невзыскательна; поругают, прогонят, она опять придет, как ни в чем не бывало. Уж я сколько раз гоняла, а вот все идет».¹ Приведенные слова интересны тем, что в них — характеристика не только героини, но и самих газет. Как источник информации они, во-первых, приравнены к телеграфу, а во-вторых, они выступают таким же *источником сплетен*, как Пульхерия Андреевна.

В комедии «Последняя жертва» (1878) о герое по имени Лавр Мироныч сначала сообщается, что он «жизнь неосновательную ведет», а при первом появлении его самого он извещает о том, что «из городу домой заехал, пробежал газеты, захватил Ирень и к вам. Биржевую хронику изволили смотреть-с?» На что получает ответ Флора Федулыча Прибыткова: «Все то же, перемены нет-с».

¹ Островский А.Н. Старый друг лучше новых двух // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Пабблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 6250 (vgl. Библиотека русской классики, S. 272).

В данном контексте газета выступает как источник информации о положении дел на бирже, и герой оказывается не единственным из присутствующих, кто обращается в связи с этим к газетам. Интерес героя к прессе не ограничивается только биржевыми сводками, и с мнением Прибыткова он не согласен, однако разговор в связи с газетами уходит в другую сторону:

Лавр Мироныч. Немножко потверже стало. Из политических новостей только одна: здоровье папы внушает опасения.

Глафира Фирсовна. Кому же это? Уж не тебе ли?

Лавр Мироныч. В Европе живем, Глафира Фирсовна.

Глафира Фирсовна. Да Бог с ним, нам-то что за дело! Жив ли он, нет ли, авось за Москвой-то рекой ничего особенного от того не случится.

Лавр Мироныч. У нас дела не за одной Москвой-рекой, а и за Рейном, и за Темзой.¹

Возникает ощущение, что человеком, ведущим «несостоятельную жизнь», в купеческой среде почитается тот, кого интересуют не только биржевые сводки, кого волнует происходящее не только «за Москвой-рекой», «а и за Рейном, и за Темзой». Таким образом, газета становится возможностью показать ограниченность интересов купечества, замкнувшегося в своих коммерческих и семейно-бытовых проблемах, что и подтверждается дальнейшим развитием действия.

В первом явлении третьего действия пьесы есть примечательный диалог между Иногородным, который представлен как «купец средней руки», у которого «костюм и манеры провинциальные», и Наблюдателем, «шершавым господином», с умным лицом, оригиналом, «но с достоинством»:

Иногородный. Что за складчина-с! Раскутиться не раскучусь, а и платить вам не позволю, за стыд себе поставлю. (Обращаясь к наблюдателю). Не угодно ли за компанию?

Наблюдатель. Я не пью.

Иногородный. Может, в карты любите?

Наблюдатель. И в карты не люблю.

Иногородный. Так ведь это одурь возьмет так-то сидеть.

Наблюдатель. На людей смотрю.

Иногородный. На нас, провинциалов, а после нас в газете опубликуете?

¹ Островский А.Н. Последняя жертва // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 5118 (vgl. Библиотека русской классики, S. 1).

Наблюдатель. Бог миловал, я этим не занимаюсь.

Иногородный. Все-таки с вами опасно. (Москвичу.) Побежимте поскорей от греха в буфет-с.¹

По мнению Иногородного, наблюдающий за людьми человек должен быть непременно связан с прессой, его наблюдения имеют целью в последующем «нас в газете опубликовать». И самое главное — ничего хорошего от такой публикации он не ждет, поэтому и уходит с Москвичом в буфет, «от греха». Кстати сказать, и сам Наблюдатель не высокого мнения о наблюдающих газетчиках, его от такого занятия «Бог миловал».

Чуть позже в разговоре, в котором участвует еще и Разносчик вестей, охарактеризованный как «бойкий господин, имеющий вид чего-то полинявшего; глаза бегают, и весь постоянно в движении», Наблюдатель делится с окружающими таким своим наблюдением:

Наблюдатель. А теперь, где кутят, там по большей части дело не совсем чисто; а иногда и прокурорский надзор, того гляди, себе занятие найдет.

Разносчик вестей. Да ведь такую компанию сразу заметишь.

Наблюдатель. Не заметите, мы плохие физиономисты. *Читают в газетах:* такой-то уличен в подделке векселей, такой-то скрылся, а в кассе недочету тысяч двести; такой-то застрелился... Кто прежде всего удивляется? Знакомые, помилуйте, говорят, я вчера с ним, ужинал, а я играл в преферанс по две копейки. А я ездил с ним за город, и ничего не было заметно. Нет, пока физиономика не сделалась точной наукой, от таких компаний лучше подальше.²

На первый взгляд, речь идет о науке «физиономике», однако в данном контексте газеты выступают в качестве *оппозиции реальной жизни*, ведь читающие их отказываются верить тому, что в них написано о знакомых людях, когда «такой-то уличен в подделке векселей, такой-то скрылся, а в кассе недочету тысяч двести; такой-то застрелился». Газеты оказываются источником информации о другой, скрытой жизни тех, с кем читающий еще вчера ужинал или «играл в преферанс по две копейки», ездил за город и т.п.

¹ Островский А.Н. Последняя жертва // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 5145 (vgl. Библиотека русской классики, S. 1).

² Там же. S. 5169 (vgl. Библиотека русской классики, S. 1). 5139

В «Последней жертве» упоминается и журнал. В разговоре Флора Федулыча с внучкой Ириной выясняется, что ему известны не только газеты с биржевыми сводками, но и журналы мод. Обсуждая выбор внучкой жениха, Флор Федулыч замечает, что «для таких кавалеров – первое дело: нужно одеваться по самой последней моде, чтоб *против журнала* никакой отлички не было...»¹

Выходит, что герою известно и содержание модных журналов, и то, что какая-то часть молодых людей стремится к тому, чтобы и сами они, и их избранницы (избранники) соответствовали модным веяниям, чтобы «никакой отлички не было».

Герой пьесы «Праздничный сон – до обеда» (1857) Бальзаминов, как и Лавр Мироныч из «Доходного места», читает газеты, узнает из них о международных событиях. В пьесе есть такой разговор:

Ничкина. Вы читаете газеты?

Бальзаминов. Читаю-с.

Бальзаминова. Он мне *всякие новости* рассказывает.

Ничкина. А мы не читаем... ничего не знаем... что там делается. Вот я у вас хотела спросить, не читали ли вы чего про Наполеона? Говорят, опять на Москву идти хочет.

Бальзаминов. Где же ему теперь-с! Он еще внове, не успел еще у себя устроиться. Пишут, что все дворцы да комнаты отделявает.

Ничкина. А как отделает, так, чай, пойдет на Москву-то с двенадцать языков?

Бальзаминов. Не знаю-с. В *газетах как-то глухо про это пишут-с*. [I, 419]

Для купчихи Ничкиной читающий газеты выглядит как человек, знающий ответы на многие волнующие ее вопросы. Другое дело, что чтение газет не особо просветило самого Бальзаминова. Если судить по его признанию, то он не очень понимает, о ком идет речь в газетах и что имеется ввиду, когда рассказывается о жизни французского императора. Он так же, как и Ничкина, путает Наполеона I с его племянником Наполеоном III. Дальнейший разговор, в котором Ничкина продолжает задавать герою вопросы как человеку, читающему газеты, только подтверждает мысль о том, что чтение газет не оказывает какого-либо заметного влияния на уровень просвещенности Бальзаминова, чиновника 14 класса:

¹ Там же. S. 5139 (vgl. Библиотека русской классики, S. 1).

Ничкина. Да вот еще, скажите вы мне: говорят, царь Фараон стал по ночам с войском из моря выходить.

Бальзаминов. Очень может быть-с.

Ничкина. А где это море?

Бальзаминов. Должно быть, недалеко от Палестины.

Ничкина. А большая Палестина?

Бальзаминов. Большая-с.

Ничкина. Далеко от Царьграда?

Бальзаминов. Не очень далеко-с.

Ничкина. Должно быть, шестьдесят верст... Ото всех от таких мест шестьдесят верст, говорят... только Киев дальше. [I, 419]

В пьесе «Счастливый день» (1877), воспроизводящей «сцены из жизни уездного захолустья», уже в представлении действующих лиц сообщается о том, что почтмейстер уездного города Иван Захарыч Сандырев, «занимается более *чтением газет*, чем службой». А в первом явлении первого действия есть тому подтверждение. Авторская ремарка сообщает, что «Сандырев, один, в старом халате, с длинным чубуком, сидит на диване, облокотясь на стол; на столе перед ним *газета* и географическая карта». Герой «шарит пальцем по карте» и рассуждает: «Малый Зворник, Малый Зворник... Как это затруднительно однако: и *депеш* читай, и на карту смотри: Малый Зворник... вот сейчас его под пальцем держал, провалился куда-то. Нет, вперед надо булавочками замечать: попрошу у жены булавочек. Вот оно что значит недостаток географических сведений! Вчера вдруг читаю телеграмму из Питсбурга, а где этот Питсбург, в каком государстве, в какой стране света? Вот тут и занимайся политикой! Малый Зворник, Малый Зворник».¹

Газеты не только удовлетворяют стремление героя быть в курсе последних политических событий (упоминание города Малый Зворник свидетельствует о том, что идет русско-турецкая война на Балканах 1876–1877 гг.), но выступают в качестве побудительного мотива к восполнению недостатка «географических сведений». Однако постоянное чтение газет вызывает недовольство супруги почтмейстера, которая считает, что такое увлечение затмевает все остальные интересы ее супруга. Увидев, что он в очередной раз углубляется в газету, она с не-

¹ Островский А.Н. Счастливый день // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 6330 (vgl. Библиотека русской классики, S. 111–112).

годованием заявляет: «Что ж это? Опять за *газеты*? Ну, так слушайте! Я брошу вас и убегу, куда глаза глядят; живите как знаете! Да скажите ж вы мне на милость, думаете вы хоть сколько-нибудь о доме-то, о семье-то?» И получает вполне откровенный и честный ответ: «Нет, матушка, ничего не думаю. Мы — черви, и жизнь наша — ничтожество, так и думать не стоит. (*Указывая на газету.*) Вот тут судьбы человечества, исторические задачи». ¹

В сознании этого героя концепт газета выступает в качестве *оппозиции повседневной человеческой жизни* с ее заботами о доме, о семье. Такая жизнь представляется герою мелкой и незначительной по сравнению с тем, как в газетах представлены «судьбы человечества, исторические задачи». Супруга Сандырева принципиально иначе относится к тому, что предлагают своему читателя газеты: «Да ведь не нам они задаются, эти задачи, так не нам их и решать. Наша задача — как бы не умереть с голоду. Вы только посудите, что у нас на руках: Настя и Липочка — невесты без женихов. Нивин таскался прежде, посматривал будто на Липочку, да теперь с ума сошел: какую-то диссертацию вздумал писать; два месяца и глаз не кажет. Я уж на штуку пошла: сегодня посылала за ним, велела сказать, что-де Липа больна <...>» ²

В представлении Сандыревой, газеты уводят человека от реальной жизни, делают его никчемным в решении насущных бытовых и семейных проблем. Сандырев в качестве личного успеха преподносит то, что нашел на карте Малый Зворник: «Целое утро я искал Малый Зворник... нашел...» Для его супруги данный факт является лишним доказательством его никчемности и бесполезности: «Старый башмак! — говорит она. — Что б этот человек был без меня? И все-то, все должна нести на своих плечах слабая женщина». ³

Отношения супругов на протяжении всей пьесы строятся на таком противопоставлении погруженности одного из них в то, о чем пишут газеты, и заботами другой об устройстве дел в своей собственной семье. К примеру, явление пятое третьего действия начинается с примечательного диалога:

Сандырева. Оставьте *вашу газету*, оставьте вашу Европу! Что у нас-то совершается!

¹ Там же. S. 6334 (vgl. Библиотека русской классики, S. 114).

² Там же. S. 6335 (vgl. Библиотека русской классики, S. 114).

³ Там же. S. 6337 (vgl. Библиотека русской классики, S. 115).

Сандырев. Ну, что такое? Ну, что такое?

Сандырева. Эх, ты — премудрость! Ну, угадай что.

Сандырев. Пожар, что ли? Землетрясение?

Сандырева. Вашей дочери Насте делают предложение...

Сандырев. Предложение, да какое же? <...>¹

Благодаря супругу в сознании героини то, о чем пишут газеты, ассоциируется с Европой и процессами в ней совершающимися, а сам Сандырев благодаря газетам настолько погружен если не в исторические, то, как минимум, в значительные события и происшествия, что «совершающееся» для него связано, в первую очередь, с пожарами и землетрясениями. Именно поэтому до него не сразу доходит смысл того, что это значит, если его дочери «делают предложение». Возможно, еще и потому, что, получая от супруги эту весть, он «смотрит в газету». Последняя его настолько заинтересовала, что в первый момент герой не догадался даже поинтересоваться тем, кто же делает предложение его дочери. Супруга считает, что чтение газет делает Сандырева человеком, живущим словно бы во сне: «Да вы проснитесь! — восклицает она в этой сцене. — Он уж не помнит, что у нас было сегодня».²

Доходит до того, что супруга в одной из сцен «вырывает газету» из рук Сандырева прежде, чем отправить его на встречу с женихом невесты.

В конце пьесы, когда стало уже ясно, что день выдался счастливый, потому что обеим дочерям найдены женихи, и семью ожидают сразу две свадьбы, супруга в укор Сандыреву замечает: «А ты все с Европой». Ее поддерживает и Нивин: «Зачем вам новости из Европы, когда у вас дома такие внутренние известия!»³

Однако «внутренние известия» по-прежнему мало волнуют нашего героя: «Веселитесь, дети, веселитесь!» — говорит он и «берет со стола газету». В этом аспекте весьма выразителен финал пьесы:

Сандырева (мужу). Целуйте ручку, благодарите жену!

Сандырев (целует). Благодарю, благодарю. Господа, это не жена, это — сокровище; особенно в нынешнее-то время. *(Тычет пальцем в газету.)*

Сандырева. А! Поняли наконец?

¹ Там же. S. 6382 (vgl. Библиотека русской классики, S. 139).

² Там же. S. 6383 (vgl. Библиотека русской классики, S. 139).

³ Там же. S. 6393 (vgl. Библиотека русской классики, S. 144).

Сандырев. Понял, матушка, понял. Как хорошо, покойно мужу-то! Ни об чем не тужи! Как ему свободно заниматься политикой-то! (*Раскрывает газету и идет в дверь направо.*)¹

Для Сандырева хорошая жена — это та, которая все в доме взяла на себя, а потому позволяет мужу «свободно заниматься политикой», то есть читать газеты. И его представления о «нынешнем времени» сформированы исключительно газетными публикациями. Не случайно, вспоминая об этом времени, он «тычет пальцем в газету».

Ироничное отношение к самим газетам по-настоящему проявляется у Островского только один раз в незаконченной пьесе «**Иван Царевич**». Сказочный характер этой пьесы (в ее основе — сюжеты русских народных сказок) не мешает «премудрому царю Аггею» сообщить своим подданным: «Недавно я прочел *в одной не заслуживающей никакого вероятия газете* совершенно невероятное известие: царевна Милолика, знаменитая своими несравненными прелестями и приятностью разговора, похищена Кашеем Бессмертным из корыстных видов. Это ужасно!»²

Известие, полученное из газеты, пробуждает в царе желание, чтобы кто-нибудь из его витязей освободил Милолику от Кашея и доставил ее к нему.

Из газеты царь узнал и о другом событии: «Читал я еще *в той же газете известие* о Жар-птице и златогривом коне; но так как эти предметы не представляют ничего важного в политическом отношении, то если их достанут, — хорошо, а не достанут, — так и не надо: мне нужна царевна Милолика».³

В сказочном пространстве драматургического действия пьесы Островского газета выступает как вполне органичное явление, как источник сведений, заслуживающий доверия, даже если эти сведения приносит газета, не заслуживающая «никакого вероятия»,

В таких аспектах и проявлениях присутствует концепт средства массовой информации в драматургии А.Н. Островского.

¹ Там же. S. 6394 (vgl. Библиотека русской классики, S. 144–145).

² Островский А.Н. Иван Царевич // Полн. собр. соч. // Библиотека русской классики. Вып. 4: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет [Электронный ресурс]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). S. 3099 (vgl. Библиотека русской классики, S. 93).

³ Там же. S. 3100 (vgl. Библиотека русской классики, S. 93).

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

1828–1910

Средства массовой информации в творчестве Льва Толстого выполняют пусть и не ведущую, но существенную роль в характеристике и окружающего мира, и человека в этом мире.

В «Севастопольских рассказах» отмечаются единичные упоминания прессы, которая представлена только газетой. Однако каждое появление газеты в тексте имеет принципиально важное значение для смыслового ядра повествования. В рассказе «Севастополь в мае» (1855) один из героев, пехотный офицер Михайлов, идя по городу, думает о только что полученной весточке, вспоминая «одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то *Пупка*¹ (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на эс в беседку, в гостиную (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов, — говорит она, — так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу, — он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе».²

«Инвалид» — так в разговорной речи кратко называли «Русский инвалид» — официальную газету, в которой печатались военные сообщения.

Само упоминание газеты есть свидетельство того, как в провинции относятся к прессе, которая является единственным источником достоверной информации о том, как идет война. Любое газетное сообщение знакомыми воюющего офицера воспринимается как информация лично о нем, о его подвигах. Героиня, упоминаемая в письме,

¹ Курсив в процитированном отрывке Л.Н. Толстого — С.А., С.В.

² Толстой Л.Н. Севастополь в мае // Толстой Л.Н. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 2. М., Худож. лит., 1973. С. 103. Далее произведения Л.Н. Толстого цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

«читает ваши геройские подвиги», и совсем не обязательно, чтобы газета писала о подвигах именно офицера Михайлова, тем более что про него еще только когда-то в будущем «в газетах напишут».

Офицер вспоминает и другой эпизод письма, в котором его адресант сетует на то, что к ним в провинцию «газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить». [II, 103] Среди этих «изустных новостей» он перечисляет некоторые, явно недостоверные, а то и нелепые. В глазах читающих газеты эти новости проигрывают газетным сообщениям. Значит, даже провинциальные жители благодаря прессе научились отличать достоверные сведения от слухов и сплетен, научились отличать правду от вымысла. Такое замечание тем более важно, потому что автор принципиально настаивает: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». [II, 143] А пресса в рассказе выступает одним из проводников, источников правды о воюющем человеке.

В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» (1856) есть офицер, «он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолубием и еще более — патриотизмом». [II, 153]

Концепт газета, наряду с частными письмами, выступает в данном случае в качестве причины, по которой в герое проснулось честолубие и чувство патриотизма: «Он пожертвовал этому чувству весьма многим — и обжитым местом, и квартиркой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, — он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах». [II, 153] Это может быть свидетельством того, что уже к середине 50-х годов XIX века российская пресса обладала возможностями так писать о происходящих событиях, чтобы не только информировать об их сущности, но и пробуждать желание непосредственно участвовать в этих событиях, жертвовать во имя Отечества собственным благополучием.

Другое дело, что в данном конкретном случае увлеченность газетными сообщениями имела и другой результат. Получая информацию о войне из прессы и частных писем, офицер, еще только двигаясь по направлению к ней, стал «жесточайшим трусом». Он не сразу попал «прямо на бастионы», и то, что видел и слышал в тылу, сделало его трусом, поэтому воскресить его энтузиазм было трудно.

В романе «**Анна Каренина**» (1875–1877) средства массовой информации, и в первую очередь газеты, для многих героев являются ежедневной потребностью. Степан Аркадьевич Облонский, к примеру, независимо оттого, что происходит в его доме, а это самое начало романа, когда, как известно, «все смешалось в доме Облонских», начинает день с того, что читает письма, просматривает бумаги из присутствия и обязательно читает «еще сырую утреннюю газету». Но для Толстого такая деталь выходит за рамки рассказа о распорядке дня, она дает писателю возможность расширить характеристику героя, о котором у читателя уже стало складываться определенное мнение: «Степан Аркадьич получал и читал *либеральную газету*, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и *его газета*, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись». [VIII, 13]

Газетные предпочтения героя позволяют отметить и его приверженность определенным политическим взглядам, и определить его место в русском обществе среди большинства. Стива Облонский предстает и в качестве человека, не склонного менять свои взгляды и симпатии. Газета выступает в качестве того, что предлагает определенное направление, какие-то сложившиеся взгляды, а герою остается только ими воспользоваться: «Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу». [VIII, 13]

Либеральное направление, представляемое газетой, было наиболее близким его образу жизни. Либеральная партия уверяла, что в России жить скверно, а у него и в самом деле постоянно не хватало денег. По утверждению той же либеральной партии, «брак есть отжившее учреждение», но ведь и герою «семейная жизнь доставляла мало удовольствия», отчего он вынужден постоянно лгать и притворяться. Идеология либерального направления считала, что «религия есть только узда для варварской части населения». Стива Облонский это хорошо понимал, так как «не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна

и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело».

Герой любил свою газету, в том числе и за то, что она в достаточной степени представляла либеральное направление. Это направление, по замечанию автора, как и газета, «сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, *за легкий туман*, который она производила в его голове». [VIII, 13–14]

Не без иронии, но в этом замечании Лев Толстой говорит о том эффекте («легкий туман... в голове»), который могут производить газеты в головах определенной категории своих читателей. Этот эффект для писателя сравним с наркотическим воздействием.

Писатель не склонен ставить знак равенства между либеральностью газет и той, которая может быть у человека буквально «в крови». Рассказывая о том, что Степан Аркадьич пользовался любовью и уважением сослуживцев по присутственному месту, писатель замечает, что одна из причин этому состояла «в совершенной либеральности, не той, про которую он *вычитал в газетах*, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были». [VIII, 22]

Такое замечание, если и не *противопоставляет* либеральность прессы и либерализм героя, то, как минимум, *возвышает* последнего над тем большинством, которому он принадлежит.

Утро, с которого начинается повествование в романе «Анна Каренина», Степан Аркадьич начинал традиционно со своей газетой, а писатель, пусть и обзорно, рассказывает о том, чем была занята либеральная пресса в этот, во многом примечательный для героев романа день: «<...> Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие... Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о

продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого, иронического удовольствия». [VIII, 14]

Главное, конечно, в том, что семейные проблемы не дают герою в полной мере ощутить удовольствие от чтения любимой газеты, однако и тематика одного газетного номера дает вполне содержательное представление о либеральной печати. Возможность «спокойно читать газету» наряду с возможностью пить кофе по утрам является для героя свидетельством мира и гармонии в семье, которых он был лишен в описываемое утро.

По мнению исследователей творчества Льва Толстого (Э.Г. Бабаев), Облонский читал газету А.А. Краевского «Голос» (1863–1883), представлявшую либеральное чиновничество России и считавшуюся «барометром общественного мнения». Мысль об «упорстве традиционности, тормозящей прогресс» высказывалась в газете неоднократно, в частности, в номере от 21 января 1873 года. В этом же номере писалось о «пугливых охранителях», которым всюду «мерещится «красный призрак»... или гидра об 18 тысячах головах». Возможно, что Лев Толстой в данной сцене дал описание именно этого номера.

В газете, которую читает Стива Облонский, упоминается граф Бейст — Фридрих Фердинанд фон Бейст (1809–1886) — канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Имя этого политического деятеля постоянно упоминается в периодической печати начала 1870-х годов.

Периодическая печать выступает в качестве составляющей жизненного распорядка и потребности не только у человека, живущего в столице. Приехавший в деревню к Константину Левину Сергей Иванович Кознышев в обязательном порядке просматривает «полученные с почты газеты и журналы». [VIII, 275] Другое дело, что живущий в деревне делает это не утром, перед отъездом в присутственное место, как, к примеру, тот же Стива Облонский, а в послеобеденное время.

О том, что газета является и для деревенского жителя обязательным элементом его жизненного уклада, свидетельствует и такая, на первый взгляд, малозначительная деталь. Описывая происходящее в дачном доме, который собирается покинуть Анна Аркадьевна, писатель замечает: «По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты; два раза бегали в лавочку за бечевками; по полу валялась *газетная бумага* <...>» [VIII, 313] Эта деталь является показателем того, что газеты и в

условиях деревни появлялись в жизни человека не от случая к случаю, а систематически, что приводило к их накоплению даже в условиях дачной жизни.

Журнал в романе Толстого выступает почти исключительно в качестве *источника научной информации*. Приехавший из деревни Константин Левин в доме своего брата становится свидетелем разъяснения недоразумения по одному из философских вопросов между братом и профессором философии, приехавшим из Харькова. Герой был в курсе сущности вопроса и объясняется это просто: «Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику по университету, основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум». [VIII, 14]

В связи с этим героем концепт периодическая печать в романе наполняется и другим принципиально важным содержанием. Она *отражает настроения обеспокоенности* за судьбу русского народа, в первую очередь крестьянства, после реформы 1861 года. Брат Николай в разговоре с Константином Левиным упрекает его и Сергея Ивановича Кознышева в том, что они оба не желают, чтобы крестьян вывели из рабства. Доказательством тому для него служит статья Сергея Ивановича. Николай Левин считает, что эта статья есть свидетельство их «аристократических воззрений» на существующее социальное зло. Самой статьи в тексте романа нет даже в кратком изложении, но зато есть оценка, которую дает ей Николай Левин: «<...> Это такой вздор, такое вранье, такое самообманыванье. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает?...

<...> Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я, другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо». [VIII, 99]

По всей вероятности, спор между братьями не представляется автору принципиальным, тем более что одной из его причин названа раздражительность Николая, вызванная его нездоровьем. Сама статья, данная только в одной, и при том отрицательной оценке, также не представляется писателю достойной внимания.

Газета в романе «Анна Каренина» может выступать в качестве элемента *самопрезентации персонажей*. Так в доме княгини Бетси двери открывал «тучный швейцар, читающий по утрам, для назидания про-

хожих, за стеклянную дверью *газеты*». [VIII, 144] Прохожие, видевшие за стеклянной дверью читающего газеты швейцара, должны были понимать, с кем они имеют дело, они должны были знать, что открывающий двери, не какой-нибудь деревенский неуч, а грамотный человек, находящийся в курсе всех последних событий.

Среди представителей света в романе также есть персонажи, которые относятся к периодической печати как в возможности представить себя окружающим. К примеру, Константин Левин осматривает кабинет уездного предводителя дворянства: «Кабинет Свяжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами — одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным, звездой вокруг лампы, на разных языках последними нумерами газет и журналов <...>». [VIII, 359]

Уложенные «звездой» последние номера газет и журналов, скорее всего, подчеркивают стремление героя придавать эстетически приятный вид окружающему его пространству, нежели о том, что в этом кабинете читают газеты и журналы «на разных языках», однако такое впечатление обманчиво. В последующем повествовании и выясняется, что с содержанием имеющейся периодической печати хозяин кабинета все-таки знаком. Заметив, что Левин держит в руках журнал, Свяжский обращает его внимание на то, что в нем есть «очень интересная статья... Оказывается, — прибавил он с веселым оживлением, — что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается...» [VIII, 360]

Когда Свяжский рассказывает о новых и важных открытиях, о которых тот узнал из журнальной статьи, Левин никак не может понять, почему этому человеку так интересен раздел Польши, интересен более, нежели проблемы современного ведения хозяйства: «Когда Свяжский кончил, Левин невольно спросил: «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что «оказывалось». Но Свяжский не объяснил и не нашел нужным объяснять, почему это было ему интересно». [VIII, 360]

В представлении Константина Левина (этой же точки зрения придерживается и писатель), получаемая из периодической печати информация имеет смысл и интересна только тогда, когда ее можно использовать в своей практической деятельности. К примеру, для помещика такой информацией должна быть, прежде всего та, которая способствует наилучшему, результативному ведению хозяйства, улучшению жизни человека, который трудится на земле, его просвещению

и образованию. Об этом красноречиво свидетельствует продолжение разговора между Свияжским и Левиным.

В этом разговоре есть еще один примечательный эпизод, свидетельствующий о том, как публикации в периодических изданиях воспринимались грамотными людьми, живущими в провинции. Слушая рассуждения Левина о том, что улучшить жизнь народа можно образованием, школами, Свияжский замечает: «Ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером, которого вы так не любите; он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, но не умения читать и считать...» [VIII, 361]

Перевод статьи английского философа Герберта Спенсера (1820–1903) «Наше воспитание, как препятствие к правильному пониманию общественных явлений», которую почти дословно цитирует Свияжский, по тому времени он мог прочитать только в первом номере журнала «Знание» за 1874 год. В статье философ рассматривает вопрос об эволюции общественного сознания и на этом основании пытается доказать, что не просвещение создает благосостояние народа, а наоборот, благосостояние является необходимым условием для развития просвещения.

Одно из важнейших наполнений концепта средства массовой информации в романе «Анна Каренина» связано с *отражением* и *выражением общественного мнения*. Это особенно отчетливо проявляется тот момент, когда Алексей Александрович Каренин «одержал блестящую победу» в вопросе принятия мер относительно инородцев: «Меры эти, усиленные еще против того, что было основною мыслью Алексея Александровича, были приняты, и тогда обнажилась тактика Стримова. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и *газеты* — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер и против их признанного отца, Алексея Александровича». [VIII, 396]

Газеты выступают не просто в качестве и среди противников мер, предложенных Карениным, они отражают позицию, выражают мнение и «государственных мужей», и «умных дам».

Газета в романе может выступать в качестве источника сведений о событиях в культурной жизни, что оказывается особенно важно для человека, который находится вдали от Родины. Будучи в путешествии за границей Вронский и сам увлекся живописью, и стал более внима-

тельно относиться к творчеству художников, прежде всего своих современников: «А мы живем и ничего не знаем, — сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Голенищеву. — Ты видел картину Михайлова? — сказал он, подавая ему только что полученную утром *русскую газету* и указывая на статью о русском художнике, жившем в том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи и которая вперед была куплена. В статье были укоры правительству и Академии за то, что замечательный художник был лишен всякого поощрения и помощи». [IX, 38]

В словах героя слышится сожаление по поводу того, что они ничего не знают о культурной жизни своей страны, в том числе в области живописи. Газетная статья дает возможность, пусть и в самой малой степени, восполнить этот пробел. Однако это еще не все. Опубликованная в русской газете статья о художнике Михайлове и его картине открывает возможность для героев поразмышлять над современными направлениями в живописи и оценить их. Голенищев получает возможность не только передать содержание картины Михайлова, но и высказаться относительно «реализма новой школы», вспомнить о воплощении образа Христа «в искусстве великих стариков». Наконец, публикация в газете натолкнула героев на размышления о причинах бедственного материального положения известного художника, которому, «несмотря на то, хороша ли, или дурна его картина, надо бы помочь». [IX, 38]

Газетная информация, таким образом, выступает в качестве *побудительного мотива* к размышлениям и о проблемах искусства вообще, и о судьбе конкретного художника.

Периодическая печать в романе Толстого может выступать в качестве *ориентира* для человека, который хочет быть в курсе происходящих, в первую очередь, в культурной жизни событий. Рассказывая об уединенной жизни Вронского и Анны Карениной, автор замечает: «<...> Анна без гостей все так же занималась собою и очень много занималась чтением — и романов и серьезных книг, какие были в моде. Она выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах, и с тою внимательностью к читаемому, которая бывает только в уединении, прочитывала их». [IX, 223–224]

Значит, похвальные отзывы иностранных газет и журналов были едва ли не единственным критерием (наряду с ними Анна признавала еще только мнение самого Вронского), по которому отбирались и выписывались книги.

Есть, видимо, какой-то свой смысл в том, что прежде, чем ехать на станцию железной дороги, Анна Каренина «посмотрела в *газетах* расписание поездов. Вечером отходит в восемь часов две минуты. «Да, я успею»... Она знала, что не вернется более сюда. Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там на станции или в имение графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там». [IX, 346]

Газеты выступают в качестве источника информации, которая связана с роковым для героини решением.

Одна из наиболее последовательных и обстоятельных характеристик периодической печати представлена Толстым в той части романа, где рассказывается о том, как, в представлении Сергея Ивановича, «славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия». Герой заметил, что к нему обратилось много людей с корыстными и тщеславными целями, и не только людей: «<...> Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного, с одной целью — обратить на себя внимание и перекричать других. Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные: главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного; но он видел и признавал несомненный, все разрастающийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать». [IX, 356]

По наблюдениям героя, газеты в «славянском вопросе» стали источником «ненужного и преувеличенного», и дело было не в том, что они стремились отстоять какую-то правду, какой-то свой взгляд на проблему, а в том, чтобы «обратить на себя внимание и перекричать других». То есть сущность проблемы ушла на второй план, она менее всего интересовала средства массовой информации. Тем более, что кричали больше всех те, кто оказался не удел, «все неудавшиеся и обиженные», в том числе и «журналисты без журналов».

Может быть, по этой причине тесть Константина Левина старый князь признается, что в свое время не очень понял существо проблемы: «<...> Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчился, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует». [IX, 392]

Значит, газеты не были способны дать четкую и ясную картину происходящего для того, чтобы живущий за границей человек понял его сущность. И у старого князя сложилось вполне определенное, презрительно-недоверчивое отношение к газетам: «Да это *газеты все одно говорят*, — сказал князь. — Это правда. Да уж так-то все одно, что *точно лягушки перед грозой*. Из-за них и не слышать ничего.

— Лягушки ли, не лягушки, — я газет не издаю и защищать их не хочу; но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции, — сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату». [IX, 394]

Говорящие одно и то же газеты не просто напоминают персонажу лягушек перед грозой — они мешают слушать, то есть выполняют функцию *прямо противоположную* той, которую должны выполнять. Газеты не способствуют пониманию сути происходящего, а, наоборот, затрудняют такое понимание. Князь при этом утверждает, что знает причину «единомыслия» газет в славянском вопросе и не только: «Так-то и единомыслие *газет*. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян... и все это?» [IX, 395]

Сергей Иванович, в свою очередь, который тоже не любит газет, считает такое утверждение князя несправедливым, однако читатель уже не может отказаться от такой мысли, она, пусть даже предположительно, становится частью его представлений о современной печати. Это печать, которая ради своих материальных, прежде всего, интересов готова поддерживать любое развитие процесса, любую идеологию или точку зрения.

Развитие представлений о том, что такое средства массовой информации в понимании Льва Толстого, дает роман «Воскресение» (1899).

Первый раз средства массовой информации в романе появляются в качестве детали, характеризующей обстановку столовой, в которую выходит после утреннего туалета князь Дмитрий Иванович Нехлюдов. На столе рядом с кофейником, сахарницей, сливочником, корзиной со свежими калачами, «подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «*Revue des deux Mondes*». [XI, 17]

«*Revue des deux Mondes*» — французский литературно-художественный и публицистический журнал, издававшийся в Париже с 1829 года и пользовавшийся популярностью в среде русской дворянской интеллигенции. Сразу становится понятно, что для героя утренняя газета и свежий номер модного журнала являются такими же обязательными атрибутами жизни, что и утренний кофе. В описываемое утро герой

внимательно прочитал полученные письма, однако в тексте нет никакого свидетельства тому, что он обращался к газете или журналу. Видимо, потому, что его более занимала информация, полученная из писем. Одно напоминало ему о необходимости явиться в суд присяжных, второе было от мужа соблазненной им женщины, а третье от «главноуправляющего имениями».

Газеты и журналы и в дальнейшем неоднократно появляются в романе в качестве бытовой детали, иногда эта деталь наполняется вполне определенным смыслом. Так, придя в назначенный адвокатом Фанариным день в его квартиру, Нехлюдов «застал в приемной ожидающих очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с должностными утешать их *иллюстрированными журналами*». [XI, 159] Журналы в этом эпизоде, пусть и не без иронии, выступают в качестве *средства утешения* для тех, кто попал в затруднительное положение: в ином случае к адвокату просто не обращаются.

А следующее упоминание газеты в романе связано уже с более значительным смыслом. Есть некий сердитый член присяжного суда, который боится оправдательного приговора по делу Екатерины Масловой, потому что «и так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников; что же заговорят, когда суд оправдает. Я не согласен ни в каком случае». [XI, 88] То есть газеты оказываются отчасти виноваты в том, что приговор героине не был оправдательным. Они, выступая в качестве выразителя общественного мнения, так, по крайней мере, их воспринимают члены суда присяжных, имеют возможность влиять на судебные решения.

Более того, сам институт суда присяжных прессой подвергается сомнению. За обедом в доме Корчагиных Иван Иванович Колосов, обращаясь к Нехлюдову, который приехал с судебного заседания, спрашивает: «Ну, что же, подрывали основы? — сказал Колосов, иронически употребляя выражение *ретроградской газеты*, восстававшей против суда присяжных. — Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?

— Подрывали основы... Подрывали основы... — повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга». [XI, 95]

Ироническое замечание Колосова, в котором он обращается к словесной формуле некоей ретроградской газеты, дает представление о той позиции, которую занимает часть прессы относительно суда присяжных, видя в нем подрыв устоев государственности.

В последующем повествовании Колосов «бойко и громко рассказывал содержание возмущившей его статьи против суда присяжных. Ему

поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты». [XI, 95] Писатель не дает более подробной информации о содержании статей, по всей вероятности, потому, что современникам эта позиция и сама «ретроградная газета» были хорошо известны. Достаточно того, что в романе представлена позиция последовательного неприятия института суда присяжных.

Мнение этой «ретроградной газеты», которая названа также и «консервативной», хорошо известно и вице-губернатору Масленникову, к которому Нехлюдов обратился за разрешением на посещение арестантов в остроге. Не просто известно, а вице-губернатор придерживается того же мнения относительно суда присяжных, который творит беззаконие своими несправедливыми приговорами.

В размышлениях Нехлюдова о крайней бедности народа во время посещения доставшегося ему в наследство имения особое место занимают газеты. Герой пришел к выводу о том, что толки «в ученых обществах, правительственных учреждениях и *газетах*... о причинах бедности народа и средствах поднятия его» не имеют смысла. Вызвано последнее тем, что ни ученые общества, ни правительственные учреждения, ни газеты не понимают экономической сущности проблемы. *Пресса*, по сути дела, повторяет досужие рассуждения в обществе и не видит того, что единственным несомненным средством, «которое наверное поднимет народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю». [XI, 223]

Концепт газета, таким образом, выступают в качестве *источника искажения* сути проблемы и *причины*, по которой эта проблема не может быть решена.

Одной из отличительных особенностей романа «Воскресение» является то, что в нем образ персонажа может служить *средством характеристики* прессы. Так, граф Иван Михайлович, «отставной министр и человек очень твердых убеждений», «едва-едва поднимался в своих взглядах до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет». [XI, 256, 257]. Уровень этих пошлых консервативных газет благодаря Ивану Михайловичу характеризуется ограниченностью и малообразованностью, в сочетании с очень большой самоуверенностью.

Примечательно, что средства массовой информации в романе Толстого неизменно возникают в связи с именем Нехлюдова и людей ему социально близких, в жизни этих людей они играют иногда весьма существенную роль. А Катя Маслова и ее социальное окружение вполне обходятся и без них, словно бы попавших в заключение мало

волнует то, что происходит на воле, как это происходящее отражено в прессе. Генерал, «от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге», рассказал Нехлюдову о том, что у заключенных есть возможности для чтения: «Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые. У нас библиотека соответствующих книг. Только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами». [XI, 273] Дело, видимо, не только в том, что журналы были старые, а и в том, что у большинства сидящих в казематах привычка к чтению, в том числе и периодических изданий, просто не выработана. В этом не было необходимости в той их жизни, которая была на свободе.

Газета в мире заключенных, по роману Толстого, существует в качестве бытовой необходимости, даже если речь идет о политических. В одно из посещений последних Нехлюдов замечает, как его «старая знакомая» Вера Ефремовна сидела «перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы». [XI, 394] Свидетельств использования газеты заключенными как средства массовой информации в романе нет. Разумеется, что то, как представлена роль прессы в жизни заключенных Львом Толстым, отражает его индивидуальное видением данного концепта.

Не обошел вниманием автор «Воскресения» и положение самой прессы. Нехлюдов оказался очевидцем слушания дела «о клевете в печати»: «<...> Дело шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничества одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель право напечатать статью фельетониста и какое он совершил преступление, напечатав ее, — диффамацию или клевету, и как диффамация включает в себе клевету или клевета диффамацию, и еще что-то мало понятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента». [XI, 277–278]

Судебное рассмотрение занимается проблемой права прессы приглашать в печати, пусть и верные, но порочащие сведения (диффамация) или печатать клеветническую информацию, но никак не проблемой того, насколько опубликованное в газете соответствует истине. Нехлюдов отчетливо понимает, что речь в заседании по делу газеты

идет не о главном, «а о совершенно побочном». Газете, которая опубликовала информацию о фактах, имевших место на самом деле, трудно выиграть процесс против вороватого дельца уже потому, что один из сенаторов, рассматривавших его, «почти накануне слушания о нем дела был у этого дельца на роскошном обеде». В таких условиях свобода прессы выглядит явлением более чем сомнительным.

Есть в романе персонажи, обличенные властью, которые понимают, что удовлетворение жалобы акционерного дельца и «грязного человека» на газету, а также обвинение в клевете журналиста есть «стеснение свободы печати», поэтому «дело было решено отрицательно», то есть в удовлетворении жалобы коммерсанту отказали. Однако эпизод примечателен тем, что показывает, как может осуществляться в современном Нехлюдову обществе давление на печать, «стеснение» ее права на свободное распространение информации.

Средства массовой информации выступают в романе качестве *авторитета*, способного влиять на решения людей, обличенных властью, к их мнению эти люди вынуждены прислушиваться. Нехлюдов, взявшись передать прошение сектантов государю, попадает к Топорову, который по должности своей должен был поддерживать и защищать «внешними средствами, не исключая и насилия», ту церковь, «которая по своему же определению установлена самим Богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями». [XI, 301] На решение этого чиновника в пользу сектантов повлияло не столько то, что на их стороне оказался Нехлюдов, имевший «связи в Петербурге», сколько то, что «дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в *заграничные газеты*». [XI, 303]

Мнение своих российских газет этого значительного чиновника в области религиозных отношений, по всей вероятности, мало волнует. Если же дело о жестоком разлучении семей сектантов станет достоянием заграничной печати, то это грозит большими неприятностями и для него лично, и для государства. И все это притом, что, по наблюдению Нехлюдова, Топоров был ко всему «равнодушный человек».

Таковыми видел средства массовой информации, их роль и функции в жизни своих современников Лев Толстой.

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 1826–1889

Концепт средства массовой информации в произведениях Салтыкова-Щедрина представлен широко и многообразно. Его проза создает впечатление, что писатель не просто заинтересованно наблюдал за современной ему печатью, но чаще всего был раздосадован, а то и просто удручен положением дел, традициями и нравами, сложившимися в области периодической печати.

В сборнике рассказов «Помпадурсы и помпадурши» (1863–1874) главным предметом сатирического изображения писателя является бюрократия, как воплощение сущности политического строя самодержавия. Образная система рассказов построена таким образом, чтобы показать важнейшие стороны провинциального управления в России. Одной из отличительных особенностей этого управления является то, что принятие решений на этом уровне часто зависело не от самих губернаторов, а от близких им женщин, а потому такие решения преследовали не государственные, общественные интересы, а сугубо личные. Свое особое место в жизни помпадуров и помпадурш занимает пресса.

В рассказе «Она еще едва умеет лепетать» (1864) Дмитрий Павлович Козелков, побывав в Петербурге, «окончательно убедился, что для того, чтобы хорошо вести дела, нужно только всех удовлетворить. А для того, чтобы всех удовлетворить, нужно всех очаровать, а для того, чтобы всех очаровать, нужно — не то чтобы лгать, а так объясняться, чтобы никто ничего не понимал, а всякий бы облизывался».¹

Вскоре Митенька пришел к заключению, что «для придания веса своим объяснениям не мешало бы вступить в соглашение с здешними публицистами!» [II, 116] Его болтовня на любые темы и по любому вопросу поистине не знает границ, однако он «желал бы иметь в своем распоряжении публициста». «Под публицистом, — поясняет он, — я разумею такого механика, которому я мог бы подать мысль, намекнуть,

¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Она еще едва умеет лепетать // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 10 т. М., Правда 1988. Т. II. С. 112. Далее произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

а он бы сейчас привел все это в порядок!» [II, 126–127] А дело было в том, что Митенька Козелков понял одну из особенностей устройства современного государства в аспекте его отношений с прессой и хотел ею воспользоваться тоже. Он разъясняет правителю канцелярии Разумнику Семенычу: «Вы исполняете свои обязанности, а публицист должен исполнять свои! В Петербурге это ведется так: чиновники пишут свое, публицисты — свое. Если начальник желает распорядиться келейно, то приказывает чиновнику; ежели он желает выразить свою мысль в приличной форме, то призывает публициста!» [II, 127]

Устами Мити Козелкова писатель передает то, как видит место и роль публицистики официальная власть: ее задача «в приличной форме» выражать мысли и идеи этой власти. Публицистика должна уметь выслушать власть, запомнить сказанное, а затем придать этому сказанному тот вид, в котором это сказанное будет читать народ. «Я мыслю, — продолжает свои разглагольствования Козелков, — и в то же время не мыслю, потому что не имею в распоряжении своем человека, который следил бы за моими мыслями, мог бы уловить их, так сказать, на лету и, в конце концов, изложить в приличных формах. Вот здесь-то, почтеннейший Разумник Семеныч, именно и нужен мне публицист, то есть такой механик, которому я мог бы во всякое время сказать: «Вот, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вам привести ее в надлежащий вид!» [II, 128]

В понимании героя, публицист становится тождественен механику, задача которого следить за мыслью говорящего (болтающего Митеньки Козелкова), а затем приводить их «в надлежащий вид» для опубликования в печати.

В рассказе такой публицист «был отыскан»: «Это был некто Златоустов, учитель словесности в семиозерской гимназии, homo scribendi peritus¹, уже несколько раз помещавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным» [II, 128–129]

Через такое понимание публициста и публицистики концепт средства массовой информации наполняется содержанием *механизм*, предназначенный для оформления и передачи мыслей и идей, принадлежащих кому-то другому, пришедших от каких-то их «генераторов».

После первой же встречи найденного публициста с Митей Козелковым в следующем номере губернских ведомостей была опублико-

¹ человек, опытный в писании (лат.)

вана передовая статья под названием «Наши желания». Эта статья в тексте рассказа представляет собой пародию на «публицистику» «Губернских ведомостей». Ее автор демонстрирует завидную способность пафосно говорить на мелкие темы, видеть проблемы там, где их нет, задаваться философскими вопросами и выводить силлогизмы, пользоваться дидактическими повторами. К примеру, задавшись вопросом «Что такое промышленность?», автор передовой пускается в рассуждения: «Промышленность (*industrie*), отвечают нам экономисты, есть совокупность тех плодов, которые составляют необходимый результат занятия рук человеческих. Следственно, где руки человеческие не праздны, там есть занятие, где есть занятие — там в результате плоды, то есть промышленность. То ли мы видим у нас?»

Чуть ниже он снова задает вопрос, но уже о том, «что такое собственность?» и снова отвечает: «Те же экономисты отвечают нам: собственность есть прямое и законное продолжение промышленности, это есть промышленность, так сказать, консолидированная. Из такого определения не вправе ли мы будем вывести следующий силлогизм: где человеческие руки не праздны, там есть занятие, где есть занятие, там в результате есть плод, а где есть плод, там неминуемо должна быть и собственность (*proprietas*)? *Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde*¹, говорит один знаменитый писатель, и ежели мы признаем законность этой связи (а не признать ее невозможно), то, само собой разумеется, должны будем признать и законность того явления, которое из нее выходит. Но то ли мы видим у нас?» [II, 130]

Всего лишь две цитаты из статьи найденного Митенькой Козелковым публициста дают представление о характере и стиле определенной части публицистики России того времени.

В рассказе «Он!!» (1873) Салтыков-Щедрин упоминает газету «Старейшая Российская Пенкоснимательница» («Санкт-Петербургские ведомости»), «передовые статьи» которой читали современники «и удивлялись благонамеренной их дерзости». [II, 169] «Благонамеренная дерзость» — это «дерзость» либеральной прессы. Более подробно об этом явлении в прозе писателя мы расскажем в разделе, посвященном «Дневнику провинциала в Петербурге».

Салтыкова-Щедрина интересует та роль, которую играет пресса в определении распространенных социальных явлений, к примеру, таких как «взятка» и «взяточник». Вспомнив речь прусского депутата

¹ «Все переплетено, все связано в этом мире» — цитата из Альфонса Мари Луи де Ламартина (1790–1869), французского поэта и публициста.

Э.Ласкера, в которой тот обвинил крупных чиновников и аристократов Пруссии в финансовых махинациях, связанных с железнодорожными концессиями, писатель отмечает: «Разумеется, газетчики обрадовались этому обличению и увидели в нем факт, свидетельствующий о прусской испорченности. Но вот выискивается австрийский журналист, который по поводу этого же самого происшествия совершенно наивно восклицает: «О! если бы нам, австрийцам, Бог послал такую же испорченность, какая существует в Пруссии! как были бы мы счастливы!» Как хотите, а это восклицание проливает на дело совершенно новый свет, ибо кто же может поручиться, что вслед за австрийским журналистом не выищется журналист турецкий, который пожелает для себя австрийской испорченности, а потом нубийский или коканский журналист, который будет сгорать завистью уже по поводу испорченности турецкой? Очевидно, что разногласия этого не могло бы существовать, если б строгим определением понятия о «куше» была сразу устранена возможность заслонять одну громадную мерзость посредством другой, еще более громадной. Но вот этого-то именно и нет. А покуда не будет достигнуто это устранение, много пройдет времени в спорах, какая степень испорченности желательна, какая терпима и какая, наконец, и не желательна и не терпима». [II, 175]

Во-первых, примечателен сам факт, что журналисты не могли пройти мимо обличений депутата и обрадовались им. А во-вторых, журналистская привычка все и всегда сравнивать, особенно в международном аспекте, приводит к тому, что явление, которое в Пруссии понимается как несомненный показатель испорченности, в других странах может восприниматься в качестве блага. Приводимое писателем восклицание австрийского журналиста свидетельствует о том, что в его стране финансовые махинации достигли такого размаха, что по сравнению с ними происходящее в Пруссии — это настоящее благо.

Таким образом, периодическая печать может выступать в качестве средства облагораживания порочных и преступных явлений в других странах, если их сравнивать со своей.

В рассказе **«Помпадур борьбы, или проказы будущего»** (1873) либеральный помпадур Феденька Кротиков, который «изучает дух времени», в результате чего начинает испытывать разочарование в либерализме и в либералах и проходит все стадии этого разочарования. Результатом того, что герой, с одной стороны, «изучает дух времени», а с другой, внимательно следит за отражением этого «духа» в прессе, является такой вывод: «Вот тот либеральный дух, — возмущается он, —

который, по отзывам газет, «охватил всю Россию»! Черта с два! Охватил!!» [II, 185] Его наблюдения свидетельствуют о том, что газеты не очень понимают сущность происходящего и видят охвативший Россию либерализм там, где его нет.

Последнее не мешает герою обращаться именно к прессе для того, чтобы верно определить направление своей политики: «Он внимательно следил за газетами, предполагая, сообразно с тем или другим исходом событий, дать и своей внутренней политике более решительное направление. В ожидании же того, какие идеи восторжествуют, здравые или так называемые сюбверсивные¹, он волновался и угрожал». [II, 185] События, которые, по мнению Феденьки Кротикова, должны были помочь ему разобраться в направлении своей политики — это создание К. Марксом интернационала, франко-прусская война, Парижская коммуна и т.д.

Показательно, что внутренняя политика помпадура (губернатора) увязывается им с событиями исключительно международного характера, а о сущности этих событий он судит по публикациям в газетах. Другой возможности эпоха просто не предоставляла.

В конце-концов такое увязывание и выстраивание системы фактов на основе газетных публикаций дали свой результат: «<...>как бы для того, чтоб вывести его из недоразумения, в газетах появилось известие, что в версальском национальном собрании образовалась партия, которая на развалинах любезного отечества водрузила знамя «борьбы»...» Он тоже решил бороться «против приведений прошлого, настоящего и будущего». [II, 191]

Феденька Кротиков благодаря газетам пришел к выводу, что его помпадурство, по сравнению с другими помпадурствами, «должно быть исключительно помпадурством борьбы». Для разработки церемониала этого своего помпадурства он опять-таки обратился за помощью, в том числе и к газетам: «Он перебрал в своей памяти весь курс истории Смарагдова, весь репертуар театра Буфф и все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции. Образовалось нечто волшебное. Крестовые походы, Иоанна д'Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале — все нашло себе место в этом громадном плане». [II, 192]

Под «всеми газетными известиями о чудесах в решете, происходящих в современной Франции», имеются в виду события середины

¹ Разрушительные, пагубные (от фр. subversif).

1873 года, вызванные борьбой монархического большинства Национального собрания против республиканского консерватизма Тьера, бывшего тогда президентом «республики без республиканцев». Об этих событиях подробно извещал российского читателя парижский обозреватель журнала «Отечественные записки» Ш.-Л. Шасенн, выступавший под псевдонимом Клод Франк. Последний большое внимание уделил, в частности, описанию демонстраций, устроенных монархическим и католическим большинством Национального собрания перед парламентской битвой, данной Тьеру. Он подробно излагал историю пилигримства в Лурд, а также благодарственных молений в Парэ-ле-Мониале, устроенных после свержения Тьера 24 мая 1873 года.

Таким образом, газетные публикации помогли герою не только определить направление и характер его индивидуального помпадурства, но и стали основой при разработке церемониала его «помпадурской борьбы».

Газеты постоянно помогают Феденьке Кротикову правильно определять направление своей политики в Навозном краю. К примеру, узнав из газет «о публичном отречении от сатаны и всех дел его, происшедшем во Франции в Парэ-ле-Мониале», он решил «устроить нечто подобное и в Навозном». [II, 192]

Герои рассказа, внимательно читающие периодическую печать, постоянно сталкиваются с тем, что ее информация как-то расходится с истинным положением дел. Так, повествуя об «интимных вечерах» в кругу самых близких людей, писатель замечает: «Читали статьи В.П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению». [II, 197–198]

Периодическая печать своими публикациями на экономические темы выступает, таким образом, в качестве средства введения в заблуждение. Это тем более принципиально, что названо имя В.П. Безобразова, известного экономиста и публициста 50–80-х годов, который был к тому же еще младшим лицейским товарищем Салтыкова-Щедрина. Работы Безобразова по вопросам кредита и банковского дела пользовались большим вниманием и авторитетом у современников. Такого мнения, как можно заметить по рассказу, не разделял Салтыков-Щедрин.

В рассказе «Помпадур борьбы, или проказы будущего» писатель снова обращается к газете «Санкт-Петербургские ведомости» (теперь уже под ее настоящим названием) для того, чтобы в очередной

раз высмеять манеру газеты рассуждать о социальных явлениях. Он замечает, что герои рассказа «упивались передовыми статьями «С.-Петербургских ведомостей», в которых доказывалось, что нет ничего легче, как отрицать и глумиться над прогрессом, и что, напротив того, нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений». [II, 198] Центральный орган российских либералов, в представлении Салтыкова-Щедрина, именно так понимал и прогресс, и характер отношения к нему. А последние слова о необходимости «с доверием ожидать дальнейших разъяснений» в до-революционной демократической публицистике, в том числе и социал-демократической, стали своеобразной политической пословицей, неким символом поведения российского либерализма, его робости.

Первые строки рассказа «Зиждитель» (1874) представляют концепт пресса в качестве источника информации о перспективах общественного развития. Повествователь перебирает возможные варианты того, чем можно занять свободное время в первые дни поста, и одним из таких вариантов ему видится возможный поход в редакцию газеты: «Сходил бы в редакцию «нашей уважаемой газеты» покалякать, какие стоят на очереди реформы, но не дальше как час тому назад получил от редактора записку: «Приходить незачем; реформ нет и не будет; калякать не об чем». [II, 218]

Даже записка от редактора газеты, в которой сообщается о том, что «реформ нет и не будет», не лишает газету того содержания, о котором сказано выше. Буквально через абзац повествователь снова обращается к газете, но уже не к «нашей уважаемой», а к первой попавшейся: «<...> беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: «Мы не раз говорили». Конца нет; вместо него: «Об этом поговорим в другой раз». Срединка есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лет уж я читаю это «поговорим в другой раз!» Да ну же, поговори! — так и хочется крикнуть...» [II, 219]

В этом эпизоде представлен стиль передовых статей некоторых периодических изданий. Сам факт, что повествователь читает «первую попавшуюся под руку газету», свидетельствует о том, что такую передовую можно найти в любой газете, что такие рассуждения без начала (потому что «мы не раз говорили») и без конца (потому что «об этом поговорим в другой раз») стали неким общим местом российской публицистики. В представлении повествователя рассказа «Зиждитель»,

печатное слово стало источником неясностей и средством возбуждения «ропота на провидение», которое, в свою очередь, тоже ничего пояснить не может: «Но именно нынче возник у нас особенный отдел печатного слова, который решительно ничего не возбуждает во мне, кроме ропота на провидение. Это отдел передовых газетных статей. Читаю, читаю — и ничего ухватить не могу. Только что за что-нибудь ухвачусь, — глядь, уж пропало. Точно сквозь сито так и льется, так и исчезает...» [II, 219]

Надежды повествователя, связанные с «отрадными явлениями», которые обязательно будут как результат деятельности очередного администратора в городе Паскудске, связаны с его представлениями о том, как об этих «отрадных явлениях» будет написано в местной газете: «<...> «Я так жаждал «отрадных явлений», я так твердо был уверен в том, что не дальше как через два-три месяца прочту в «нашей уважаемой газете» корреспонденцию из Паскудска, в которой будет изображено: «С некоторого времени наш край поистине сделался ареной отрадных явлений. Давно ли со всех сторон стекались мирские приговоры об уничтожении кабаков, как развратителей нашего доброго, простодушного народа, — и вот снова отовсюду притекают новые приговоры, из коих явствует, что сельская община, в сознании самих крестьян, является единственным препятствием к пышному и всестороннему развитию нашей производительности!» Да, я ждал всего, я надеялся, я предвкушал!». [II, 241]

Нас в данном случае интересует не столько то разочарование, которое испытал герой от идей, связанных с «клоповодством», «фаланстерами» и «возвращением апостольских времен» и т.п., сколько стиль «нашей уважаемой газеты», которая именно так и может рассказывать о крае, ставшем «ареной отрадных явлений». Это дополняет образ провинциальной прессы, которая готова оправдать и возвысить любую «зиждильскую» деятельность губернских администраторов, даже если эта деятельность несет на себе все черты скудоумия, антинародности и на деле означает лишь произвол и насилие власти.

В цикле очерков «Господа ташкентцы» (1869–1872), общую идею которых писатель определяет как «картины нравов», самым широким образом отразилась современная российская действительность. Свою особую роль в этой действительности Салтыков-Щедрин отводил прессе.

В «Ташкентцах приготовительного класса», передавая историю Ольги Сергеевны Персиановой, все перипетии борьбы этой «слабой женщины с целым корпусом кавалерийских офицеров», писатель отмечает,

что эта «интересная вдова как канула за границу, так и исчезла там». Про ее «шикарные приключения» ходили самые разные слухи, но самое главное — она «сделалась предметом *газетных фельетонов* и устных скандальных хроник. Называли двух-трех литераторов, одного министра (*de l'Empire*¹), одного сенатора и даже одного акробата (неизбежное следствие чтения романа «*L'homme qui rit*»²)». [III, 160]

«Куколки» — это щедринский тип аморальных светских дам, которые постоянно были предметом газетных публикаций, причем почти исключительно в скандальном аспекте. Ольга Сергеевна Персианова — это первый по времени тип таких «куколок» в прозе Салтыкова-Щедрина. Даже заграничная пресса не могла пройти мимо ее скандальных приключений. Благодаря заграничным газетам, петербургские родственники Ольги Сергеевны узнали о том, что ее репутация «достигла тех пределов, далее которых идти было уж некуда». Именно газеты заставили их тревожиться о судьбе своей родственницы: «В газетах рассказывали подробности одной дуэли, в которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсем лестную для нее роль. Повествовалось, о каком-то *butor*³ из молдаван, о каких-то *mauvais traitements*⁴, жертвою которых была *la belle princesse russe de P ****, и наконец о каком-то *preux chevalier*⁵, который явился защитником мальтретированной красавицы...» [III, 160]

Эпизод с «куколкой» интересен прежде всего тем, что представляет один из наиболее распространенных предметов внимания современной прессы. Он дает возможность увидеть, как газеты следят буквально за каждым шагом ничем не примечательного человека, интересы которого связаны только со стремлением хорошо одеваться, получать удовольствия и радость любовных приключений.

В тех же «Ташкентцах приговорительного класса» («Параллель вторая») есть выразительное свидетельство тому, что пресса стала неотъемлемой частью жизни деревенского жителя. Рассказывая о том, какого «именно сорта была усадьба Петра Матвеича Хмылова», автор помимо прочих отличительных черт отмечает внутри дома «стены, оклеенные побеленной газетной бумагой». [III, 208]

¹ империи (*франц.*)

² «Человек, который смеется» (1869) — роман В. Гюго.

³ грубияне (*франц.*)

⁴ махинациях (*франц.*)

⁵ о доблестном рыцаре (*франц.*)

Есть и другая деталь, подтверждающая данное наблюдение. Отец Петра Матвеича Хмылова долгие годы оставался самой настоящей загадкой для всего семейства: «Никто не мог сказать наверное, в уме ли он или не в разуме, а также при чем он состоит: при настоящем ли капитале, заключающемся в ассигнациях, или при *кипе старой газетной бумаги*, которую он, быть может, и сам принимал за кипу ассигнаций». [III, 211] Жители деревни не просто получали периодическую печать, но рачительно относились к старым газетам, сохраняли их на случай какой-нибудь надобности, к примеру, той же оклейки стен в доме.

Герои видят в старых газетах то, что может еще послужить в их быту. Отношение же автора к газетам отличается едкой иронией. Рассказывая в «Параллели четвертой» историю жизни Порфирия Велентьева, писатель описывает тот момент, когда с переходом на старший курс «умственные силы его пробудились снова» и пробудились настолько, что изучаемые науки постепенно ввели его в бредовое состояние: «Бред наяву продолжался, но это был уже бред серьезный, могущий, пожалуй, послужить материалом для любой докладной записки или для *газетной передовой статьи*». [III, 354]

Логика писателя в данном случае такова, что материалом для передовых статей современных газет служит самый откровенный бред.

В «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872) Салтыкова-Щедрина более всего интересуют те, кто создает образ современных ему средств массовой информации, журналистов, пишущих преимущественно публицистические статьи и тем самым приукрашивающих буржуазное хищничество. Таких публицистов писатель определил как «пенкоснимателей».

Попав на прием в салон князя Оболдуй-Тараканова, автор «Дневника» становится свидетелем представления новой газеты, которую собираются издавать князь и его окружение. Князь считает долгом пояснить, что они, «то есть люди консервативной партии, давно чувствовали потребность в печатном органе. У нас была одно время *газета*, но, отчасти по недостатку энергии, отчасти вследствие некоторой шаткости понятий, она должна была прекратить свое плодотворное существование. Теперь мы решились издавать *новую газету* под юмористическим названием «Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибежище для молодцов, не знающих, куда приклонить голову». Мы выбрали это название, потому что оно совершенно в русском, немножко насмешливом тоне <...>». [IV, 45]

Понятно, что газета создается для выражения мнения тех, кто считает себя консерваторами, однако неясно, каким образом сущность этих взглядов и намерения основателей отражены в названии. Остается неясным и то, почему такое название видится основателям газеты «в совершенно русском» тоне. В этой газете князь намеревается опубликовать отрывок из обширного труда «об уничтожении», который называется «Как мы относимся к прогрессу?»

Автор «Дневника» дает возможность читателю ознакомиться с содержанием этого труда: «Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию. Факт совершился — следовательно, не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что он факт, и притом не просто факт, но факт совершившийся (в публике говор: *quelle lucidite!*¹). Это, так сказать, фундамент, или, лучше сказать, азбука, или, еще лучше, отправный пункт.

Итак, факт совершился!!

И мы не отрицаем его, но принимаем с благодарностью. Мы с благоговейною благодарностью принимаем все совершившиеся факты, хотя бы появление некоторых из них казалось нам прискорбным и даже легкомысленным (в публике: *avalez-moi cela, messeigneurs!*²). Факт совершился — и мы благодарим. Мы благодарим, потому что мы благодарны по самой природе, потому что наши предания, заветы наших отцов, наше воспитание, правила, внушенные нам с детства, — все, *en un mot*³, создало нас благодарными...» [IY, 45–46]

То, что вызывает восхищение слушателей (завтрашних читателей) труда князя, можно назвать демагогией, если не словоблудием человека, который буквально упивается изложением прописных истин, банальностей. Продолжение чтения статьи князем показывает, что она была наполнена высокопарными банальностями, в которых были и «Отчество, находящееся в опасности», и сердца, принесенные на алтарь, и «дар сердца», и «возносящийся фимиам сердца», и «преданнейшее сердце», и «благоговейный фимиам, который испускают наши сердца», и «священное право благодарить», и необходимость «преимущественнейше ознакомиться с русским языком и памятниками грамотности», и необходимость дать «нашей мыслительности другое направление!»

¹ какая ясность ума! (франц.)

² извольте и это проглотить, господа! (франц.)

³ одним словом (франц.)

Непонятно, по какому поводу в статье упоминались и Наполеон III, и Бисмарк, и «великий преобразователь экономических законов Англии», Роберт Пиль, и «величайший» Вашингтон. Единственное рациональное зерно, которое можно было извлечь из прочитанной князем статьи, заключалось в том, что автор не хотел, чтобы читатели увидели в нем и его сторонниках ретроградов, «ибо мы не ретрограды. Мы только не хотим бежать вперед сломя голову, потому что, ежели все побегут и от того сломают головы, что может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели?»

Прощаясь с читателями «до следующего номера», автор статьи обещал «обстоятельнейше объяснить нашу profession de foi¹ <...>». [IY, 48–49]

В отличие от гостей князя, которые были в совершенном восторге, автор «Дневника» возмущен статьей настолько, что обозлился даже на ни в чем неповинного извозчика, а его приятель Прокоп Ляпунов замечает: «...Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится: «Для того, говорит, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше ознакомиться с русским языком...» Вот и поди ты с ним!» [IY, 49] Нет ничего удивительного в том, что люди, которые сами не умеют излагать мысли на русском языке, требуют для пишущих обязательно «преимущественнейше ознакомиться» с ним.

Об отношении рядового читателя из провинции (этот читатель явно близок по взглядам к князю и его окружению) к тем, кто работает в газете, говорит такой примечательный эпизод «Дневника». Прокоп принес автору «знаменитый проект «О расстрелянии и благих оногo последствий», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым». В этом проекте утверждалось, что «небесполезным» будет подвергать «расстрелянию» всех «негласно мыслящих», «всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия», «всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей», а с ними заодно «зубоскалов и газетчиков». [IY, 51] Как определять «негласно мыслящих» и тех, кто скрывает «отсутствие чистосердечия», в проекте не сказано, зато с газетчиками нет никаких проблем: они все подлежат «расстрелянию». Остается только гадать, чем же помещику Поскудникову так неугодили газетчики.

Сам автор «Дневника» демонстрирует другое отношение к прессе и к тем, кто с ней связан. Он признается в том, что обратиться к своему

¹ символ веры (франц.)

давнему товарищу Менандру Прелестнову ему мешала «свойственная всем провинциалам застенчивость перед печатным словом и его служителями». Есть у автора «Дневника» и объяснение такой застенчивости, и мысль о том, что она ни к чему: «Нам и до сих пор еще кажется, что в области печатного слова происходит что-то вроде священнодействия, и мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достоверное, что в настоящее время это дело упрощено до того, что стоит только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая передовая статья». [IY, 131]

Как видим, по мнению автора «Дневника», среди его современников представление о создании печатного слова еще связано с неким священнодействием, однако его сотворение далеко ушло от такого понимания, упростилось и даже опошлилось («поплевать на перо»). «Лично же для меня, — признается автор «Дневника», — трепет перед печатным словом усложняется еще воспоминанием о том, что я и сам когда-то собирался сослужить ему службу». [IY, 131]

Газеты в «Дневнике провинциала» могут выступать в качестве источника и основания для весьма серьезных умозаключений персонажей, о чем можно узнать из тех проектов, которыми «завалил» Прокоп Ляпунов автора «Дневника». В одном из них, под названием «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств», автор, предлагая свои мероприятия для достижения нужного эффекта, утверждает, что результат обязательно будет, хотя при этом признается, что «сам не видел, но из газет очень довольно знаю...» [IY, 77]

Автор другого проекта «О переформировании де сиянс академии» в обоснование необходимости предлагаемых им мероприятий приводит факт, взятый из прессы: «... На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам». [IY, 82]

Главное внимание автора «Дневника» уделено идеологии пенкоснимательства, которую олицетворяет собой его товарищ Менандр Прелестнов, который «еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин», потом перевел какой-то учебник или даже одну страницу из какого-то учебника и, наконец, теперь, за оскудением, сделался либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-политическом издании «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница».

Под «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницей» Салтыков-Щедрин имел в виду газету «Санкт-Петербургские ведомости»,

выходившую с 1728 года, и являвшуюся прямой наследницей петровских «Ведомостей о военных и иных делах, достойных знаний и памяти» (1703–1727). Эта газета является главным объектом сатиры писателя. Ее редактором-издателем с 1863 года был В.Ф. Корш, которого современники без труда узнали в образе либерального публициста Менандра Прелестнова. Об этом есть указание самого Салтыкова-Щедрина в черновом автографе рассказа «Похороны». Известно также, что В.Ф. Корш в 40-х годах учился на историко-филологическом факультете Московского университета, увлекался античностью, и, в частности, греческой литературой. В обширном, вышедшем в 1880–1883 годах под редакцией В.Ф. Корша труде «Всеобщая история литературы» ему принадлежал раздел «История греческой литературы».

Примечательно то, как представлен в «Дневнике» идеолог пенкоснимательства: «От Прелестнова пахло публицистикой, просонками¹ и головною болью. Так как он редижировал² отдел «Нам пишут» и, следовательно, постоянно находился под угрозой мысли: а что, если и завтра опять сообщат, что в Шемахе произошло землетрясение? — то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное выражение. Две фразы были совершенно ясно написаны на этом лице: первая «о чем, бишь, я хотел сказать?» и вторая «ах, не забыть бы, что из Иркутска пишут!» <...>» [IY, 134]

Сатирический образ пенкоснимательства наиболее последовательно воплощен в образе Менандра Прелестнова, который при встрече производил впечатление человека, находящегося между сном и пробуждением от него, постоянно занятого надеждами на то, чтобы ничего не случилось, но при этом и мыслями о том, о чем ему надлежит сказать. В эпизоде упоминается г. Шемаха (Азербайджан), который вместе с несколькими окрестными селениями был почти полностью разрушен землетрясением 16 февраля 1872. Это событие нашло отражение в «Санкт-Петербургских ведомостях» в виде ряда телеграмм и корреспонденций. Добавим, что запах от Менандра Прелестного исходил вполне специфический.

Поведение редактора отдела в газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» обнажает у Салтыкова-Щедрина наиболее типичные особенности редакционной политики либеральной прессы. «Устав Вольного Союза Пенкоснимателей» содержит два прин-

¹ *просонки* — состояние человека, который еще не пробудился ото сна (прим. наше — С.А., С.В.).

² *редижировал* — редактировал.

ципиально важных, главнейших для нее положения: «не расплываться» и «снимать пенки». Иными словами всячески ограничивать круг и значение обсуждаемых явлений, давать им исключительно поверхностное (на уровне снятия пенки) толкование.

Пенкосниматели еще и делают вид, что их общество едва ли не тайное, запрещенное, хотя, по признанию того же Менандра Прелестнова, «цели нашего общества самые благонамеренные... Ведем мы себя, даже можно сказать, примернейшим образом... Но — странное дело! — для правительства все как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда не может быть!» [IY, 136] Писатель, говоря о «примернейшем» поведении либералов-пенкоснимателей, сатирически подчеркивает их полную безобидность и безвредность для правительства.

Пенкосниматель Менандр Прелестнов считает, что современной прессе «дышится легко» и «светло живется». Писать можно о банках, ссудо-сберегательных кассах, артельных сыроварнях, о том, «сколько в одном Ледовитом океане богатств скрыто»: «Только, брат, расплываться не надо — вот что! — прибавил он с некоторою таинственностью, — не надо лезть в задор! Тише! Тише!

— То есть как же это: не расплываться?

— Ну да; вот, например, ежели взялся писать о ссудо-сберегательных кассах — об них и пиши! Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке¹... упаси Бог!»

На вопрос автора «Дневника» о том, что такое поведение практикуется пенкоснимателями «вследствие свободы печати», Прелестнов отвечает: «Ну да, и свобода печати, да и вообще... расплываться не следует!» [IY, 135—136]

Персонажи имеют в виду временное законодательство о печати, которое было введено в России с 6 апреля 1865 года. Оно освобождало ряд изданий от предварительной цензуры, но вместе с тем давало возможность правительству применять самые суровые санкции. По этому законодательству с 1 сентября 1865 по 1 января 1870 года было объявлено сорок четыре предостережения; семь периодических изданий были прекращены. Особенно усилились цензурные репрессии после покушения Каракозова и нечаевского процесса. Поэтому предостережение Прелестнова относительно того, чтобы не «лезть в задор» и «не

¹ Так в России называли созданное в 1864 г. и возглавлявшееся К. Марксом Международное товарищество рабочих — I Интернационал. По-французски «Internationale» женского рода, и в русском языке того времени это слово сохраняло женский род и иногда передавалось термином «международка».

расплываться», к примеру, насчет социализма и «интернационалки», выглядят вполне уместно, хотя и не добавляют к характеристике пенкоснимателей ничего нового.

Самое подробное представление о том, кто такие пенкосниматели, дает «Устав Вольного Союза Пенкоснимателей», который вручил для ознакомления автору «Дневника» Прелестнов.

Из этого Устава можно узнать, что Союз учреждается «за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени». [IY, 138] Вступить в члены Союза имеет право «всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязует лошадь, почел бы за нужное, рядом фактов, взятых из древности или и в истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем «науки». [IY, 139–140]

Буквально программа для современного корреспондента: способность к безобидному изложению смутности испытываемых ощущений, отсутствие познаний и «так называемых идей» и даже пример сюжета с планом написания журналистского расследования по проблеме вредности такого обычая, как истязание лошади извозчиком.

В Уставе была прописана даже специальная статья относительно газетчиков: «Отметчики и газетные репортеры, то есть все те, кои наблюдают, дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности, могут вступать в Союз даже в том случае, если не имеют вполне твердых познаний в грамматике». [IY, 140]

Отметчики — это люди, которые вообще отмечают что-либо (по В. И. Далю), а газетные репортеры оказываются к ним приравненными. Предмет их журналистского внимания, более чем выразительный, приведен прямо в Уставе. А в газете «Истинный Российский Пенкосниматель» по этому поводу было дано такое пояснение: «В литературе нашей много наделал шуму вопрос: следует ли отметчиков и газетных репортеров считать членами «Вольного Союза Пенкоснимателей»? И, по-видимому, весь сыр-бор загорелся из того, что много-де встречается таких репортеров, которые далее грамотно писать не умеют. Мы позволяем себе думать, однако ж, что даже возбуждение подобных вопросов представляет нечто в высшей степени странное. В чем заключается истинная цель пенкоснимательства? — Она заключается в облегчении ли-

тератора, в освобождении его от некоторых стеснительных уз. А в чем же мы можем найти облегчение более действительное, как не в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала, которого в наш просвещенный век не страшатся даже вороны и воробьи?» [IY, 141]

Эпоха, в которую происходят события, описанные в «Дневнике провинциала в Петербурге», давала много примеров того, как многие репортеры, работая в газете, не умели грамотно писать. Для пенкоснимателей в этом нет ничего предосудительного и даже наоборот, потому что «истинная цель пенкоснимательства» в освобождении от некоторых стеснительных уз. Грамматика — это и есть то, что играет роль таких стеснительных уз.

Сравнивая газетного публициста с сапожником, газета «Зеркало Пенкоснимателя» писала: «Сапожник обязуется шить *непрерывно*¹ сапоги, а не подобие сапогов, и, чтобы достигнуть этого, *непрерывно* должен знать, как взять в руки шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и нимало не потерять своей репутации». По мнению самих пенкоснимателей, всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов, что отнюдь не обязательно для пенкоснимателей, так как ими «в большинстве случаев, являются люди, неискушенные в науках, но одушевляемые единственно жадой как можно более собрать пенку и продать их по 1 к. за строчку!» [IY, 141–142]

В соответствии с Уставом Союза Пенкоснимателей, каждый его член обязан, «не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило». «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» опять-таки дала свой комментарий по этому вопросу в виде ответа на недовольство читателя: «Странный вы человек, читатель! Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, с одной стороны, нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем?!» [IY, 142] В этом признании газеты, которая выступает в качестве главной трибуны пенкоснимательства, Салтыков-Щедрин дает сатирическую характеристику значительной части современной ему журналистики, которая принципиально не хочет рассуждать ясно, потому что, с одной стороны, боится административных кар, а, с другой, сама не имеет вполне ясных представлений о предмете своих рассуждений.

¹ Курсив в данной цитате М.Е. Салтыкова-Щедрина. — С.А., С.В.

Среди уставных требований Союза пенкоснимателей было и такое: «Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения». [IY, 143] Откровенность и смелость, которые усиливаются по мере того, как опасность обсуждаемого вопроса сходит на нет. Это буквально по Гете: бороться за правду, когда это уже безопасно или пинать мертвого льва.

Устав требовал от членов Союза пенкоснимателей смотреть на описываемое явление не в глубь, а вширь, «ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь», соблюдая при этом «скромность и осмотрительность», но не делая «никакой критической оценки этому пути». [IY, 144]

Требовалось в обязательном порядке «обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше». Последнему положению был посвящен специальный фельетон в газете «Пенкосниматель нараспашку», автор которого писал: «Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью. Фи! какой это скучный и необтесанный народ! Напротив того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы — почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданиям общества распространения полезных книг? То-то порадует русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России — в Москве — золотые маковки! Москва! чье сердце не трепещет при твоём имени!» [IY, 145]

Салтыков-Щедрин дает великолепный образец фельетона, автор которого преисполнен веры в светлое будущее, связанное для него с «железными путями» и бесчисленными богатствами, распространением полезных книг, изданных в России, «плисами и ситцами» в Ташкенте, «ситцевыми рубахами» в Самарканде, «плисовыми шароварами» на туманном Альбионе. Он не прочь обратиться даже к русской классике, «подредактировав» стихи М.Ю. Лермонтова.

В связи с положениями Устава «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» задалась вопросом: «Во всех ли случаях необходимо приходить к каким-либо заключениям?» и ответила в духе и стиле

либеральной прессы: «Нет, не во всех. Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы ни стало требует логического вывода. Заключение, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются *ex abrupto*¹ и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу *на шести столбцах* и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не вправе поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходиться?» [IY, 147]

Якобы цитируя газету, которая оставляет за прессой право рассуждать на любые темы, но не приходиться при этом ни к каким конкретным заключениям, Салтыков-Щедрин имеет ввиду вполне конкретные периодические издания, которые выведены в «Дневнике провинциала» под вымышленными названиями. Кроме «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницы» («Санкт-Петербургские ведомости») автор «Дневника» цитирует «Вестник Пенкоснимания» (по всей вероятности, либеральный ежемесячный журнал «Вестник Европы»), «Зеркало Пенкоснимателя» (возможно, имея в виду газету «Биржевые ведомости») и другие. Под «Истинным Пенкоснимателем» писатель подразумевал газету А.К. Краевского «Голос». Либеральные издания, по наблюдениям писателя, научились вести пространные («на шести столбцах») беседы с читателем, не приходя при этом ни к каким заключениям, с абсолютной уверенностью в том, что имеют на этой право.

Автор «Дневника» разгадал секрет либеральной прессы: «И как хитро все это придумано! По наружности, вы видите как будто отдельные издания: тут и «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», и «Истинный Российский Пенкосниматель», и «Зеркало Пенкоснимателя», а на поверку выходит, что все это одна и та же сказка о белом бычке, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно-еженедельно-ежемесячного издания «Общероссийская Пенкоснимательная Срамница»! Каков сюрприз!» [IY, 148–149]

Сделанное открытие имеет еще одну принципиально важную сторону, говоря о которой автор «Дневника» передает и «полемический характер» публикаций «пенкоснимательских» изданий, и саму их манеру изъясняться: «<...> Мало того, что родные братья притворяются, будто они друг другу только седьмая вода на киселе, — посмотрите, как они враждуют друг с другом! «Мы, — говорит один, — и только

¹ *ex abrupto* (лат.) — внезапно.

одни мы имеем совершенно правильные и здравые понятия насчет института городских, а вам об этом важном предмете и заикаться не следует!» — «Нет, — огрызается другой, — истинная компетентность в этом деле не на вашей, а на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабжении городских свистками — а вы, где были вы, когда мы предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осмеливаетесь утверждать, что мы не имеем сказать ничего плодотворного по вопросу о городских! Но мы отдаем наш спор на суд публики и ей предоставляем решить, какого названия заслуживает взводимая на нас нахальная ложь!» [IY, 149]

Такие «вдохновенные речи» призваны заставить читателя поверить в то, что опубликовавшие их люди «невинны», но и «непреклонны», они принципиально не соглашаются с позициями и мнениями других изданий, поэтому «они способны замучить друг друга по вопросу о выеденном яйце». Автор «Дневника» уверен, что это «обман двойной! во-первых, они не невинны; во-вторых, совсем не непреклонны, и ежели затеяли между собой полемику, то единственно, как говорится, для оживления своих столбцов и страниц». [IY, 149]

Таким образом, концепт печать с определением либеральная лишается у Салтыкова-Щедрина таких наполнений содержания, как *невинность* и *непреклонность*. Это пресса, которая более всего занята проблемой «оживления своих столбцов и страниц».

У автора «Дневника» есть свое логическое объяснение того, почему он не верит в невинность либеральной прессы: «Невинны! — восклицает он, — на чем основано это мнение? На том ли, что все они славословят и поют хвалу? На том ли, что все в одно слово прорицают: тише! Не расплывайтесь! не заезжайте! не раздражайте?! Прекрасно. Я первый бы согласился, что нет никакой опасности, если бы они кричали «тише!» — каждый сам по себе. Но ведь они кричат все вдруг, кричат единогласно — поймите это, ради Христа! Ведь это уж скоп! Ведь этак можно с часу на час ожидать, что они не задумаются кричать «тише!» — с оружием в руках! Ужели же это не анархия?!» [IY, 149]

Делающие либеральную прессу, архитекторы ее идеологии — «это люди опасные», с которыми «нужно держать ухо востро», хотя они «до сих пор выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться друг в друга по поводу выеденного яйца!» [IY, 150]

В непреклонность либеральной прессы автор «Дневника» не верит потому, что, по его наблюдениям, она постоянно полемизирует сама с собой. Так поступал его друг Никодим Крошечкин, который прибе-

гал к полемике такого рода в издаваемой им газете. «Целая стая» сотрудников вела в его газете «между собой живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержания московских бульваров, по поводу необходимости посыпания песком тротуаров в летнее время и т.д.». И только позже выяснилось, что «он, Никодим, просто-напросто полемизирует сам с собою! Что он в одном своем лице соединяет и Корытникова, и Иванова, и Федула Долгомостьева, и Прохожего, и Проезжего и т. д. Что сначала он напишет статью о необходимости держать бульвары в чистоте и уязвит при этом Московскую городскую думу, а в следующем нумере накинется сам на себя и совершенно убедительно докажет, что все это пустяки и что бульвары прежде всего должны служить в качестве неисчерпаемогоместилища человеческого гуано!» [IY, 150]

Никодима Крошечкина Салтыков-Щедрин наделил некоторыми чертами личности известного критика, журналиста и издателя М.Н. Каткова, а также фактами его биографии. В начале 50-х годов Катков стал редактором университетской газеты «Московские ведомости». Ему удалось оживить казенную газету, вдвое поднять ее тираж за счет внесения полемического начала, открытия постоянного литературного отдела, привлечения к участию в работе редакции московских профессоров.

Ознакомившись с «Уставом Вольного Союза Пенкоснимателей» и сопоставив начертанные в нем правила с современной литературной и газетно-журнальной действительностью, автор «Дневника» «не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это Никодим! это он, под разными псевдонимами полемизирующий сам с собою!» [IY, 151]

Выводы автора «Дневника» неутешительны и пропитаны горечью: «Едва ли не десять лет сряду, каждое утро, как мне подаются вновь полученные с почты *органы русской мысли*, я ощущаю, что мною начинает овладевать тоскливое чувство. Иногда мне кажется, что вот-вот я сейчас услышу какое-то *невнятное и ненужное бормотание* о том, о сем, а больше ни о чем; иногда сдается, что мне подаются *детскую пеленку*, в которой новорожденный младенец начертал свою первую передовую статью; иногда же просто-напросто я воочию вижу, что в мой кабинет вошел *дурак*. Пришел, сел и забормотал. И я не могу указать ему на дверь, я должен беседовать с ним, потому что это дурак привилегированный: у него за пазухой есть две-три новости, которых я еще не знаю!» [IY, 151–152]

Длительное («едва ли не десять лет сряду») наблюдение за российской прессой (речь уже не идет о только либеральной ее части) привело автора «Дневника» к мысли, что каждое утро «органы русской мыс-

ли» занимаются невнятным и ненужным бормотанием, вводят в его кабинет дурака, приносят передовую, которую словно бы «сотворил» на своей пеленке новорожденный.

Люди, пишущие в газетах, «язвят и чернят друг друга», потому что на большее они не способны, их интеллект представляет собой весьма и весьма жалкое зрелище: «У каждого из этих апостолов самоедства сидит в голове маковое зернышко, которое он хочет во что бы то ни стало поместить; каждый из них имеет за душой материала настолько, чтобы изобразить: на последнем я листочке напишу четыре строчки! — зато уж и набрызжет же он в этих четырех строчках! И посмотрите, с какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натан воробьиного царства произносит свои: «Позволительно думать, что возбуждение подобных вопросов едва ли своевременно», или: «По нашему мнению, это не совсем так»! Мудрейший из воробьев! кто тебя? не все ли равно, кто, как и с чего снимает пенки?» [IY, 152]

Впечатляюще выглядит коллективный портрет пенкоснимателей, которых автор «Дневника» встретил в кабинете Менандра Прелестнова: «<...> Тут были люди всякого роста и всяких комплекций, но на всех лицах было написано присутствие головной боли. У всех цвет лица был тусклый, серый, а выражение озабоченное, как бы скорбящее о гресех; все страдали геморроем, следствием слишком усидчивого пенкоснимательства. Все великие наши пенкосниматели были тут налицо, все те, которые даже одну минуту опасаются провести празднично: так велика вереница пустяков, которые им предстоит разрешить». [IY, 153]

В этом обществе читает свою статью по вопросам о распределении налогов Иван Петрович Нескладин. Статью буквально переполняют пафос и общие рассуждения, хождение вокруг да около и смакование деталей и подробностей, имеющих очень малое отношение к существу проблемы. Автор статьи основывает свои рассуждения о сроках сбора налогов на том, что «равномерность равномерна» и «во имя великих пенкоснимательных начал» [IY, 163, 166] требует от оппонентов (газеты «Истинный пенкосниматель») прямого и четкого ответа на вопросы, смысл которых даже самому внимательному читателю остается неясен.

Единомышленники Нескладина от прочитанной статьи «были в восторге и поздравляли счастливого передовика», чего нельзя сказать об авторе «Дневника»: «Я испытывал то самое ощущение, которое испытывает человек, задумавший высморкаться, но которому вдруг по-

мешали выполнить это предприятие. Я, так сказать, уж распустил уши: я ожидал, что вот-вот услышу ссылки на «Статистический временник» министерства внутренних дел, на примеры Англии, Франции, Италии, Пруссии, Соединенных Штатов; я был убежден, что будет навеки нерушимо доказано, что в апреле и феврале происходят самые выгодные для плательщиков сделки, что никогда базары не бывают так людны, и что, наконец, только нахалы, не знающие литературных приличий, могут утверждать, и т. д., — и вдруг пауза, сопровождаемая лишь угрозой целого ряда статей! Каково жить в ожидании выполнения этой угрозы!» [IY, 168]

Услышанное окончательно убедило автора «Дневника» в том, что пенкосниматели — это люди, некомпетентные в жизненных вопросах, унылые и «безнадежно ограниченные», способные только «бесконечно ходить вокруг живого дела, ни разу не взглянув ему в лицо». [IY, 175]

Деятельность пенкоснимателей не снимает отношения к средствам массовой информации, в первую очередь к газетам, как в надежному и проверенному источнику информации. Когда Прокоп рассказывает о том, что «на этих днях в Калуге семнадцать гимназистов повесились», потому что не хотели учить латынь, автор «Дневника» называет это враньем и обосновывает свое мнение тем, что «если б что-нибудь подобное случилось, неужто в газетах не напечатали бы!» На что Прокоп резонно возражает: «Так тебе и позволили печатать — держи карман!» [IY, 191]

Этот эпизод, с одной стороны, является свидетельством того доверия, которое испытывает один герой к возможностям и даже обязанностям современной ему прессы. А с другой, он иллюстрирует и представление о той свободе, которая есть у современной прессы, по наблюдениям другого героя.

Есть еще эпизод, в котором автор «Дневника», заметив, что «на роскошном пире статистики» почему-то нет японцев, заявляет: «Господа!... из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтоб не сказать более, что этих иностранных гостей нет между нами». [IY, 231] Значит, газета по-прежнему ассоциируется с представлением о надежном, достоверном источнике информации.

Другое дело, что доверия газетам не добавляет тот факт, что сотрудничать с ними берутся все кому ни лень. К примеру, статистики, которых автор «Дневника» определяет как «не вполне достоверных, а вольнопрактикующих, которые по собственной охоте ведут счет питейным заведениям и потом печатают в газетах свои труды в форме корреспонденции из Острогжска, Калязина, Ветлуги и проч. <...>» [IY, 207]

Или тот самый гоголевский Иван Иванович Перерепенко, который по-прежнему судится с Иваном Никифоровичем, и эта судебная тяжба довела его до удручающего материального положения: «Чтобы не умереть с голоду, — признается он, — я вынужден писать газетные корреспонденции по полторы копейки за строчку. Но и там урезают!» Автор «Дневника» узнает его, он знает даже его публикации и кое-что из них помнит наизусть: «... Ба! так это ваша корреспонденция, которая начинается словами: «хотя наш Миргород в сравнении с Гадячем или Конотопом может быть назван столицей, но ежели кто видел Пирятин...» [IY, 227]

Можно только представить себе то, как один из героев «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» излагает в корреспонденции свои мысли.

Наблюдения за современным ему обществом и, в частности, за прессой привели автора «Дневника» к неутешительному выводу, согласно которому «в наше развращенное время все возможно». Люди исковеркали себя и «даже самые естественные наши побуждения подчинили искусственным примесям», а потому постоянно пытаются «усидеть между этих двух стульев и не провалиться в конце концов». Пресса, в свою очередь, только способствует такому разладу и такому стремлению: «Газета «Честолюбивая Просвирня», еженедельный орган русских праздношатающихся людей, давно уже, впрочем, заметила этот разлад, и ежели до сих пор не сумела ясно формулировать его, то единственно по незнанию русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, как дважды два — четыре, что вредный коммунизм, и под землей и по земле, и под водой и по воде, как червь или, лучше сказать, как голодный немец, ползет, прокладывая себе дорогу в сердца простодушных обывателей российских весей и градов!» [IY, 227]

И название газеты, и то, чьим органом она является, по замыслу писателя, должны характеризовать если не всю российскую прессу, то ее значительную часть. Это пресса, которой надо бы начинать с изучения русской грамматики, а потом уже — все остальное.

В романе «Господа Головлевы» (1875–1880) газета может выступать в качестве *причины решений и умозаключений*, которые нельзя назвать логичными, вернее, они могут выступать такими для читателя малообразованного. Брат Иудушки Павел Владимирович пришел к выводу, что «по нынешнему времени, совсем собственности иметь не надо» благодаря газетам. Лучше иметь деньги, которые «по нынешнему вре-

мени» всегда можно положить в карман. На удивленный вопрос о том, «что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя?», он отвечает: «А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли — вот и понимайте. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть — и почнет кружить!» [IY, 71]

На замечание Арины Петровны о том, зачем же адвокату кружить вокруг чужой собственности, «коль у тебя праведные документы есть», Павел Владимирович отвечает, что главное нанять адвоката, а законно или незаконно — это уже не имеет значения. Видимо, современные героям газеты слишком часто писали о судебных тяжбах в связи с собственностью, да к тому же писали так, что рядовому читателю было совсем непонятно, как такие дела возникают и на чьей стороне закон.

Еще более традиционно выглядит концепт газета, когда наполняется таким содержанием, как *связь с внешним миром*. Ее, к примеру, потерял главный герой романа Иудушка Головлев: «Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни *газет*, ни даже писем. ...Густая атмосфера невежественности, предвзятости и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти, от станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал: «царство небесное!» <...>» [YI, 115]

Потеря связи с внешним миром, одним из показателей которой является то, что герой не получал газет, делает его невежественным, обрекает на жизнь во власти предвзятости и «переливания из пустого в порожнее». Эта мысль принципиально важна для писателя, и он повторяет ее, когда вспоминает историю сына Иудушки: «К истории сына Порфирий Владимирович отнесся довольно загадочно. *Газет он не получал*, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог. Да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще это был человек, который пуше всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения и которого существование, вследствие этого, нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и, лопааясь под конец, как лопаются дождевые пузыри». [YI, 155]

Отсутствие газет здесь трактуется не просто в качестве отсутствия информации, а как одно из средств избежать «всяких тревог» во имя «самого паскудного самосохранения». И в конечном итоге уделом таких людей является то, что они не оставляют на земле после себя никаких следов.

То, что Порфирий Владимирович не выписывал и не читал газет, не мешает ему при случае сослаться на их мнение. В разговоре с Фокой, который пришел, чтобы одолжить немного ржи, Иудушка говорит, что обязательно одолжит, ведь может так случиться, что и ему придется обратиться за одолжением. Фока возражает и говорит, что такого с Порфирием Владимировичем случиться не может, на что последний отвечает: «... Я-то не пойду, а к примеру... И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в *газетах* пишут: какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат». [YI, 253]

Газета, таким образом, выступает для героя, который ее не выписывает и не читает, все равно в качестве авторитета, на который при случае можно сослаться.

Журнал в романе «Господа Головлевы» упоминается всего один раз. Показательно при этом, что это упоминание принадлежит не герою, а автору, словно бы герои вообще не имеют представления о том, что такое журнал. Чтобы передать содержание рассказов Арины Петровны и саму манеру говорить, писатель отмечает: «Это была своего рода *беллетристика в скучном журнале*, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия — и вдруг, вместо того, читает: *Вот мчится тройка удалая*¹... Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и даже бесчеловечные (виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного — разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс сослеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено! Этот процесс, во времена оны, велся с таким же захватывающим интересом, с какие нынче читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того чтобы сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: *продолжение впереди*». [YI, 199]

¹ Курсив в данной цитате М.Е. Салтыкова-Щедрина. — С.А., С.В.

Для тех, кто знает, что такое «скучный журнал», образ Арины Петровны становится ближе и понятнее. Но с другой стороны, сюжеты историй Арины Петровны и манера их преподнесения дают возможность писателю представить и сам «скучный журнал», раскрыть его жанровые и сюжетные предпочтения.

Периодическая печать играет заметную роль в структуре многих произведений Салтыкова-Щедрина, однако принципиально новых черт и особенностей ее бытовая в современном обществе эти произведения, по нашему мнению, уже не добавляют.

Аркадий Тимофеевич АВЕРЧЕНКО 1881–1925

Концептуальное видение средств массовой информации Аркадием Аверченко — это видение не столько их адресата, сколько адресанта, то есть человека, непосредственно связанного с созданием того, что именуется периодической печатью. Поэтому в его произведениях вызывают живейший интерес не только читательские реакции, но и подробности, свидетельствующие о самом механизме создания газет и журналов, о работе журналистов и редакторов.

Особое место в прозе Аркадия Аверченко уделено взаимоотношениям прессы и искусства. Писатель был уверен в том, что многие процессы и тенденции в развитии современного искусства вызваны тем, как само искусство и его деятели представлены в современной прессе. Одна из моделей таких отношений дана в рассказе «Золотой век». Рассказ начинается с того, что по приезду в Петербург рассказчик является к старому другу репортеру Стремглавову и заявляет ему, что хочет быть знаменитым. На вопрос репортера о том, давно ли он пишет и вообще сочиняет, рассказчик отвечает, что ничего не пишет и ничего не сочиняет. И, тем не менее, Стремглавов согласился сделать рассказчика знаменитостью.

На следующий день в газете в отделе «Новости» появилось такое сообщение: «Здоровье Кандыбина поправляется». На удивление самого рассказчика, который, по его словам, не был болен, он получает ответ: «Это так надо, — сказал Стремглавов. — Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

— А она знает — кто такой Кандыбин?

— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

— А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

— Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

— Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого...» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

— Можно писателем.

— «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

— А портрета еще не нужно?

— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете».¹

Начало тому, чтобы сделать знаменитым первого попавшегося человека с фамилией Кандыбин было положено. Механизм оказался предельно прост: надо, чтобы фамилия его появилась в печати. О том, что представляет собой содержание некоторых газет, свидетельствует тот факт, что репортер спешит «давать заметку о котлете».

Далее сам рассказчик «с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью». Из газет он узнавал, что поправлялся «медленно, но верно». Падала температура, увеличивалось количество съеденных котлет, а яйца герой, судя по сообщениям газет, рисковал есть уже «не только всмятку, но и вкрутую». Дальше — больше. В газетной жизни Кандыбина начались «авантюры»: «Вчера, — писала одна газета, — на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками». [I, 108]

Инцидент вызвал в газетах настоящий шум: «Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил». Разумеется, что сам Кандыбин к этому времени не написал ни единой строки, а газеты уже называли его «русским талантом», находящимся «в расцвете сил». Сомнений в том, что он именно талант не было, более того, его истории была найдена весьма убедительная аналогия в истории русской литературы: «Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо

¹ Аверченко А.Т. Золотой век // Аверченко А.Т. Собр. соч. в 6 т. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2007. Т. 1. С. 107–108. Далее ссылки на произведения А.Т. Аверченко даются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

ли это? С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, — писала другая газета, — что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*». [I, 109]

Рассказчика стали посещать репортеры, которые интересовались тем, что побудило его дать пощечину капитану, и получили вполне убедительный ответ: «Да ведь вы читали, — сказал я. — Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.

— Все равно. Великие имена должны быть святыней, — строго отвечал я». [I, 109]

Всего лишь одна маленькая деталь с «писателем Айвазовским» свидетельствует о том, кого газеты могли сделать литературной знаменитостью.

Из газет же Кандыбин узнал о том, что «капитан Ч* позорно отказался от дуэли», а сам он уезжает в Ялту. По мнению Стремглавова, читающая публика должна была немного отдохнуть от «знаменитости». Газеты сообщают о том, что писатель собирается закончить в Ялте «большую, начатую им вещь», от них же читающая публика и сам Кандыбин узнают, что вещь называется «Грани смерти». На просьбы антрепренеров дать ее для постановки, опять же по информации газет, автор ответит, что, «закончив, остался ею недоволен и сжег три акта». Для публики, по словам Стремглавова, «это канальски эффектно». [I, 109]

История жизни «знаменитого писателя» Кандыбина постоянно пополнялась новыми подробностями, которые приходили из газетных сообщений и продолжали волновать читателей: «Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома унич-

тожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом». [I, 110]

Когда Кандыбину надоели его «бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег», он потребовал от Стремглавова двадцатипятилетний юбилей, но согласился и на десятилетний, решив, что «хорошо проработанные десять лет дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти.

— Ты рассуждаешь, как Толстой, — восхищенно вскричал Стремглавов.

— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает». [I, 110]

Писатель не сомневается в возможностях современной прессы, которая может сделать известным писателем человека, ничего не писавшего. Газеты выступают в качестве *средства создания ложных талантов и знаменитостей*.

Тема взаимоотношений искусства с периодической печатью развивается и в рассказе «Ихневмоны». Отправляя журналиста, в роли которого выступает рассказчик, на выставку картин неоноваторов, редактор газеты дает ему задание написать рецензию и предупреждает: «... постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма». На резонный вопрос журналиста о том, что делать «если выставка скверная», он получает ответ: «Я вас потому и посылаю... именно вас, — подчеркнул редактор, — потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом». [I, 331]

В первой комнате журналист обнаружил только пустые стены, осмотрев которые, он решил здесь же начать писать рецензию, «стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора». В результате получилось весьма примечательное произведение, которое, с учетом того что стены были пусты, необходимо привести полностью: «Открылась выставка «Ихневмон», — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадаетесь целый ряд интересных удивительных вещей...

Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова «Весенний листопад». Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых

голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься — как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно.

Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: «Крики тела», «Почему», «Который», «Дуют».

Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса «Легковой извозчик». Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся наконец издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими...» [I, 333–334]

Во второй комнате «висели такие странные, невиданные мною вещи, что если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчицы передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...» [I, 334]

Не желая обижать авторов представленных во второй комнате вещей, журналист решил расхваливать и их с присущими ему «чуткостью и тактом», поэтому «после некоторого колебания» написал: «Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского... Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего.

Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!» [I, 335]

Показательно, что сам журналист остался доволен своей рецензией, заметив, что «всюду в ней присутствовала деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — все было мягко и осторожно». [I, 335]

Такую рецензию, в которой после просмотра абсолютно бессмысленной выставки, присутствовала бы деликатность, мог написать только очень талантливый журналист. Настоящее отношение человека, выполняющего редакционное задание, а потому вынужденного скрывать свои «искренние чувства», проявляется в теплом отношении «к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям».

Однако редактору рецензия не понравилась, он назвал ее вздором: «<...> Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашенных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого». [I, 336]

К счастью, никого посылать не пришлось — в кабинете редактора находился молодой человек, который вызвался без посещения выставки «Ихневмона» написать о ней рецензию, пользуясь тем, что уже было написано журналистом-рассказчиком. И вот что у него получилось: «<...> В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью «Весенний листопад»? Стулову шел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: жизнь.

Заинтересовывает Булюбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Мо-

авитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении. Примитивный по синему пятну «Легковой извозчик» тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков сказку...» [I, 336–337]

Эпизод интересен, прежде всего тем, что позволяет отметить, как об одном и том же явлении, скажем так, художественного характера может написать человек, который имел возможность наблюдать это явление, и тот, который знает о нем понаслышке. Понятно, что во втором случае представлена журналистская рецензия, не имеющая ничего общего с тем реальным, что увидел рассказчик. Перед нами – два возможных варианта выполнения редакционного задания. В первом случае автор стремился к тому, чтобы не обидеть «несчастных», которые пока не ведают, что такое искусство, но в то же время выполнить задание и написать о выставке хорошо. А во втором – задание написать хорошо выполнено в полном смысле этого слова: независимо от того, что представляет собой выставка, тем более, что автор ее не видел, но о ней написано в нужных редактору тонах и оценках. Примечательно, что, прочитав написанное, молодой человек заметил: «Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь». [I, 337] Уметь выполнять редакционное задание, независимо от того, насколько заданной идее соответствует описываемое явление.

Значительная часть героев прозы Аверченко воспринимает работу в газете как надежный источник доходов. Так относится к этой работе художник Рюмин из рассказа «Камень на шее». Сначала он спас Пампасова, решившего «с голоду», «с нужды», «со стыда перед людьми» утопиться. А затем нашел ему работу «в редакции небольшой ежедневной газеты». [II, 95] Однако сам Пампасов никак не разделял радости, испытанной художником, оттого что работа найдена, и в его отношении к такой работе был свой резон: «Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор – работаешь. Завтра другой редактор – пошел вон! Сейчас газета существует – хорошо, а сейчас же ее закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться...» [II, 96]

Получается, что герой знал некоторые особенности и опасности работы в газете, связанные и с личностью редактора, и с проблемой самого существования газеты, которое может оказаться делом временным. Другое дело, что в самом рассказе развитие действия пойдет по другому пути: Пампасов откажется от работы педагога, хотя и заявлял,

что работа с детьми — это его любимое дело. Он будет жить за счет художника до тех пор, пока последний не предложит ему все-таки утопиться и не приведет Пампасова на то же самое место, где они встретились. Попытку самоубийства прервут двое неизвестных, которые следующими решили принять участие в его судьбе.

В рассказе «Кто ее продал...» Аверченко обращается к проблеме взаимоотношений периодических изданий, к тому, как на эти взаимоотношения влияет политическая направленность газет, их партийная принадлежность. Рассказ начинается с принципиально важной информации, которая появилась в прессе: «Не так давно «Русское Знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское Знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги». [I, 29]

В рассказе упоминаются две популярные газеты. Первая — это орган партии кадетов газета «Речь» (1906—1917), публиковавшая на своих страницах как политические материалы, так и художественную литературу. И вторая — «Русское Знамя», православно-патриотическая газета, орган «Союза русского народа», выходила в Петербурге с ноября 1905 по 1917 ежедневно. Редактор-издатель с 1906 года — выдающийся русский общественный деятель доктор А.И. Дубровин. Газета отстаивала интересы русского народа, видела себя борцом «с засильем иудейской, либерально-масонской и революционной идеологии». Хотя история с обвинением «Речи» в продажности исходила от «Нового Времени» — ежедневной петербургской политической и литературной газеты (1868—1917), издателем которой с 1876 по 1912 год был А.С. Суворин, определивший ее консервативно-патриотическую направленность. После смерти Суворина газета издавалась его наследниками. В 1917 году газета была закрыта, издание ее было возобновлено одним из его наследников в Белграде в 1921 году. Об этой истории Аверченко вспомнит еще раз в рассказе 1919 года «Город Чудес», в котором русские люди, оказавшиеся в эмиграции, получили возможность, благодаря газетам, вернуться в 1908 год.

Рассказчика в этой истории более всего волнует то, как политическая перепалка между газетами может быстро переходить на конкретные личности: «Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского Знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки, обнаружив, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и — продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но — ведь все равно: рано или поздно все всплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее...

Лучше же я расскажу все сам». [I, 29]

Далее следует рассказ о том, как повествователь, хорошо поторговавшись, продал свою отчизну финну и японцу за восемь миллионов. На предложение покупателям забирать купленное удивился мистер Оцупа, между ним и повествователем происходит такой диалог: «Что значит забирайте? Мы платим вам деньги, главным образом, за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию...

— Да для чего вам это нужно? — удивился я.

— Это уж не ваше дело. Нужно — и нужно. Так — погубите?

— Хорошо, погублю». [I, 33]

В рассказе высмеиваются периодические издания определенного политического толка, которые постоянно готовы были видеть в любом, выступившем с сатирическим изображением каких-то явлений русской действительности, того, кто решил продать или погубить Россию.

Концепт средства массовой информации в прозе Аркадия Аверченко может наполняться эффектом ожидания. К примеру, первые абзацы рассказа «**Полевые работы**» дает вполне конкретное представление о том, от каких министерств, в представлениях периодической печати, можно ожидать самых больших безобразий. Редактору газеты, который возмущается тем, что это — «черт знает, что такое!! Этому нет границ!!!», его собеседник, журналист задает вопросы: «Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?

— Да нет...

— Значит, министерство финансов?

— Да нет же, нет!

— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?...» [IV, 350]

В этом небольшом диалоге указаны те министерства, по линии которых современная печать ожидает безобразий в первую очередь. Другое дело, что в самом рассказе они происходят в ведомстве почт и телеграфов. Попутно в этом же рассказе есть упоминание о том, кто такой «настоящий журналист». По мнению редактора, это тот, кто может провести расследование причин того, почему не работает между-

городный телефон: «<...> если бы вы были настоящим журналистом, — обращается к повествователю редактор, — вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!» [IY, 350] Понимая себя как настоящего журналиста, повествователь это и сделал.

На эффекте оправдавшегося ожидания строится повествование в рассказе «Спермин». «Самая скучная и тоскливая сессия Думы» подорвала интерес читателей к газетам: «Вначале еще попадались некоторые *неугомонные читатели газет*, которые после долгого сладкого зевка оборачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

— Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...» [I, 55] В особенно незавидном положении оказались мальчишки, уличные продавцы газет, к которым из-за скучного и тоскливого характера заседаний Думы пропал интерес: «Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

— Интересная газета!! Бурное заседание Государственной Думы!!

— Врешь ты все, брат, — брезгливо говорил прохожий. — Ну, какое там еще бурное?..

— Купите, ваше сиятельство!

— Знаем мы эти штуки!..» [I, 55]

Логика охладевших к газетам читателей понятна: если нет интересных событий в Думе, то и газеты, хотя уличные торговцы пытаются убедить в обратном, не могут быть интересными. Неверие читателей в возможность интересных газет при неинтересной Думе оборачивается для мальчишек-торговцев буквально трагедией: «Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стеная, кричал: любовника топором зарубила!! Купите, сделайте милость!

И жалко их было, и досадно». [I, 56]

Все резко меняется, когда в Думе, «среди общего сна и скуки» разразился скандал. Скандал был «небывалый», «дикий» и «нелепый», зато «все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыгнуло живительным летним дождем.

Негодованию газет не было предела». [I, 56]

Однако это было радостное негодование, потому у газет появилась интересная тема для разговора. Соответственно изменилось и поло-

жение уличных продавцов: «Газетчики уже не бегали, стелая, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...» [I, 57]

Вторая часть рассказа повествует о том, как зачинщик и главный герой думского скандала правый депутат Карнаухий пришел к издателю большой ежедневной газеты за расчетом. Расчет был положен ему за организацию того самого скандала, который, как оказалось, был заказан издателем газеты. Правда, исполнитель не досчитался «четвертной» за то, что не выполнил одного из условий договора: «министрам кулак не показывал».

Оказывается, что у издателя газеты есть «работка» для депутата Думы и на будущее: «Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?»

— Так я его лучше просто отдую, — добродушно сказал Карнаухий.

— Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль — это дело благородное, а то — черт знает что — драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

— Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

— Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай... Подойди, например, к нему и привяжись: «Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристская!» Можешь толкнуть его даже.

— А ежели он не обидится?

— Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...» [I, 58]

С одной стороны, издатель газеты нашел великолепный выход из ситуации, когда ничего интересного не происходит, он заказывает и оплачивает появление в Думе интересных происшествий. А с другой, в рассказе показано, что именно читающая публика считает интересным, и издатели газет знают об этом и пользуются этим знанием. Сам писатель не видит в этом ничего предосудительного, а поступок депутата ему даже симпатичен: «Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухова на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

— Тоже кормитесь, черти?!» [I, 59]

В итоге довольны все: и издатель газеты, имеющий возможность за счет созданной им сенсации поднять тираж, и сам депутат, который

нашел вполне доступный и по-своему честный источник заработка, и уличные продавцы газет, которые благодаря сенсации становятся веселыми и сытыми, так как «тоже кормятся» от этой же сенсации.

Рассказ «**Призвание**» не только развивает тему, связанную с образом газетчика, но и дает возможность расширить представления читателя, в первую очередь современного, о том, что представляла собой, о чем писала провинциальная пресса. Издатель газеты «Суета сует», принимая по протекции на работу рассказчика, решил определить его «на вырезки», тем более что дело-то предельно простое: «<...> Вы берете пачку только что полученных *чужих газет* и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отправляете в типографию...» [II, 438]

После того как рассказчик прилежно проработал целый день, читая, разрезая газеты ножницами и приклеивая со своими приписками, он «устал, как собака», но зато считал, что «с честью выполнил свою задачу». Другого мнения был редактор, который, явившись на следующий день, заявил, что больше вырезок делать не надо, потому что «получается черт знает что». Не согласившись с такой оценкой, рассказчик решил просмотреть всю свою вчерашнюю работу и вот что прочитал: «Обзор печати». Газета «Тамбовский Голос» сообщает очень интересное сведение: вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана...

«В «Калужских Вестях» читаем: «Вчера его пр-во г. губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

«Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское Эхо»: «Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го».

«Минскому Листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедущецким. Его сиятельство собирается за границу». [II, 439–440]

По мнению редактора, все это очень плохо, потому что никому не интересны «поездки вице-губернатора, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев». Для вырезок наш герой не годится, так как он слишком раболепен. Значит, столичная и провинциальная пресса, если не находятся в состоянии оппозиции, то, как минимум, по-разному понимают, что может быть интересно читателю.

А, может быть, все дело в том, что читатели у них разные. Поэтому было принято решение найти герою другое занятие, «что-нибудь повыше», и рассказчику предложили должность «заведующего театром». На вопрос редактора о том, понимает ли герой «что-нибудь в театре», он получает вполне определенный ответ: «Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего». [II, 441]

Для начала в задачу «заведующего» входило назначить рецензентов в театры, а потом составить хронику. Вначале он определил самое интересное, коим оказались «опера», «симфонический концерт» и «борьба». Первый из явившихся в кабинет к заведующему театром рецензентов плохо видел, второй почти ничего не слышал, третий, к счастью, не имел никаких физических недостатков.

Поздно ночью, когда закончились все театральные представления, рассказчик «имел уже в своих руках три добросовестных талантливых рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов». [II, 442]

Рецензент, которого новоявленный заведующий отправил на французскую борьбу, написал такую рецензию: «Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди — все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, — это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные Шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китайка» сменяется «Ой-рой», а «Ой-ра» — «Хиоватой» — и так три эти вещи — до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!» [II, 442—443]

Не менее оригинальной получилась рецензия прослушавшего симфонический концерт: «Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов — я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать».

вать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочку, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху — и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики...» [II, 443]

И, наконец, в результате посещения оперы появилась еще одна рецензия: «Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд или, как здесь говорят — акт, — поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде: князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с «Игорем» «Ярославна», но на прямой «Игорь» вырвался, стал ее догонять и, к концу дуэта, оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от «Васьки» и «Снежинки», как нам удалось узнать, за кулисами, на поддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)...» [II, 444]

Очевидно, что заведующий перепутал, кто куда должен был идти. По мнению редактора, за такое «распределение рецензентов» рассказчика было «убить мало»: «Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше коношенного мальчика!! <...>» [II, 445]

В итоге редактор пришел к выводу, что рассказчик годен только «в редакционные сторожа».

Концепт периодическая печать, а конкретнее — газета, наполняется значением *прибежище людей случайных*, которые в печати не работали, нигде этому не учились, а потому не могут не то что руководить

театральным отделом, но даже и грамотно сделать нужные вырезки из чужих газет. Однако значение рассказанного можно понимать и в другом аспекте. Аверченко своей незамысловатой историей словно бы обращает внимание современников на то, что в газетах для них о симфонической музыке пишут глухие люди, об опере пытаются рассуждать спортивные обозреватели, а о спортивной борьбе — знатоки симфонической музыки. И в этом смысле рассказ Аркадия Аверченко словно бы предвосхищает героя И. Ильфа и Е. Петрова из «Золотого теленка», который до революции был городовым в Киеве, а после революции стал музыкальным критиком.

Развернутый образ представителя вполне определенного типа журналиста дан Аверченко в рассказе «Желтая журналистика»: «Сам он розовый, пиджак на нем серый, галстук красный, а пресса, в которой он работает, желтая.

О себе он говорит всегда искренне и веско:

— Я выколачиваю денежки на бульваре, чтоб его черти побрали!

— На каком бульваре?

— Газетка наша бульварная. Не понимаю, как публика читает такую мерзость...»

Журналист, который признается, что выколачивает «денежки на бульваре», уверен: «... газетку эту, составляют каторжники. Вы не верите? Ей-богу! Любой сотрудник способен на шантаж, воровство, а если вы гарантируете ему безопасность, то и на убийство. Редактор мошенник». На вопрос о том, зачем же он работает в таком неприличном месте, у журналиста есть вполне логичный ответ: «Работа легкая. Пиши о чем хочешь, измышляй что угодно и получай денежки. Ей-Богу!» [III, 395]

Не поверив в то, что в газете, где работает знакомый журналист, можно писать «что угодно», повествователь предложил ему в ближайшем номере написать о том, что он очень любит устриц, и на другой день «к своему удивлению» прочел в газете:

«АНКЕТА

Являются ли устрицы полезным блюдом?

Ввиду свирепствующей теперь эпидемии холеры мы занялись вопросом, не вредны ли в этом смысле устрицы. С этим вопросом мы и обратились к доктору Копытову.

— Видите ли, — сказал симпатичный медик, — в сущности, устрицы являются полезным, питательным блюдом, но, конечно, неумеренное их употребление может привести к нежелательным последствиям.

Спрошенная по этому поводу популярная певица

И. О. Смяткина сказала следующее:

— Не знаю. Я не ем устриц. Несколько раз меня хотели приучить к ним, но, увы, безнадежно.

И. О. засмеялась.

После поездки в Мариенбад И. О. очень поправилась и выглядит прекрасно.

— Ну как за границей? — спросили мы.

Она улыбнулась. — Да ничего.

Третьим, к кому мы обратились с интересовавшим нас вопросом, был редактор сатирического журнала г. Аверченко

— Устрицы! — воскликнул г. Аверченко. — Я очень люблю их. Едва ли они могут быть вредными. Конечно, я говорю о свежих устрицах.

— Ну как цезура?.. Поджигает? — спросили мы редактора.

Он усмехнулся.

— Еще как!» [III, 395–396]

При очередной встрече с журналистом, написавшем об устрицах, повествователь поинтересовался, на самом ли деле тот беседовал с доктором Копытовой и певицей Смяткиной, и получил ответ: «Ребенок! Доктор живет на Васильевском острове, а дача Смяткиной в Новой Деревне. Одни извозчики стоили бы мне два рубля.

— А... как же вы?..

— Да ничего. Сам. Им же лучше. Все-таки реклама. И я свое заработал. Спасибо вам за устрицы. Хотите, еще что-нибудь сделаем?» [III, 396]

По-своему относится представитель желтой прессы и к «истинному происшествию» (речь идет о застрелившемся молодом человеке). Первый вопрос, который задает журналист матери у тела ее застрелившегося сына: «Ну, как поживаете?» Затем он интересуется, оставил ли самоубийца «записочку», застала ли она его агонию, и какой системы был револьвер. Следующие два вопроса еще раз подтверждают, что для этого журналиста любая человеческая трагедия — всего лишь только сенсация и работа: «Да, скажите, гм... вам, конечно, очень жалко покойника?»

— Сына-то?

— Да, да... сына... конечно. Я это понимаю. Ну а скажите: у вас осталось еще немного детей? <...>» [III, 397]

Затем выясняется, что журналисту необходимо в этот же вечер «дать «рецензию» на новую пьесу в театре, где он, не посмотрев ни од-

ного акта, просит повествователя поговорить о пьесе с его знакомым. Подслушав их разговор, журналист отправляется писать рецензию, и на следующий день она была опубликована.

Рассказ наглядно иллюстрирует то, как желтая пресса научилась писать о том, чего не видела и не знает, приписывать героям публикаций слова, которых те не произносили, выдавать чужое мнение за свое, относиться к любому, даже самому трагическому событию, только как к газетному, а лучше всего сенсационному материалу. Такая пресса потребовала и соответствующих журналистов, которые быстро нашлись. Невежество журналиста, работающего в желтой прессе, в сочетании с неспособностью к сочувствию и сопереживанию наполняет концепт пресса в ее желтой разновидности значением *беспринципности* и *беснравственности* и даже *жестокости* в отношении к тем, кто переживает трагедию. Словно бы о таких писал современник Аркадия Аверченко и сотрудник его журнала «Сатирикон» Саша Черный:

С деревянными сердцами,
С отупевшими мозгами...

О том, какой могла быть судьба журналиста, пишущего на политические темы, Аверченко поведал в рассказе «Встреча». В нем публицист Топорков встречается господина, имени которого припомнить не может, не помнит журналист и обстоятельств, при которых они познакомились. А сам встреченный господин знает и Топоркова, и наиболее известных современных публицистов, хорошо осведомлен относительно содержания их наиболее заметных публикаций. Только в конце рассказа выясняется, что встреченный господин — это прокурор окружного суда, и знает он журналистов и их публикации только потому, что выступал в качестве обвинителя, всегда требуя более сурового приговора, в том числе в свое время и для Топоркова. А в вину подсудимым неизменно вменялись их газетные или журнальные выступления.

Рассказ «История болезни Иванова» словно бы подтверждает, что прокурор, который практически всегда требовал для журналистов и газет наиболее сурового приговора, был прав. «Беспартийный житель Петербурга» Иванов однажды почувствовал, что «левее» и произошло это из-за газет. На вопрос жены о том, «с чего же это» у него, Иванов прямо отвечает: «С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету... Смотрю,

а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...» [I, 26]

Болезнь еще недавно беспартийного Иванова прогрессировала, и события следующего утра были тому подтверждением: «... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

— Еще полевел! Что оно будет — не знаю!

— Опять, небось, газету читал, — вскочила жена. — Говори! Читал?

— Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...» [I, 28]

Тесть Иванова предлагает отобрать у него и спрятать газеты, а сам идет в полицию сделать «заявку господину приставу». Пришедший пристав, осмотрев больного, выяснил, что в данный момент тот чувствует себя мирообновленцем¹, а вчера он чувствовал себя октябристом², сегодня «до обеда — правым крылом, а после обеда — левым...»

Вместо газет левеющему Иванову предлагают читать «Робинзона Крузо», но он умудрился прочесть даже те газеты, которыми были на зиму оклеены оконные рамы. Рассказ заканчивается тем, что пристав выписывает еще недавно беспартийному Иванову «проходное свидетельство до Вологодской губернии».

Фантастический сюжет рассказа позволяет автору в сатирической форме показать, что власть считает левизной или левыми взглядами в периодической печати. В первом случае — запрещение губернатором чтения лекции о добывании азота из воздуха, во втором — наложение другим губернатором штрафа на газету, которая указала на очаги холеры. Всего лишь два, на первый взгляд, незначительных эпизода, которые свидетельствуют о том, в каком положении находилась периодическая печать, какие представления власти о левизне ей приходилось преодолевать.

В прозе Аркадия Аверченко газета может выступать в качестве *объекта мистификации*, как, например, в небольшом эпизоде рассказа «Под облаками». В нем повествователь признается в том, что в детстве и юности «наибольшим моим удовольствием было устраивать какую-

¹ Мирнообновленцы — сторонники «Партии мирнообновления», образована в 1906 году.

² Октябристы («Союз 17 октября») — партия крупных помещиков и торгово-промышленников в России. Существовала с 1905 по 1907 гг.

нибудь мистификацию». Одна из них была такой: «У проходившего по улице пьяного я взял из рук газету, перевернул её вверх ногами и уверил беднягу, что вся газета напечатана вверх ногами. Он догнал газетчика и устроил ему страшный скандал, а я чуть не танцевал от удовольствия». [III, 455]

Однако рассказ этот более интересен тем, что в нем есть образ современного журналиста и попытка рассказать о том, что представляет собой журналистская деятельность. Первым у повествователя появляется журналист Семиразбойников, который жалуется на то, что его коллега Попляшихин сделал ему подлость. Семиразбойников собирался «на гребные гонки с целью дать потом отчет строк на двести», а Попляшихин написал ему «подложное письмо» от имени какой-то блондинки, которая якобы просила журналиста быть весь день дома и ждать ее. Пока Семиразбойников напрасно ждал загадочную блондинку у себя дома, Попляшихин «в это время поехал на гонки и написал отчет, за который редактор его похвалил», а Семиразбойникова выругал. Поэтому последний и пришел к рассказчику узнать о том, нет ли у него темы, на которую можно «как-нибудь написать». [III, 456] Повествователь обещал заняться его делом.

Через час в кабинете рассказчика сидел сам Попляшихин, который жалел о том, что «подставил ножку этому дураку Семиразбойникову», потому что теперь редактор считает его «первым спортсменом в мире» и требует, чтобы он взлетел на аэроплане и «дал свои впечатления». Все бы ничего, но журналист панически боится летать. Рассказчик обещает и ему как-то помочь.

Так как Попляшихин был подвержен головокружению, а лететь было необходимо, потому что он «обещал редактору полететь», пилот согласился взять его только с завязанными глазами. Аэроплан покатали немного по полю, журналисту дули в лицо и сорвали с него шапку — это был якобы порыв ветра, поливали водой, имитируя дождь, вымазали лицо грязью — след от попавшей в него птицы. Все было настолько естественно, что в какой-то момент Попляшихин почувствовал, как на большой высоте ему не хватает воздуха. Когда «полет» закончился, один из участников этой мистификации признался Попляшихину, что в какой-то момент присутствующие подумали, что взлетевшие уже не вернутся: так далеко они улетели, «совершенно из глаз скрылись».

Журналист так и не понял, что это была мистификация, поэтому «всякий интересующийся воздухоплаванием мог прочесть на следующий день в газетах:

«Полет журналиста Попляшихина»

Вчера мне удалось достичь того, о чем тысячи людей только мечтают...

Я поднялся на аэроплане. Удивительная вещь: как только я уселся на своё место, в душу закрался жуткий, предательский страх, но стоило только отделиться от земли, как страх исчез и уступил место какому-то странному спокойствию и легкости...

Ветер свистал в ушах, фуражку рвало с головы, но это происходило не со мной, а где-то далеко-далеко. Перед глазами разворачивалась великолепная панорама. Вот внизу, под ногами, какая-то деревушка. Церковь кажется серебряным напёрстком, а люди — жалкими, мизерными клопами.

Мы пролетаем над рекой... Что это, какие-то щепочки? Нет, это лодки. А на них что — лоскутки бумаги? Да ведь это же паруса!

Пилот кричит:

— Пятьсот метров, шестьсот, семьсот!

В ушах шум, дышать затруднительно, я прошу спуститься.

Несколько минут молчания, сильный толчок, больно отразившийся в голове, — и мы снова на земле, среди восторженно приветствовавших нас друзей...

И кажется, будто это был сон! будто греза о невозможном, несбыточном. Но нет — это не сон! Щека болит от удара крылом налетевшей птицы, и мокрое от дождя платье липнет к телу. А сердце неумолчно стучит:

«Свершилось — воздух завоеван». [III, 459—460]

Приведенный отчет Попляшихина о том, как он «летал» на аэроплане, свидетельствует о вполне сформированных профессиональных способностях журналиста, который, ничего не увидев, так как был с завязанными глазами, может поведать о «спокойствии и легкости», которые испытал в полете. Может передать впечатление от развернувшейся великолепной панорамы, от вида сверху церкви (наперстка), людей (жалких, мизерных клопов), лодок и парусов (щепочки и лоскутки бумаги). Есть в его отчете и восторг приветствовавших друзей, и боль щеки «от удара налетевшей птицы», «и мокрое от дождя платье». Однако на этом рассказ не заканчивается: «Статья Попляшихина появилась в газете 12-го числа. А 13-го в другой газете, конкурирующей с попляшихинской, появилось подробное описание всех стадий полета Попляшихина, иллюстрированное фотографическими снимками.

На снимках ясно было видно — какой дождь мочил Попляшихина, какая птица задела его крылом и какой ветер сорвал с него фуражку.

Все боялись, что Попляшихин повесится. Но он только запил». [III, 60]

В этой незамысловатой истории с мистификацией полета на аэроплане выразительно представлена одна из особенностей современной прессы, которая может рассказывать о происходящем «с завязанными глазами», может передавать впечатления, которые являются результатом хорошо продуманного розыгрыша. С другой стороны, эта история есть иллюстрация тех отношений, в которых могли находиться конкурирующие издания и журналисты.

Судьба российского журналиста представлялась Аверченко незавидной — он был обречен на то, что печать обязательно заберет у него все жизненные силы, а в конечном итоге — просто съест. В сказочке «Конец журналиста» использован сюжет Колобка: сначала журналиста хотела съесть женщина, затем Брешко-Брешковский, граммофон, олеография с картины Юлия Клевера. Встреча журналиста с газетой, на которую он наткнулся, убегая от олеографии, начинается с упрека: «Чего рассказался? — усмехается газета. — Дело бы лучше делал, чем козлом сказать...» [IV, 81]

На вопрос журналиста о том, какое дело ему делать, газета отвечает: «А вот пиши, ... что в Думе толку нет, что октябристы иезуитствуют, а реформ не дают, что черносотенцы обнаглели, что евреи такие же люди, как и другие, что у нас бюрократический режим и что реакция снова поднимает голову...» [IV, 81]

Перечисляемые газетой темы актуальны и принципиально важны для эпохи, но они же и самые опасные. Севший писать на эти темы журналист, делался все меньше и меньше: «... Наконец сделался величиной с маковое зерно, а на самый конец пискнул — и вовсе исчез.

Приходил народ, заинтересовался.

— Кто пищал?

— Журналист. Газета тут журналиста слопала». [IV, 81]

Журналист не просто исчез, в самом конце он еще и «пискнул», словно бы так воспринимает голос журналиста современное ему общество.

Проза Аркадия Аверченко периода эмиграции представляет собой интересное свидетельство тому, как россиянин, оказавшийся за пределами Родины, стал понимать прессу, что нового появилось в этом понимании.

Россияне, которые отправляются в эмиграцию, вывозят туда и свои представления о том, что такое периодическая печать. В рассказе «Ар-

гонавты и золотое руно» повествователь встречает на пароходе, идущем в Константинополь, трех пассажиров, движение которых вместе напоминало журавлиный треугольник. Один из них интересуется, чем рассказчик собирается заниматься в Константинополе, и дает ему совет «заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком». Сами встреченные попутчики уже выработали каждый для себя по плану, и один из них собирается издавать газету, и даже не одну: «Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще Константинополь — золотое дно!»¹

В восприятии героя, собирающегося издавать газету в Константинополе, она является надежным источником средств существования даже за границей, главное — «захватить рынок», тем более, что сам Константинополь в этом отношении — «золотое дно». Через какое-то время, встретив в Константинополе одного из трех приятелей, который, как и обещал открыл ресторан, рассказчик интересуется у него относительно того, который хотел издавать газету и получает ответ: «А черт их знает. Я восьмой день дома не был — так что мне газета! На нос мне ее, что ли?» [II, 59]

У читателя сразу же возникает подозрение, что газета на русском языке в Константинополе не очень нужна даже своим бывшим соотечественникам. Через некоторое время рассказчик встретил и того самого, кто намеревался издавать газету: «Шёл я однажды вечером по Пти-Шан.

Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

— Интер-р-есная газета «Пресс дю суар»!² Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

— Что же это вы чужую газету продаёте, — участливо спросил я. — А своя где?

— Дело, это... налаживается, — нерешительно промямлил он. — Ещё месяц, два и этого... С разрешением дьявольски трудно!..» [II, 60]

¹ Аверченко А.Т. Аргонавты и золотое руно // Аверченко А.Т. Соч. в 2 т. Т. 2. М., «Лаком» 1999. С. 57. Далее произведения А.Т. Аверченко цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

² «Вечерняя Пресса» (франц.).

Оказалось, что издание газеты в чужой стране — дело не такое простое, как оно в свое время представлялось, поэтому издательская деятельность пока ограничилась лишь «изданием воплей». Такой получился у рассказчика грустный каламбур. Через месяц рассказчик снова видел, как «по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

— «Пресс дю суар»!

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Наверно, скоро разрешится <...>» [II, 61]

Рассказчик не увидел в ответе несостоявшегося издателя газеты уверенности. Так газета в условиях эмиграции перестала быть тем надежным источником доходов, каким она виделась и была в России. Хотя продает несостоявшийся издатель газету, сотрудником которой был Аркадий Аверченко. «Пресс дю Суар» — ежедневная политическая и финансовая газета, выходившая в Константинополе с 1920 по 1925 год. Она оказалась самым долговечным из русских периодических изданий и пользовалась большой популярностью.

«Интересная газета» возникает и в рассказе «Город Чудес» (1919), в котором она становится одной из примет, признаков ушедшего времени. Предлагая русскому человеку побывать в Городе Чудес, американская компания учла все, даже предрасположенность этого человека к чтению газет определенного характера, его привычку слышать голоса мальчишек — уличных продавцов газет: «По улице — мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:

— Ин-те-рресная газеты: «Новое время», «Русское Слово», «Речь»!! «Биржёвка»!!

— Постой, постой! За какое число «Новое Время»?

— Ясно — за сегодняшнее». [I, 119]

Уличный продавец предлагает популярные газеты, выходившие в России до 1917 года. Это «Новое Время» — ежедневная петербургская политическая и литературная газета, уже упоминавшаяся в связи с рассказом «Кто ее продал», издателем которой с 1876 по 1912 год был А.С. Суворин. «Русское Слово» (1894–1917) И.Д. Сытина (с 1897) — литературная и политическая газета либерального направления. «Биржевкой» называли газету «Биржевые ведомости» (1886–1917), которая освещала не только проблемы экономики, но и обращалась к вопросам политики, литературы и искусства.

Старое доброе время 1908 года хорошо еще и тем, что «Биржевые ведомости» стоят всего две копейки, за «Новое время» надо отдать все-

го пять. В «Новом Времени» герой и обнаружил статью Меншикова Михаила Осиповича (1859–1918) — известного публициста, постоянного сотрудника этой газеты, а также либеральной газеты «Неделя», который выступал против деятельности Государственной думы и инородцев. Герой не может удержаться от того, чтобы прочитать отрывок из его статьи, которая в свое время могла показаться неумной и анти-семитской, а теперь вызывает приятное ощущение ушедшего времени: «Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Еврейская левая пресса, которая спит и видит — поднять в России революцию...» [I, 119]

Читатель же, в свою очередь, получает возможность убедиться в том, о чем и как писали газеты в 1908 году, какие события в стране и при дворе были предметом их публикаций. Из раздела «хроника» приятели узнали: «Его Величеству Государю Императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить:

«Рад слышать, что тамбовския дворянския традиции остались неизменны». — «Увольняется в полугодовой отпуск д. с. с. Криворучко» — «Орденом Станислава 3-й ст. Награждается старший советник градоначаль...» [I, 119–120]

На своем привычном месте оказался в одной из газет и фельетон Виктора Петровича Буренина (1841–1926), который, как и положено, ругает поэта Валерия Брюсова.

Буквально мельком просмотрев опубликованное в двух газетах, один из героев ностальгически восклицает: «А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!...» [I, 120]

Обращение к газете, с одной стороны, представляет ее в качестве одного из выразительных и психологически очень ценных *средств сохранения памяти* об ушедшем времени. С другой стороны, такое обращение дает возможность писателю представить то, какой в первое десятилетие XX века была российская пресса, какие темы и в какой стилистике, в какой тональности она поднимала.

В романе «Шутка Мецената» (1923) Аркадий Аверченко снова возвращается к тому времени, когда жизнь в России, в ее столице Петербурге была гармонично-беззаботной, когда в этой жизни особое место занимала литературная богема. Такое «возвращение», на первый взгляд, лишает роман злободневности, столь характерной для прозы писателя периода эмиграции, характерной, к примеру, для книг «Записки Простодушного» или «Дюжина ножей в спину революции». Од-

нако описание дореволюционной жизни столичной богемы, так или иначе, приводит читателя к сравнению ее с тем, в каком положении оказалась духовная жизнь России после Октября 1917.

Компания, окружающая Мецената, богатого скучающего человека, — это и есть литературная богема. Два ее участника имеют непосредственное отношение к прессе: способный журналист, но при этом неудачник Мотылек, и газетный репортер Кузя. В главе, рассказывающей о том, как «Меценат и его клеветы продолжают развлекаться», писатель возвращается к мысли о том, как пресса может сделать знаменитостью любого человека: «Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет.

— Вот, друзья, какова сила печати! Не только Куколку — берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать.

— А что?

— Вот! Заметка первая — в «Столичном Утре». «На днях в роскошном особняке известного Мецената и покровителя искусств (это я вам так польстил, Меценат) в присутствии избранной литературно-артистической публики (Мотылек, цени, это я о тебе так!) впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление...» [I I, 257]

О характере журналистского дарования Кузи свидетельствует всего лишь одна деталь: «произведений, произведших». Окружающими замечка была встречена одобрительным смехом. Затем Кузя прочитал заметку из второй газеты: «...Вот литературная хроника «Новостей дня»: «<...> В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды — поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепке стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта». [II, 257–258]

Услышанное получило выразительную оценку: «Ай да старушка в избушке верхом на пушке! — воскликнул Мотылек, злорадно приплясывая. — Смеху теперь будет на весь Петербург». [II, 258] Образное про «старушку верхом на пушке» в устах одного из героев определяет ситуацию как абсурдную для людей, знающих поэтов Мея и Майкова, которых новоявленный талант Шелковников скоро оставит «далеко позади себя». Ничего, кроме смеха, такое утверждение для знатоков русской поэзии вызвать не может.

Однако это было еще не все: «И, наконец, последняя заметка, — самодовольно улыбаясь, сказал Кузя. — «Нам сообщают, что Академией наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведения которого наделали столько шуму». Все!!» [II, 258]

Кто-то из присутствующих интересуется тем, «как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?» и получает вполне резонный ответ: «Э, что такое редакторы, — цинично рассмеялся Кузя. — Они по горло сидят в большой политике, и их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства...» Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул, в чужих — приятелей из репортеров подговорил... Сейчас у «Давыдки»¹ стон стоит от хохоту. Там уже балладу сложили насчет скрипучей старушки, признаться, очень неприличную». [II, 258]

Напечатанное в газете о поэте Шековникове (Куколке) воспринимается как откровенная галиматья, но газеты готовы ее перепечатывать, потому что «они по горло сидят в большой политике», а «интересы родного искусства» их не волнуют и, как следствие, они в них не разбираются. По мнению окружающих, опасность таких публикаций состоит в том, что Куколка «по своей глупости все это всерьез примет».

Кузя раскрывает и механизм создания знаменитостей с помощью периодической печати: главное уметь вовремя «подсунуть» заметочку в свою газету и подговорить приятелей в чужих, чтобы те тоже опубликовали нужную информацию.

Концепт газета выступает в данном случае снова как самое надежное *средство создания литературных знаменитостей*.

Вскоре то обстоятельство, что имя Шелковникова часто появлялось на страницах газет, которые сделали его литературной знаменитостью, помогло ему занять место секретаря в редакции одной из них. Редактор, который придерживался принципа «избирать себе помощников только среди людей хорошо» ему известных, как только узнал, что перед ним — «тот самый поэт Шелковников, о котором последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее». [II, 281–282] Редактор, вопреки своему принципу, принял Шелковникова на работу и даже согласился с условием напечатать стихи его приятеля под названием «Тайна жемчужной устрицы».

Газеты в романе Аверченко могут выступать в качестве детали, свидетельствующей о соответствующей, к примеру, богемно-будуарной

¹ Модный ресторан в Санкт-Петербурге.

обстановке. На замечание Новаковича о том, что в гостиной Мецената царит беспорядок и надо бы приказать слугам прибрать, последний отвечает: «Ну, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте.

— Именно что. Например, эта *пачка старых газет* на ковре около оттоманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа — все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид! ...» [II, 286]

Таковы основные аспекты, которые составляют содержание концепта средства массовой информации в прозе Аркадия Аверченко.

Саша Черный
(Александр Михайлович Гликберг)
1885–1932

Творчество Саши Черного невозможно представить без концептуального видения средств массовой информации и тех, кто в них работает.

Будучи хорошо осведомленным о характере и мотивах поведения своих соотечественников и особенно столичных горожан, Саша Черного знал, что значительной частью рядовых петербуржцев газеты понимались как *источник культуры*. Его герой из стихотворения «Отъезд петербуржца» (1909), собирающийся «на лето удирать на юг», должен перед отъездом сделать многое, в том числе:

Надо подписаться завтра *на газеты*,
Чтобы от культуры нашей не отстать...¹

В поведении отъезжающего петербуржца наблюдается явная алогичность. Зачем подписываться на газеты, если ты собрался «на лето удирать на юг», а потому читать их не сможешь? Возможно, герой стихотворения собирается подписаться на газеты, скорее по привычке, нежели по необходимости. Хотя лирический герой Саши Черного, если судить по стихотворению «**Все в штанах скроенных одинаково...**» 1908 года, считает по-другому. Одной из побудительных причин его желания уйти «в лес», «к озерам и девственным елям» является то, что «там не будет *газетных статей и отчетов*». [I, 50] Развивает тему «**Послание первое**» (сборник «Сатиры», 1910), в котором лирический герой признается:

Семь дней валяюсь на траве
Средь бледных незабудок,

¹ Черный С. Отъезд петербуржца // Черный С. Собр. соч.: в 5 т. Т. I: Сатиры и лирика. Стихотворения. 1905–1916. — М.: Эллис Лак, 1996. С. 48. Далее произведения Саши Черного цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

Уснули мысли в голове
И чуть ворчит желудок.

Уснувшие в голове мысли — это следствие того, что лирический герой остался без петербургских новостей, которые приходят с газетами. Однако привычка столичного жителя быть в курсе газетных новостей не дает ему покоя и там, где от них можно отдохнуть:

Лежу, как лошадь на траве, —
Забыл о мире бренном,
Но кто-то поет в голове:
Будь злым и современным... <...> [I, 132]

Быть «злым и современным» — это значит быть в курсе новостей, которые приносят газеты. Такое стремление, следствием которого стала привычка регулярно читать газеты, дает возможность поэту рассказать о том, что, в первую очередь, в описываемую эпоху становилось содержанием газетных публикаций:

Семь дней *газет* я не читал...
Скажите, дорогие,
Кто в Думе выкинул скандал,
Спасая честь России?

Народу школа не дана ль
За этот срок недельный?
Не получил ли пост Лидваль,
И как вопрос земельный?

Ах да — не вышли ль, наконец,
Все левые из Думы?
Не утомился ль Шварц-делец?
А турки?.. Не в Батуме? <...>

На первом месте оказываются *скандалы в Думе*, которые устраивали, в первую очередь, те, кто спасал «честь России». В 1908 году российская интеллигенция активно обсуждала *закон о всеобщем начальном образовании*. Среди возможных героев новостей упоминается Э.-Л. Лидваль, подданный Швеции, коммерсант, прославившийся махинациями с поставкой зерна в голодающие губернии в 1906 году, что вы-

звало судебные разбирательства. А «вопрос земельный» — это, можно сказать, *вечный вопрос* российской истории. Привыкший к газетным новостям лирический герой ждет сообщений *о положении левых в Думе и о поведении Шварца-дельца* (такое прозвище имел нередко прибегавший к непарламентским выражениям и оскорблениям депутат Н.Е. Марков). Лирического героя волнует вопрос *о турках в Батуми*. Это связано с тем, что в 1907–1908 годах в прессу неоднократно проникали слухи о захвате турками города Батуми, который был присоединен к России только в 1878 году.

Главное заключается в том, что в оппозиции *газеты — природа* последняя проигрывает: лирический герой не смог за недельный срок отвыкнуть от того, чтобы не быть в курсе событий, о которых сообщают газеты. Если нет возможности самому читать газеты, то друзья просто обязаны заменить этот источник информации своими письмами. Однако примечательно и другое: «вставать с травы» и возвращаться в мир сегодняшних новостей лирическому герою Саши Черного «горько». Более того, такую вроде бы желанную для него злобу дня он все равно называет «презренной»:

Пишите ж, милые, скорей!
Условия суровы:
Ведь правый думский брадобрей
Скандал устроит новый.

Тогда, увы, и я, и вы
Не будем современны.
Ах, горько мне вставать с травы
Для злобы дня презренной!

Концепт газета, таким образом, наполняется содержанием *презренная злоба дня*.

Оппозицией газете выступает природа и в стихотворении «Почти перед домом...» (1909), в котором лирический герой уходит «к покато́й и тихой вершине»:

<...> Добрался с одышкой,
Уселся на высшую точку,
Газета под мышкой —
Не знаю, — прочту ли хоть строчку. [I, 282]

Сомнения лирического героя вызваны тем, что вокруг — «крапива, фиалки и белые кашки», а в небе плывут облака — «золотые барашки», и «румяное солнце играет».

В стихотворении «**Степное башкирское солнце...**» (1909) из цикла «**Кумысные вирши**» снова возникает противопоставление природы и газеты. Оказавшись в раздолье башкирской степи, лирический герой ощутил, что зависит «душою и телом» от простых впечатлений окружающей жизни, от ее простой, но выразительной красоты:

<...> От сих впечатлений завишу.
Завишу душою и телом —
Ни книг, *ни газет*, ни людей!
Одним лишь терпеньем и делом
Спасаясь от мрачных идей...

Источником или причиной «мрачных идей», наряду с книгами и людьми, являются газеты, отсутствие которых спасает от этих «мрачных идей», от пустопорожних и грустных размышлений. Природа, таким образом, выступает в качестве средства спасения от «мрачных идей», а концепт газета, наоборот, наполняется содержанием *причина и источник мрачных идей*.

Зато лирический герой стихотворения «**Диета**» (1910), как и «отъезжающий петербуржец», тоже считает, что

Каждый месяц к сроку надо
Подписаться на газеты.

И у него есть свое объяснение такой необходимости:

В них подробные ответы
На любую немощь стада.
Боговздорец иль политик,
Радикал иль черный рак,
Гениальный иль дурак,
Оптимист иль кислый нытик —
На газетной простыне
Все найдут свое вполне.

Концепт газета предстает в стихотворении как пространство (белая простыня), *открытое абсолютно для всех*: боговздорцев, политиков, ра-

дикалов и даже крайних из них (*черный рак* — прозвище крайне правых, черносотенцев). Открытое для людей самых разных умственных и интеллектуальных способностей («гениальный иль дурак»), разного мировосприятия («оптимист иль кислый нытик»). Однако дальнейшее поведение лирического героя, который считает, что необходимо ежемесячно подписываться на газеты, лишено логики, потому что он признается:

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Я с улыбкой благодатной,
Бандероли не вскрывая,
Аккуратно, не читая,
Их бросаю за буфет.

Проделав «эту пробу» целый месяц, лирический герой увидел принципиально важные изменения в своем поведении:

... Оживаю!
Потерял слепую злобу,
Сам себя не истязая;
Появился аппетит,
Даже мысли появились...
Снова щеки округлились...
И печенка не болит.

В видении лирического героя Саши Черного газеты выступают в качестве источника злобы, самоистязания и потери аппетита для тех, кто их читает. Такое чтение мешает появлению собственных мыслей и, словно алкоголь, ведет к болезни печени. Проделав такой опыт с собой, лирический герой стихотворения «Диета» предлагает его в качестве средства всем «в безвозмездное владенье»:

... Всем, кто чахнет без просвета
Над унылым отраженьем
Жизни мерзкой и гнилой,
Дикой, глупой, скучной, злой... [I, 56–57]

Мы назвали поведение лирического героя этого стихотворения лишенным логики, потому что, если в невскрытой бандероли «листы га-

зет» каждый день оказываются за буфетом, то зачем каждый месяц на них надо подписываться.

Еще один принципиально важный аспект концепта газета, который демонстрирует данное стихотворение, заключается в том, что газеты, получается, не сами виноваты в том, что у кого-то вызывают злобу и самоистязания, у кого-то из-за них пропадает аппетит и даже болит печенка. Газеты выступают только «унылым отражением» мерзкой, гнилой, дикой, глупой, скучной и злой жизни, то есть в качестве одного из главных составляющих содержание концепта газета.

Такое наполнение концепта газета встречается в поэзии Саши Черного неоднократно. Стихотворение «Зеркало» (1908), посвященное читателям газет, уже своим названием создает конфликтное ожидание, по которому читающий газеты подобен тому, кто смотрит на себя в зеркало. И газета, и ее читатель с первых строк не вызывают симпатий, потому что «друг-читатель», «как акула, отвратительно зевает... над скучнейшею газетой». Скука, которую вызывает газета у современного читателя, не мешает тому, что она стала его постоянным спутником, неизменным атрибутом жизни:

... Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах и в экспрессе,
И в отдельном кабинете. [I, 54]

Всего лишь один глагол «жует» в сочетании с перечислением пространственных единиц, в которых читатель этим занимается (трамвай, дом, баня, служба, ресторан, экспресс), представляет чтение газеты как процесс длительный, похожий на пережевывание чего-то, что трудно пережевывается. Есть в стихотворении Саши Черного и упоминание о том, чему чаще всего посвящены газетные полосы: российский читатель каждый день с утра знает о том, «С кем обедал Франц-Иосиф / И какую глупость в Думе / Толстый Бобринский сморозил...» Однако, в представлении лирического героя этого стихотворения, газеты и их авторы различаются в своем воздействии на читателя, поэтому последний «глупеет и умнеет»:

Если автор глуп — глупеет,
Если умница — умнеет.

В привычку читателя вошло ругать «современные газеты», противопоставляя при этом российские тем, которые издаются в Европе, к примеру, в Испании, хотя сам он «силен в испанском, / Как испанская ко-рова». И на это у лирического героя Саши Черного есть свой совет:

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь — в нем зловеще меркнет
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель,
Современные газеты... [I, 54—55]

Хмурое и безликое, в котором мало мысли, смеха и сердца — это и есть сам читатель, напрасно ругающий современные газеты, которые являются лишь отражением его самого. Однако постоянное общение только с этим «отражением» опасно далеко идущими последствиями, при всем том, что это «отражение» знакомит читателя с очень многим:

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
- И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком <...> [I, 188]
«Читатель», 1911

Предлагаемое современному читателю средствами массовой информации здесь названо «газетно-журнальным песком», которого стало так много, что на другое чтение времени просто не остается:

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия,
А поэт, говорят, золотой.

Да еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации...
А Платон, а Вольтер... а Толстой?

Утешение читатель Саши Черного находит лишь в одном: когда он в клубе пристал к своим приятелям, таким же как и он, «чрезвычайно усердным читателям», с вопросом о том, кто из них читал «Ювенала, Вергилия», то оказалось — «никто не читал». Читатель, от имени которого написано стихотворение, признается:

<...> Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознание сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней! [I, 188]

Периодическая печать в данном случае выступает в качестве оппозиции классической литературе. Предлагаемое этой печатью для чтения названо «трухой», что наполняет концепт средства массовой информации значением *ветхости*, *рыхлости* и *недолговечности*. Кроме того, «газетно-журнальный песок» выступает в качестве одной из принципиально важных составляющих суеты «пестреньких дней».

При этом опыт общения Саши Черного с редакторами и издателями газет и журналов свидетельствовал о том, что последние подходят к предлагаемому для публикации материалу избирательно. В окружающей действительности есть то, что, по их мнению, достойно попасть на газетные полосы, и то, чего на них не должно быть. К примеру, стихотворение «Традиции» (1909), написанное в виде советов желающим быть опубликованными в газете или журнале, так представляет эту «избирательность»:

Не носи сатир в газеты,
Как товар разносит фактор.
Выйдет толстенький редактор,
Сногшибательно одетый,
Скажет: «Нам нужны куплеты
В виде хроники с гарниром.
Марков выругал Гучкова,
А у вас о сем ни слова?!
Где ж сатира? В чем сатира?
Извините... Нет, не надо».

Взглянет с важностью банкира
И махнет рукой с досадой <...> [I, 100]

Газеты предпочитают публиковать хронику происходящих событий «с гарниром». «Хроника с гарниром» — это перебранка между депутатами Думы Н.Е. Марковым, лидером крайне правых, одним из руководителей «Союза русского народа» и А.И. Гучковым, лидером партии октябристов, председателем 3-й Думы. Поэт не советует носить сатиры и в те журналы, где, наоборот, требуются «строчки с благородным содержанием».

Положение самих издателей, от которых зависит, что будет опубликовано на газетно-журнальных полосах, тем не менее, в представлении лирического героя Саши Черного, лишено гармонии. Об этом, к примеру, свидетельствуют строки из программного для поэта стихотворения «Молитва» (1908):

Благодарю Тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и *не издатель*
И не сию еще в тюрьме <...> [I, 124]

Положение современного издателя, с одной стороны, приравнено к положению депутата, и это еще куда ни шло, хотя никакой симпатии звание «депутат» у Саши Черного никогда не вызывало. А с другой, к положению человека, сидящего в тюрьме, то есть несвободного, ограниченного в своих действиях.

В стихах Саши Черного издатель может присутствовать не только как конкретное лицо, но и в качестве некоего коллектива единомышленников, который представляет лицо газеты, вырабатывает ее направление и идеологию. В стихотворении «Во имя чего?» (1911), написанном в виде ряда вопросов, которые, по большей части, выглядят как риторические, лирический герой пытается выяснить для себя, почему обязательно надо кричать «рад стараться»? И «во имя чего заливают помоями правду и свет?» Но главное заключается в том, что лирическому герою, живущему в условиях современной России, захотелось «проверить», считать ему себя холопом, «иль сыном великой страны».

<...> *Чины из газеты «Россия»,*
Прошу вас, молю вас — скажите
(Надеюсь, что вы не глухие),
Во имя, во имя чего?! [I, 193]

«Россия» — официозная газета, которая была учреждена по негласному распоряжению председателя Совета Министров П.А. Столыпина (1862—1911) под видом «частного» правительственного издания. Ради завоевания доверия читательской аудитории истинное лицо газеты скрывалось, хотя все грамотные люди знали, что газета «Россия» — это правительственный орган, который содержится за счет правительства и секретных фондов. Последнее давало возможность распространять газету по минимальной подписной цене и даже с даровой (бесплатной) рассылкой с целью внедрения в массы намерений правительства по вопросам текущей государственной жизни страны. Именно поэтому вопросы о том, что и во имя чего утверждается в его стране, лирический герой обращает к чинам из газеты «Россия».

Саша Черный умеет создавать буквально несколькими штрихами запоминающиеся образы тех, кто по роду своей деятельности напрямую связан с периодической печатью. В стихотворении «На славном мосту» (1908) — это образ фельетониста провинциальной газеты:

<...> Фельетонист взъерошенный
Засунул в рот перо.
На нем халат изношенный
И шляпа болеро...

Чем в следующем номере
Заполнить сотню строк?
Зимою жизнь в Житомире
Сонлива, как сурок. [I, 146]

Жизнь провинциального фельетониста напрямую зависит от жизни, которая «сонлива, как сурок». Отсюда — и взъерошенный вид, и «халат изношенный», и зимою — «шляпа болеро». Еще более неприглядной предстает жизнь самой провинциальной газеты, которая названа в стихотворении «инвалидом» и может лишь иногда развеселить своими опечатками:

Живет перепечатками
Газета-инвалид
И только опечатками
Порой развеселит. [I, 146]

Концепт газета в провинциальном варианте наполняется значениями *вторичности* («живет перепечатками»), *неполноценности* («инва-

лид») и скуки. И дело не только в сонливой жизни провинциального города: даже если и есть интересные темы, газета не свободна в обращении к ним. Ее «инвалидность», жизнь «перепечатками» и скука имеют другую причину:

Не трогай полицмейстера,
Духовных и крестьян,
Чиновников, брандмейстера,
Торговцев и дворян,

Султана, предводителя,
Толстого и Руссо,
Адама-прародителя
И даже Клемансо...

Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости -
Парад и мордобой! [I, 146]

Если судить по перечислению тех, кого запрещено трогать, разумеется, мы имеем дело с художественным преувеличением, для провинциальной газеты открытых для обращения сословий и личностей не осталось и круг новостей предельно ограничен. Стихотворение выразительно воспроизводит опыт работы самого Саши Черного в житомирской газете «Волинский вестник». Именно там будущий поэт-сатирик познал традиции и нравы, царящие в провинциальной прессе, почувствовал весь драматизм ее существования в условиях запретов, ограничений и отсутствия новостей, когда у журналиста просто нет выбора:

Фельетонист взъерошенный
Терзает болеро:
Парад — сюжет изношенный,
А мордобой — старо! [I, 146]

Эмиграция в значительной степени меняет содержание концепта средства массовой информации в поэзии Саши Черного. Одним из наиболее показательных примеров тому является стихотворение «Газета» (1928). В нем психологически убедительно передается состояние человека, оказавшегося вне Родины:

<...> Без земли и без границ
Мы живем в юдоли этой
Вроде странствующих птиц
С ежедневной газетой... [II, 149]

Ежедневная газета воспринимается как единственное, что осталось от Родины у тех, кто сегодня живет «без земли и без границ», «в юдоли» эмиграции. По всей вероятности, Саша Черный имел в виду самую популярную газету русского зарубежья — «Последние новости», которая выходила в Париже с 1920 по 1940 год под редакцией П.Н. Милюкова. Газета была едва ли не единственным периодическим изданием эмиграции, которое существовало на самоокупаемости, чему, естественно, способствовала ее необычайная популярность. Газета распространялась не только во Франции, но и в Швейцарии, Австрии, Болгарии, Югославии, Турции, Великобритании, Испании, Алжире, Соединенных Штатах Америки...

Читающий русскую ежедневную газету какой-нибудь эмигрант Петр Ильич ведет себя, по мнению поэта, «как «влюбленный гимназист», который, забыв умыться и побриться, ежедневно погружает свои ланиты «в шуршащий лист», потому что

<...> Без газетных русских строк
Петр Ильич, как гусь без речки:
Каждый день к нему под дверь
Проникают без отмычки
Голоса надежд, потерь —
Эхо русской переклички... [II, 149]

Чтение русской газеты для того, кто живет вне Родины, «как гусь без речки», наполнено *надеждами* и *потерями*, для него — это *перекличка* с такими же, как и он, в прошлом россиянами, а теперь живущими в разных концах света. Читающие ежедневную русскую газету на чужбине, независимо от того, кто они: врач, шофер, «адвокат ли из Рязани», «вологодский ли актер», или «настройщик из Казани», словно бы ищут «русский мак в овсе». Они надеются, что на газетных полосах каждого ждет услада. Содержание концепта газета, в котором уже есть надежды и потери, есть видение газеты как переклички тех, кто оказался вне Родины, дополняется таким значением, как *услада*, пусть в самой малой степени, но все-таки услада эмигрантской души.

Поэт предлагает представить, что будет,

... Если завтра под порогом
Не газету сунут в дверь,
А один лишь лист с налогом. [II, 150]

Картина получается удручающая, потому что лишенный своей ежедневной газеты эмигрант, «как вурдалак», будет «грызть жену и сына», и ему не смогут помочь «ни табак», «ни флакон бенедиктина». А потому поэт призывает «читателя-брата», если и придирается к газете, то «не очень», пожалуй и так ежедневно замороченного журналиста, который пишет в этой газете:

<...> Пусть бурлит российский спор,
Пусть порою не без драки,
Но пока есть свой костер, —
Искры светятся во мраке. [II, 150]

Газета — это едва ли не единственный «свой костер» во мраке эмигрантской жизни, искры которого дают надежду на лучшее будущее. Возможно, что эти надежды традиционно для русской культуры связаны с тем, что «из искры возгорится пламя». Ведь к 1928 году эта идея уже однажды была материализована в октябре 1917 года.

Другие газеты, издававшиеся в эмиграции, тоже нередко становились предметом поэтических размышлений Саши Черного. Так, в стихотворении 1926 года «**Иллюстрированной России**», написанном «по случаю двухлетнего юбилея» еженедельника, в связи с его содержанием, поэт заметил:

<...> Даже старцы Петр и Павел
По шаблонам европейским
Завели *отдел в газетах*
С содержанием злодейским...
«Тайны замков» и «Вампиры»
Помогли решить проблему,
Как связать тираж с идеей... [II, 167]

Петр и Павел — это редакторы двух ведущих и соперничавших между собой газет «русского» Парижа — Петр Струве («Возрождение») и Павел Милюков («Последние новости»). Издаваемые в Париже русские газеты вынуждены жить «по шаблонам европейским», вынуждены

были заводить отделы «с содержанием злодейским», которых не знала российская пресса. Однако в условиях эмиграции, для того чтобы выжить, издатели постоянно искали решение проблемы, «как связать тираж с идеей». Одним из решений и стало появление таких отделов.

Однако главный интерес это стихотворение представляет тем, как в нем отразилось концептуальное видение еженедельного иллюстрированного журнала русской эмиграции. Поэт сравнивает «Иллюстрированную Россию» с Ноевым ковчегом, в котором все можно найти:

<...> Словно в Ноевом ковчеге,
Все в журнале вы найдете:
Двухголового верблюда,
Шляпку модную для тети,
Уголовную новеллу
В двести двадцать литров крови
И научную страничку —
«Как выращивают брови»... [II, 167]

Сравнение с Ноевым ковчегом переносит мифологический смысл истории о Всемирном потопе на то, что произошло в XX веке в России и наполняет концепт журнал значением *спасение российской цивилизации*. Поэтому, явно иронизируя над общим содержанием еженедельника, поэт желает ему только расти в той пустыне эмиграции, в которой сегодня оказалось русское общество и, в первую очередь, творческая интеллигенция:

<...> Но зато еженедельник,
Рядом с модой и верблюдом,
На десерт вас угощает
И другим отборным блюдом:
То бряцаньем звонкой лиры,
То изысканною прозой —
В огороде эмигрантском
Лук растёт бок о бок с прозой...
Пусть растёт! В пустыне нашей
Дорог каждый нам оазис, —
Да и розу удобряет
Основной тиражный базис. [II, 167]

Иллюстрированный журнал наполняется содержанием *оазиса*, в котором путники, идущие по пустыне, могут найти тень от палящего

солнца, воду для утоления жажды (не случайно, видимо, одна из книг Саши Черного, вышедшая в Берлине в 1923 году, называется «Жажда») и отдохнуть. Поэтому, обращаясь к «Иллюстрированной России», поэт призывает:

<...> Размножайся от Парижа
До пролива Лаперуза...
И ввиду паденья франка,
Будь внимательнее к Музам! [II, 168]

Если в предыдущей цитате поэт желал журналу «расти», то в финале стихотворения присутствует призыв «размножайся». Оба глагола являются свидетельством того, что поэт видит журнал *как живой организм*, способный и к росту, и к «размножению». Другое дело, что есть в последнем пожелании определенная доля идеализма — между Парижем и проливом Лаперуза, соединяющим Охотское море с Японским, находится Советская Россия. И «размножение», которого желает поэт журналу, по суше, то есть в пространстве покинутой Родины, невозможно и может проходить только через океан.

Творчество Саши Черного периода эмиграции иным представляет и образ журналиста, работающего в периодической печати русского зарубежья. Показательно, что «некрасовский вопрос» в поэме **«Кому в эмиграции жить хорошо»** (1931) явился — «выплыл из угла» — именно газетчикам, когда

<...> Сошлись за круглым столиком
Черные закройщики,
Три журналиста старые —
Козлов, Попов и Львов... [II, 393]

«Чернильные закройщики» задались вопросом, смогут ли они найти в эмиграции «не то чтобы счастливого, / Но бодрого и цепкого / Живого земляка?» Само намерение выяснить, «кому в эмиграции жить хорошо», дает возможность рассказать о том, каким должен быть, как должен работать современный газетчик, не обязательно живущий в эмиграции. Журналист Козлов представляет собственную профессию как способность все «прощупать», повторить некрасовский путь, вникнуть в быт, поднявшись над партийными интересами, симпатиями и антипатиями:

«<...> На то мы и газетчики, —
Давайте-ка прощупаем
Все пульсы, так сказать...
Пойдем в часы свободные
По шпалам по некрасовским,
По внепартийной линии,
По рельсам бытовым...» [II, 394]

Его мысль развивает журналист Попов, согласный с тем, что надо «прощупать», и ставящий на первое место в профессии журналиста способность расспрашивать и «пройтись с карандашом» среди возможных героев своих публикаций:

«Ну что ж, давай прощупаем.
С анкетами-расспросами
Мы ходим к знаменитостям
Всех цехов и сортов —
К махровым кинобарышням,
К ученым и растратчикам,
К писателям, издателям,
К боксерам и раджам.
Пожалуй, дело ладное
По кругу эмигрантскому
Пройтись с карандашом...» [II, 394]

Самую пессимистическую позицию занял журналист Львов:

«Искать Жар-Птицу в погребе
Занятие бесплодное, —
Но что же, за компанию
Пойду и я на лов...» [II, 394]

Слова последнего из участников предпринятого исследования тоже по-своему характеризуют человека, который избрал сферой своей деятельности журналистику. Это человек, который «за компанию» готов участвовать даже в том деле, которое считает бесперспективным, не способным принести реальные плоды. Собственно, так оно и в поэме и случилось. Единственным счастливым, кого журналисты нашли в эмиграции, оказался сын племянницы одного из участников исследования, который к этому времени еще находится в люльке.

Нельзя не заметить того, что концептуальное видение и самих средств массовой информации, и тех, кто их создает, в условиях России и в эмиграции значительно отличаются. В эмиграции взгляд Саши Черного стал более терпимым и даже благожелательным. В эмиграции периодические издания, выпускавшиеся эмигрантами и для эмигрантов, стали восприниматься и как надежда на какое-то будущее за границей, а то и на Родине, и как часть самой этой утерянной Родины. Взгляд поэта на периодическую печать изменился, как и взгляд на Россию вообще:

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога,
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает бывшее светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли... [II, 93]

Так написал Саша Черный о России уже в 1923 году.

Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ 1893–1930

Трудно найти среди поэтов XX века такого, который бы так часто обращался к образу современных ему средств массовой информации, как Владимир Маяковский.

Пресса впервые появляется у Маяковского в стихотворении **«Война объявлена»** (1914) в виде надрывных выкриков газетчиков, предлагающих вечернюю газету:

<...> Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.¹

Событие, которое прессой подается как сенсационное, в понимании поэта, выглядит кровавой трагедией: газетное видение оказывается оппозиционным реальной жизни.

Стихотворение **«Мама и убитый немцами вечер»** (1914) развивает мысль об оппозиционности реальной сути войны и того, как она выглядит в газетах. Противоречие между той жизнью, в которой матерям необходимо пережить гибель детей, и той, которая представлена в газетах, «орущих о побитом неприятеле», оказывается настолько глубоким, что в стихотворении дважды повторяется метафорический призыв: «Ах, закройте, закройте глаза газет!» [I, 66, 65] Словно бы «глазам газет» не дано и не надо видеть той трагедии, когда

весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма — а — а — ма!
Сейчас приташили израненный вечер. [I, 66,]

¹ Маяковский В.В. Война объявлена // Маяковский В.В. Полн. собр. соч. в 13 тт. — М.: Худож. лит., 1955–1961. Т. 1. С. 65. Далее произведения В.В. Маяковского цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

В стихотворении «Вам!» (1915), ставшем знаковым для эпохи, газета присутствует в качестве *средства характеристики* «проживающих за оргией, оргию» в то время, когда идет кровавая война. К ним обращен вопрос лирического героя:

Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?! [I, 75]

Газеты не способны передать того, что, «может быть, сейчас бомбой ноги // выдрало у Петрова поручика», они не могут передать, что чувствует «приведенный на убой» и «израненный».

В «Гимне критику» (1915) концепт газета выступает в качестве *прибежища бездарностям*, которые пишут о литературе. Образ такого газетного критика, который своим пяточком обнюхал «приятное газетное небо», натуралистически неприятен:

<...> Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант. [I, 83]

Статьи такого критика напоминают поэту «громадного жирного официанта», разлагающегося на газетных листах. Самое большое, на что способны газетные критики, — это «прополаскивать» чужое белье «на газетной странице»:

<...> Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице! [I, 83]

Новая революционная действительность резко изменила отношение Маяковского и к самой печати, в первую очередь к газете, и к вопросу о возможностях работы поэта в газете и для газеты. В 1929 году в статье «Казалось бы ясно...» он поделился своими наблюдениями последних лет: «Поэт и газета — это сопоставление чаще и чаще выныривает из газетных статей.

«Чистые» литераторы орут — газета снижает стиль, газета повседневностью оттягивает от углубленных тем». [XII, 191]

Сам Маяковский был категорически не согласен с таким пониманием отношений между поэтом и газетой: «Нелепо относиться к газете как к дурному обществу, принижающему поэтическую культуру..

Давай газете, пропускай через газету вещи любой литературной точности. Злободневность вещи является результатом не наспех склеенных строк, а запасом поэтических оборотов и заготовок, делаемых поэтом загодя...» [XII, 192]

Стихи Владимира Маяковского с завидным постоянством появлялись в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Ленинградская правда», «Рабочая Москва», «Читатель и писатель», «Смена», «Постройка», «Уральский рабочий» и т. д. Нередко стихи, специально написанные для центральных газет и ими опубликованные, перепечатывались периферийными изданиями.

Отношение Маяковского к работе поэта в газете и для газеты проистекает из той общественной и художнической позиции, которую он занял в послереволюционные годы: «Сегодняшний лозунг поэта — это не просто вхождение в газету. Сегодня быть поэтом-газетчиком — значит подчинить всю свою литературную деятельность публицистическим, пропагандистским, активным задачам строящегося коммунизма». [XII, 192]

С другой стороны, вполне логично и то, что газеты, которые пытаются противодействовать решению задач строящегося коммунизма, то есть оппозиционные, не достойны не то что сотрудничества поэта, но и элементарного уважения. Так в стихотворении 1919 года «Мы идем» у Маяковского возникает образ печати, оппозиционной тем, кто называет себя «разносчики новой эры» и «иллюминаторы завтрашних городов»:

<...> И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет. [II, 31]

Отношение к оппозиционной печати в данном случае — это отношение к чему-то предельно враждебному, достойному только оскор-

бительного наименования (в ней работают «выродки»). Для того, чтобы ярче представить место и роль оппозиционной печати в революционной современности, поэт прибегает к новозаветной мифологии, сравнивая эту печать с царем Иродом. Он тоже боролся против новой веры, по его приказу в ходе такой борьбы убивали даже младенцев, но ничего из этого не вышло. Не выйдет и в современности: представители новой революционной веры (современные младенцы) идут и будут идти «нерушимо, бодро». Периодическая печать у Маяковского понимается как один из важнейших помощников в этом движении. Другое дело, что реальность иногда выступает в таких страшных и трагических формах, что о ней

Газетам писать не хватало духу —
но это передавалось изустно... [II, 78]
«Два не совсем обычных случая», 1921

В процитированном стихотворении речь идет о голоде, о том, какие порой дикие формы он принимал в стране. К примеру, «старик удушил жену-старуху и ел частями». На такие истории даже периодической печати, казалось бы, ко всему привыкшей, «не хватало духу», и они становились материалом устной передачи.

Поэта волновало то, какой должна быть сама форма подачи материала в новых исторических условиях, когда читателями стали многие, кто еще совсем недавно не держал в руках газет. Об этом, к примеру, красноречиво свидетельствует стихотворение «О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах» (1923). Поэт уверен в том, что

<...> До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании
статейной формы. [IY, 64]

А между тем газетчики просто обязаны знать, «как понимается описываемое в газете», иначе, получив в какой-нибудь деревне Акуловка газет связку:

<...> Читают...
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуанкаре терпит фиаско». —

Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с «фиаской» востру держи ухо:
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стиннеса —
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должну.
Понимаешь, дура?! [IY, 64–65]

С тех пор в Акуловке местного туза, самогонщика, из уважения к его богатству стали называть Фиаской. Или другой пример:

<...> Последние известия получили
красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре
имеется?
— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? —
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть —
Апогея нету! ...» [IY, 65]

В итоге красноармейцы успокоились тем, что французы «до своего дошли» апогея, «ведь не до чужого». Вывод поэта предельно ясен: газетная форма должна быть понятной читающим, должна учитывать их уровень:

<...> Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» — нам не надо.

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете — не гоже. [IY, 66]

О том, что проблема эта была принципиально важной для поэта, свидетельствует тот факт, что в том же 1923 году Маяковский опубликовал статью «С неба на землю», в которой отмечал: «Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому не понятные, ничего не выражающие уже фразы: «проходит красной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д. до бесконечности.

Этими образами пишущий хочет достигнуть высшей образности — достигается только непонятность.

<...> Иностранщина из учебников, безобразная безобразность до сих пор портит язык, которым мы пишем». [XII, 38—39]

Содержанию того, о чем пишут газеты, посвящено стихотворение «Весна» (1927). С первых строк становится понятно, что газеты пишут не о том, тем более, что авторы в этих газетах «какие-то дяди»:

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.

Пишут,
 что уже
 синицы
 оглядывают гнезда
 с любовным вождением.

Газеты пишут:
 дни горячей,
 налетели
 отряды
 передовых грачей.

И замечает
 естествоиспытательское око,
 что в березах
 какая-то
 циркуляция соков. [VIII, 97]

Для поэта такая тематика — свидетельство того, что газеты пишут не о том, а дачная жизнь, которой они уделяют столько внимания, вообще «дело мрачное». В доказательство он рассказывает о своей неудачной попытке на даче «выделывать стихи».

О том, насколько важной для поэта была проблема, какие именно «дяди» работают в газетах и чем отличается их труд, в первую очередь, редактора, свидетельствует стихотворение «Газетный день» (1923). Рабочий, который «утром глазеет в газету», думает, что нет ничего проще, и мечтает:

<...> «Нам бы работёшку эту!
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать ручища.
Сиди себе в редакции в беленькой сорочке —
и гони строчки,
Нагнал,
расставил запятые да точки,
подписался,
под подпись закорючку,
и готово:
строчки растут как цветочки.
Ручки в брючки,
в стол ручку,
получил построчные —

и, ленивой ивой
склоняясь над кружкой,
дуй пиво». [У, 7]

С целью искоренения такого «вредного убеждения» поэт решил описать один газетный день.

Трудности жизни газеты начинаются с того, что редакционные коридоры полны народу. Создается впечатление, что

Как будто
весь народ,
который
не поместился под башню Сухареву, —
пришел торговаться в редакционные коридоры. [У, 7]

Вокруг Сухаревской башни в Москве располагался большой рынок, ставший необычайно оживленным с введением новой экономической политики. Примечательно, что «редакционные коридоры» ассоциируются в стихах Маяковского с торговлей, с возможностями «торговаться». Люди, которых «тыщи», приходят с объявлениями, с жалобами на высокие расценки за публикации, с опровержениями. Один из пришедших, например,

Клянется крещеным лбом:
«Это я — настоящий Бим-Бом!» [У, 8]

Маяковский имеет в виду подлинную историю. В феврале 1923 года газета «Известия ВЦИК» поместила объявление за подписью импресарио цирковых артистов Бим-Бом Б. Афанасьева, в котором сообщалось о том, что настоящие Бим-Бом гастролируют на Кавказе и в Крыму, а выступающие под этим именем в госцирке в Москве клоуны — самозванцы.

Особенно много среди посетителей «начинающих», которые «по дороге к редактору стоят частоколом», помахивая своими статьями.

В два часа редактор, как и видел его рабочий, «вплывает барином», но зато уже «в два с четвертью» он выглядит, «как пристяжной, умученный выездом парным». Он занят не творческими проблемами, а «потеет над самоокупацией» (самоокупаемостью), что-то «лепечет редактор про «кредит и дебет». Ему постоянно мешает работать телефон, который «раз сто... вгрызается лаем», по этому телефону Мострест сообщает, что «ставку учетверяет», и грозит «удесятерить» ее в мае.

Если редактору удастся высвободить «минуточек лишка», то сразу же врывается «начинающий»:

<...> Попробуй — выставь!
«Прочтите немедленно!
Замечательная статьяшка»,
а в статьешке —
листов триста!
Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.
Хроникер врывается:
«Там,
в Замоскворечьи, —
выловлен из Москвы-реки —
живой гиппопотам!» [У, 9]

Едва успев разобраться с «начинающим» и хроникером, редактор сталкивается с другими, еще более сложными проблемами:

Из РОСТА
на редактора
начинает литься
сенсация за сенсацией,
за небылицей небылица.
Нет у РОСТА лучшей радости,
чем всучить редактору невероятнейшей гадости.
Извергая старательность, как Везувий и Этна,
курьер врывается.
«К редактору!
Лично!»
В пакете
с надписью:
— Совершенно секретно —
повестка
на прошлогоднее заседание публичное. [У, 9]

Приходит курьер от Народного Комиссариата Иностранных дел с сообщением о том, что один из авторов газеты спутал китайского президента с гаолян (разновидность проса, распространенная в Маньчжурии и прилегающих областях). Шумит и «выражается резко» библиограф, по образованию юрист, который получил на рецензию «учебник по гинекологии на древнееврейском». Бурная жизнь редакции газеты представлена у Маяковского в метких выразительных деталях:

<...> Вокруг
за столами
или перьев скрежет,
или ножницы скрипят:
писателей режут.
Секретарь
у фельетониста,
пропотевшего до сорочки,
делает из пятисот —
полторы строчки. [У, 10]

«Редакционный раж» стихает только к утру, когда, кажется, все улажено, и редактор уезжает «в восторге», однако сразу же выясняется, что «самогоном упился метранпаж».... Поэтому даже во сне редактора не оставляют редакционные заботы. Проснувшись, он снова представляет, в каком виде может оказаться его газета из-за пьянки метранпажа:

<...> Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь —
парочка чьих-то рифм. [У, 10—11]

За всеми этими деталями и подробностями чувствуется хорошее знание Маяковским редакционной жизни, ее особенностей и проблем. Поэт, в отличие от рабочего, который мечтает о «такой работешке», не склонен завидовать жизни редактора газеты:

Вид у редактора...
такой вид его,
что видно сразу —
нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист, —
умозаклучайте смело:
или редактор
или журналист. [У, 11]

Словно развивая тему, связанную с содержанием современных газет, и с теми, кто это содержание формирует, создает, Маяковский обращается к новому для газетного дела явлению — рабкору. В стихотворении «Сердитый дядя», написанном в мае 1927 года, Маяковский снова рассказывает о том, что публикуется в газете, но эти публикации вызывают у него другие мысли и настроения:

В газету
 заметка
 сдана рабкором
под заглавием
 «Не в лошадь корм»,
Пишет:
 «Завхоз,
 сочтя за лучшее,
пишущую машинку
 в учреждении пропил...
Подобные случаи
 нетерпимы
 даже
 в буржуазной Европе». [VIII, 101]

На следующий день газета получила опровержение, в котором описанное называлось «враками», а автор «безответственным бумагомаркой». О самом же завхозе сообщалось, что он «честней, чем гиацинт», а статья против него это — «в спину нож». Затем последовало требование сообщить фамилию автора. Даже прокурор ответил, что «заметка рабкора наполовину лжива» и требовал водой охладить «опровергательский пыл». Однако через некоторое время выяснилось:

<...> Завхоз
 такой-то
 из такого-то города,
не только
 один «Ундервуд» пропил,
но еще
 вдобавок —
 и два «форда». [VIII, 104]

Финал стихотворения звучит как руководство к действию для рабкоров страны, которые, в отличие от «дядей» из предыдущего стихот-

Побольше
 заметок
 любого вида,
рабкоры,
 шлите
 из разных мест.
Товарищи,
 вас
 газета не выдаст,
и никакой опровергатель
 вас не съест. [VIII, 104]

Рабкоры и в самом деле нуждались в защите и поддержке, формирующаяся и уже сформированная бюрократия, судя по стихам Владимира Маяковского, это новое явление в периодической печати, рожденное советской властью, не очень жаловала. В стихотворении **«Критика самокритики»** (1928) поэт говорит о том, как любое дело в стране может превратиться в моду. К примеру, самокритика, когда каждый «совбюрократ» гордится тем, что «самокритикуется», убеждает окружающих в том, что он «всегда советам рад», что он «без спеси», но при этом считает, что деятельность рабкоров — это «стенгазное мычание», а в самом рабкоре толку нет. «Самокритик», он же у Маяковского «совдурак» рассуждает:

«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.
Здравым
мыслям
сердце радо.

Но...
 чтоб критик
 был
 не ниже,
чем
 семнадцатого разряда». [IX, 130]

В представлении такого совдурака рабкор, не имеющий специального образования и соответствующего разряда, не имеет права на критику. С этим категорически не согласен поэт, считающий, что такое право в новой советской стране есть у всех. А рабкоры, к которым у советского бюрократа сложилось стойкое отрицательное отношение, есть те, кто через свои выступления в печати не позволяют превратить самокритику в очередную «критическую моду», в моду «на самокопанье». Хотя судьба его, по наблюдениям некоторых «крит-спецов», незавидна:

<...> А рабкор —
 Рабкор —
 смотрите! —
приуныл
 и смотрит криво:
от подобных
 самокритик
у него
 трещит загривок.
Безработные ручища
 тычет
зря
 в карманы он.
Он —
 обдернут,
 он —
 прочищен,
он зажат
 и сокращен. [IX, 132]

Жизнь рабкора опасна: за свою деятельность он может быть не только «обдернут» и «прочищен», но и «сокращен», оставлен без работы. Рабкорам «непокорным — плющат морды». Однако, все это, по Маяковскому, не повод для того, чтобы забыть о работе в периодической печати, жить «молчальниками» и «овцами рабочего класса»:

Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать! [IX, 132]

О том, какой может быть реакция на газетную критику читателя, который сам «чуть не от станка и сохи» и «даже партиец», Маяковский поведал в стихотворении «Столп» (1928). Герой этого стихотворения, товарищ Попов «перепуган» и «брюзжит баритоном сухим»:

«Раскроешь газетину —
в критике вся, —
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это...
Критику
остороженько
должно вести.
А эти —
критикуют,
не шадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности...» [IX, 343—344]

Возмущение «товарища Попова» не представляет собой ничего удивительного или оригинального, однако его реакция на критику («аж волосы встают от фамилий дыбом») свидетельствует о том, что газетная критика конца 20-х годов не боялась авторитетных фамилий с высокими чинами, стажем и при больших должностях, что, естественно, не

Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы. [IX, 345]

Развитие этой идеи находим в настоящем гимне советской прес-се, хотя и называется всего одна газета, в стихотворении «**Комсомольская правда**» (1927). Здесь концепт периодическая печать, и в первую очередь газета, понимается как *действенная сила*, которая помогает двигаться вперед, решать проблемы и устранять недостатки. В советское время хрестоматийно крылатыми стали слова этого стихотворения:

<...> Газета —
это
не чтение от скуки;
газетой
с республики
грязь скребете;
газета —
наши глаза
и руки,
помощь
ежедневная
в ежедневной работе. [VIII, 175—176]

Слова о том, что «газета — наши глаза и руки», наполняются конкретным содержанием, когда поэт в условиях угрозы новой войны призывает комсомольцев следить «за миром по нашей газете», когда рассказывает о том, как

Вопросы
и трудные,
и веселые,
и скользкие,
и в дни труда
и в дни парадов —
ставила,
вела
и разрешала
«Комсомольская
правда». [VIII, 176]

Однако, по Маяковскому, «мало в газете читать статьи» (поэт продолжает развивать и свою «рабкоровскую» идею), необходимо способствовать тому, чтобы газета дошла до молодежи, объяснять то, о чем напечатано в газете, агитировать за ее позицию, перепечатывать ее материалы в своей стенной печати. И все это потому, что «газета — ближайшая ваша родня». Этими словами Маяковский снова отстаивает принципиально важную и дорогую для него идею о неразрывности личного и общественного в эпоху революционных преобразований и потрясений. Ту самую идею, которая так выразительно прозвучала в «Письме Татьяне Яковлевой» 1928 года («В поцелуе руки, губ ли...»).

Однако наблюдения за советской периодической печатью вызывали у поэта и другие мысли, другие настроения. В стихотворении «Хочу воровать («Рабочей газете»)», написанном в 1928 году, поэт рассказывает о том, как в «Рабочей газете»

меж культурнейших даров
прочитал
с восторгом
эти
биографии воров. [IX, 40]

Поэт дает выразительную характеристику тому, как, в каком стиле и с каким настроением представлены эти биографии газетой:

Расковав
лиризма воды,
ударяясь в пафос краж,

здесь
мусолятся приводы
и судимости
и стаж...
Ну и романтика!
Хитры
и ловки,
деньгу прикарманьте-ка
и марш
в Соловки.
А потом:
побег...
тайга...
Соблазнен.
Ворую!
Точка. [IX, 40]

Иронией проникнуты слова о том, как газетные публикации биографий уголовников буквально пропитаны лиризмом, романтикой и даже «пафосом краж». Все это выписано настолько соблазнительно, что вызывает у читателя желание заняться тем же самым, к тому же газетные описания позволяют хорошо изучить «это дельце», в котором газета способна озарить читателя «лучиком» воровского просвещения. Стихотворение написано, естественно, не для этого. Оно является еще одним примером борьбы Маяковского за содержательную, идейно и стилистически выверенную советскую прессу:

Впрочем,
в глупом стиле оном
не могу
держаться более...
Товарищи,
для чего нам
эта рокамболия¹? [IX, 41]

Появляющееся в лирике поэта *радио* сразу же выступает в качестве оппозиции газете. В стихотворении «Сволочи!» (1922) поэт рассказывает о том, какой страшный голод пришел в молодую республику Советов.

¹ Рокамболия — производное от Рокамболь, имени плута и мошенника, героя приключенческого романа «Похождения Рокамболя» французского писателя Понсон дю Террайля (1829–1871).

За помощью к миру она обращается посредством радио, а ответ ей приносят «газетные страницы»:

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в *газетные страницы*. [IY, 16]

В отмеченной оппозиции радио «ревет за все границы» только о хлебе, а в ответ — «за нелепицей нелепица», которые приходят с газетными страницами со всего мира:

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих — не вместишь в раззолоченные
хлевы».
<...> «Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тенора слушали в модном романсе».
<...> «Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками поднимают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие, —
топят паровозы грузом кукурузы». [IY, 16–17]

Не менее «утешительны» газетные новости из Берлина, где «оживает эмиграция», и «банды радуются» тому, что «с голодными драться им». Именно газетные новости в ответ на «рев» радио о хлебе вызывают неоднократно повторяющиеся проклятия поэта тем, кто не слышит зова о помощи.

В стихотворении «Бруклинский мост» (1925) одним из знаков того, что в Америке уже началась «эпоха после пара», выступает радио:

По проводам
 электрической пряди —
я знаю —
 эпоха
после пара —
здесь
 люди
 уже
 орали по радио,
здесь
 люди уже
 взлетали по аэро. [VII, 59]

В стихотворении «Свидетельствую» (1926) поэт передает думы индейцев, мечтающих о том времени, когда все, настроенное в Америке, они отберут «ни за пятак», когда на их земле после боев за освобождение обязательно восторжествует «тишь да гладь, да божья благодать». Одним из *проявлений этой благодати* станет радио:

«<...> И радио —
 только мгла легла —
правду-матку вызвенит.
Придет
 и расскажет
 на весь вигвам,
в чем
 красота
 жизни.
И к правде
 пойдет
 индейская рать,
вздываясь
 знаменной уймою...» [VII, 59]

Даже с учетом последующего признания поэта в том, что таким образом он пытался «про индейцев врать», ибо думают они совсем не «про это», нельзя не отметить, что, в его представлении, радио — это один из *показателей счастливой, благодатной жизни*. Радио людям доносит «правду-матку» и представление о том, в чем «красота жизни».

Стихотворение «**Радио-агитатор**» 1925 года уже самим заглавием определяет основную функцию, которая, по мнению поэта, есть у радио. Главное достоинство нового вида средств массовой информации (читай: агитации) заключается в том, что «преград человечеству нет». То, что еще вчера казалось утопией и небывалой мечтой, сегодня стало реальностью:

<...> А нынче
 от вечных ночей
до стран,
 где солнце без тени,
в мильон
 ушей слухачей
влезают слова по антенне! [XIII, 262]

Использование глагола «влезают» только усиливает представление о том эффекте, который производит радио на слушателей. Словно бы, в отличие от газетных, слова, передаваемые по радио, проникают в сознание слушателя так, что последнему не надо прилагать даже усилий. Радио видится Маяковскому как средство преодоления человеком ограничений пространства и времени, как возможность передавать тончайшие звуки и оттенки настроений:

Сегодня нет
 ни времен, ни пространств,
не то что
 людской голос —
передадим
 за сотню стран
и как
 шевелится волос! [XIII, 262–263]

Однако самое важное значение радио, по Маяковскому, в его возможностях политического воздействия и сближения народов для освобождения и единения в скором будущем:

А, может быть,
 и такое
мы
 услышим по воздуху

скоро:
 рабочий
Америки и Чухломы
 споются
 одним хором.
Чтоб шли
 скорей
 века без оков,
чтоб близилась
 эта дата —
бубни
 миллионом
 своих языков,
 радио-агитатор! [XIII, 263]

Отражение того, как Владимир Маяковский в 20-е годы прошлого века предвидел, какую роль в ближайшем будущем будет играть радио, присутствует и в пьесе «Клоп» (1929). Когда решается вопрос о том, оживлять или нет в условиях победившего коммунизма человека из двадцатых годов, свою роль в решении этого вопроса играют репортеры. При этом одни из них «вытаскивают из карманов микрофоны», а «газетчики врываются с готовыми оттисками». [XI, 247, 248]

Есть у Маяковского радиорепортеры «Чукотских известий» и «Витебской вечерней правды», «Варшавской комсомольской правды» и «Армавирского литературного понедельника», «Известий чикагского совета» и «Римской красной газеты», «Шанхайской бедноты» и «Мадридской батрачки», «Кабульского пионера»... Помимо того, что сами радиостанции, работающие по всему миру на разных волнах, мгновенно передают последние новости, газетные репортеры тоже пользуются возможностями радио. А названия радиостанций являются свидетельством победы пролетариата всего мира, объединившегося в одну большую социалистическую семью.

Таковы основные, определяющие значения, составляющие концепт средства массовой информации в творчестве Владимира Маяковского.

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

1891–1940

Периодическая печать в произведениях Михаила Афанасьевича Булгакова выступает во всем многообразии возможного присутствия в повествовании и трактовок, которые зависят от характера повествования, от авторского замысла.

В романе «Белая гвардия» (1925–1927) газета неоднократно возникает в качестве бытовой подробности: в нее завернута бутылка водки, которую приносит в дом Турбиных Мышлаевский. Пакет, который прячет в тайнике Василиса, также завернут в газетную бумагу.

Однако газета может выступать и как явление, имеющее принципиально важное значение для судьбы героя, к примеру, Сергея Ивановича Тальберга, у которого «была неподходящая, неудачливая звезда». В Город может прийти «бритый человек» Петлюра, и «горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»¹

Роман воссоздает атмосферу непримиримого противостояния жизненных позиций, и отражение одной из этих позиций в печати обращивается для героя смертельной опасностью. Газета, таким образом, оказывается одним из средств *характеристики эпохи*, в которой чужая противоположная точка зрения является поводом к уничтожению того, кто ее высказал.

Значительно более развернутую характеристику эпохи дает юмористическая газета, которую читает в столовой Турбиных Мышлаевский: «На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

¹ Булгаков М.А. Белая гвардия // Булгаков М.А. Собр. соч. в 5 т. — М., Худож. лит., 1992. Т. 1. С. 198. Далее произведения М.А. Булгакова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

Голым профилем на ежа не сядешь!» [I, 205]

«Развязные слова» юмористической газеты никак не способствуют тому, чтобы у героя прошел «мутный вал тревоги».

Судя по процитированным словам, Булгаков имеет в виду реальное издание, юмористическую газету «Чертова перечница», так как эти слова были ее эпиграфом. Газета была основана в Петрограде, но с середины 1918 года выходила в Киеве. В состав редакции входили такие известные писатели, как А. Аверченко, А. Куприн, Л. Никулин, критик П. Пильский.

Мышлаевский просматривает газету, давая комментарии прочитанному и не забывая при этом следить за происходящим в окружающем пространстве: «Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

— Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!» [I, 205–206]

Те, кто создают газету, в представлении героя, это — «веселая сволочь», но он не забывает отметить, что «пушки-то стихли», словно бы противопоставляя газетной странице окружающее пространство. Газетная шутка про «Брейтмана остроты» также возвращает Мышлаевского к реальному положению дел на фронте. Г.Н. Брейтман — реальное лицо, упоминаемое газетой — писатель, живший в Киеве. А сенегальцы возникают в тексте газетной публикации в качестве напоминания о том, что в составе французской части экспедиционного корпуса Антанты, высадившегося на Черноморском побережье в ноябре 1918 года, были жители французских колоний Франции, главным образом — сенегальцы.

Строки, которые не советуют арбуз «печь на мыле», — это первые строки «Азбуки», которая была опубликована в 6-м номере «Чертовой перечницы» за 1918 год. Эта «Азбука» была написана по примеру «Семинарской азбуки», весьма популярной в гимназическом, семина-

ристском и юнкерском фольклоре России XIX века, и даже с явными цитатами из последней. Авторы «Азбуки» «Чертовой перечницы», если судить по роману Булгакова, стремилась к тому, чтобы отразить современность. Так упоминание о том, что «американцы победили», связано со вступлением Америки в 1917 году в войну на стороне Антанты, в результате чего в летне-осеннем наступлении 1918 года была одержана победа.

«Президентство» Родзянки, которое обещает юмористическая газета, возвращает читателя к фигуре М.В. Родзянко (1859–1924) – председателя III и IV Государственной думы в 1911–1917 годах, а во время Февральской революции – председателя Временного Комитета Государственной думы. Современники, особенно монархических взглядов, считали его одним из главных виновников краха Российской империи и тех трагических последствий, которые им были вызваны, в том числе и на Украине. Герой публикации в юмористической газете не только оказывается виновным в том, что в описываемый момент происходит на подступах к Киеву, но и в честолюбивом стремлении стать главой государства.

Благодаря тому, что в шутках юмористической газеты постоянно упоминаются современные политические и военные реалии, а также реальные деятели литературы и политики, герой может только на время уйти, отвлечься через газету от современности, от положения дел в Городе, который уже штурмует армия Петлюры. По его наблюдениям (что принципиально), люди, создающие эту газету, хоть и «сволочи», но «талантливые».

А в видении автора, эту газету делают те, кто был среди бежавших зимой 1918 года, кто бежал в Город из Москвы и Петрограда, когда вместе со всеми остальными от большевистской власти «бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые». [I, 219] Между видением автора и героя есть разница: первый не видит в них талантливых, может быть, потому, что, в отличие от Мышлаевского, знает их лучше.

Тем не менее, одним из признаков тех поразительных изменений, которые произошли в Городе с момента избрания гетмана, по наблюдениям уже автора, стало развитие печати. Помимо открытия новых кафе, клубов и театров, «тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков». [I, 220]

Газеты, по мнению автора, в Городе стали тем фактором, который поддерживал и добавлял ненависти к новой власти, которая заставила

многих и многих бежать с насиженных мест, менять привычный уклад жизни: «Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом...» [I, 219]

Своеобразие понимания периодической печати в данном эпизоде романа заключается в том, что она выступает в качестве средства, способствующего именно «трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты» ненависти, когда для ненависти открытой, «в упор» нет ни сил, ни возможностей.

Газеты выступают в романе Булгакова в качестве *показателя наличия государства*, пусть и «странного». Когда писатель упоминает о том, что «большинство горожан... смеялись над странной гетманской страной», он замечет, что границы этой страны определяются едва ли не границами только Города, в котором «и полиция — Варта, и министерство, и даже войско, и *газеты различных наименований*, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто». [I, 223–224]

В этих размышлениях писателя перечислены признаки государства, разумеется, такие, какие представляются ему. А наличие газет при этом приравнивается к наличию полиции и войска.

В связи с появлением на политической арене Города Семена Васильевича Петлюры автор отмечает такую деталь: «Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер — Симон». [I, 223–224] Однако через некоторое время другое имя, но все того человека стало занимать думы горожан, в том числе и с помощью газет: «Слово:

— Петлюра!

— Петлюра!!

— Петлюра! —

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с *газетных листков* оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло

по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом...» [I, 238–239]

Роль городских газет в приведенном наблюдении писателя очевидна. Фамилия Петлюры настолько часто повторялась «газетными листками», что стала в глазах горожан ассоциироваться с жидкостью, которая капала в их утренний кофе и превращала «божественный тропический напиток... в неприятнейшие помои». Разумеется, это художественный образ, но своеобразие художественного образа в том и заключается, что он всегда находится на пересечении реальности и вымысла, совмещая в себе и то, и другое. У Булгакова «Петлюра» становится «жидкостью», отравляющей существование человека. Газетные же публикации в случае с деятельностью новоявленного политического лидера никак не способствовали тому, чтобы прояснить ситуацию для горожан:

«Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий

(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью — Симон Петлюра), желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город». [I, 239]

То, что газеты периодически помещали на своих страницах первый попавшийся снимок, который выдавали за изображение Симона Петлюры, свидетельствует об их стремлении создать видимость, что они в курсе событий. На самом деле они, как и все горожане, не знали, «что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине».

Стремление найти такую информацию о Петлюре движет и Алексеем Турбиным, который, услышав призывные крики мальчишки-газетчика, продающего свою газету, поверил, что в ней есть достоверная информация о «разложении Петлюры»: «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»! — кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шайки бабьим платком. — Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одессу. «Свободные вести»!» [I, 247]

Оказалось, что мальчишки-газетчики, зная о желании горожан получить хоть какую-нибудь информацию о Петлюре, его делах и замыслах, ловко пользовались этим, выдавая ее, рекламируя при продаже своих газет в первую очередь:

«Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету:

«Беспартийная демократическая газета.

Выходит ежедневно.

13 декабря 1918 года.

Вопросы внешней торговли и, в частности, торговли с Германией заставляют нас...»

— Позвольте, а где же?.. Руки зябнут.

«По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск.

Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...»

— Ах, сукин сын, мальчишка!» [I, 248]

Булгаков психологически достоверно передает поведение человека, который в надежде найти нужную информацию лихорадочно просматривает только что купленную газету. Сначала взгляд падает на ее название и извещение о периодичности выхода, затем — сообщение о вопросах внешней торговли. Когда герой находит нужное, в первый момент ему кажется, что обещанной продавцом («сукиным сыном») информации там нет. Однако более внимательное и подробное чтение газеты убеждает в обратном. Газетное сообщение, которое прочитал Турбин, было таким: «Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на Посту-Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4-мя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах». [I, 248]

На самом деле, «Свободные вести» не столько информировали горожан о происходящем, сколько занимались, как и другие газеты, пропагандой, уверяя их в том, что Петлюре скоро конец, хотя реально происходящие события говорили об обратном. Для Турбина в этом не было большого секрета, поэтому, даже не дочитав газетную фразу: «Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...», он восклицает: «Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...» Последнее относится, скорее, к тем, кто написал и кто выпускает газету, нежели к самому Петлюре.

Герой скомкал газету и швырнул ее на тротуар, но затем, услышав утробные звуки пушек где-то за городом, «круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно:

«В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.

На Серебрянском направлении спокойно.

В Красном Трактире без перемен.

В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято 2 человека». [I, 249]

В этом эпизоде газеты, которые, по всей вероятности, пользуются почти исключительно официальной информацией, выступают в поддержку тех, кто пока находится у власти в Городе. Поэтому они говорят о военных успехах этой власти, а концепт газета наполняется таким содержанием, как способность *выдавать желаемое за действительное*. Неоднократно звучащие, словно лейтмотив данного эпизода, слова «Вести» и «Ежедневная демократическая газета» только усиливают ощущение абсурдности происходящего, когда бои идут уже на окраине Города, а «ежедневная демократическая газета» все еще рассказывает о разложении в рядах противника и о победах тех, кто пока еще у власти в Городе.

Свое отношение к газетам, заполненным победными реляциями, когда по Городу несут гробы с погибшими его защитниками, а пушки гремят уже на окраине Города, Турбин проявил яростно и несправедливо: «Вести»! — вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый алыт.

Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным:

— Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!» [I, 251]

Жуткая сцена, в которой выплеснулась ненависть героя, читателя газет к этим самым газетам. Несчастный мальчишка-продавец, пострадавший безвинно, так и не понял, что ему досталось за тех, кто выпускает такие вести на газетную страницу. И последнее слово в гневной тираде героя относится, конечно же, к газете, наполняя ее видение вполне определенным содержанием.

Вот и оказывается, по Булгакову, что в захвате Города Петлюрой виноваты, наряду со всеми другими, и газеты. По его наблюдениям, в Городе были и «железные хотя, правда, уже немножко подточенные немцы», и «усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна гетман», и разные

князья и генералы, в Городе было «густопогонно». Но было и другое, не менее важное, в создании которого участвовала периодическая печать: «В Городе ярость при слове «Петлюра», и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты...» [I, 282] «Блудливые петербургские газеты» продолжают смеяться над Петлюрой в тот день, когда ему уже сдают Город. Значит, пресса не смогла выполнить свою главную функцию — информационную, не смогла предоставить своим читателям достоверную информацию о происходящих событиях. Ее функционирование в Городе, благодаря приведенной выше характеристике журналистов, ассоциируется с блудом.

Символично выглядит эпизод, в котором один из участников обороны Города замечает сегодняшнюю газету: «Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал:

«У реки Ирпени столкновения с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Святошину...»

Бросил газету и сказал вслух:

— Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...» [I, 298]

Генерал никак не комментирует тот факт, что успокаивающая информация опубликована в газете в тот день, когда петлюровцы уже штурмуют город: разница между написанным в газете и происходящем на самом деле очевидна. Остается только сожалеть о том, что «ввязался в это».

В качестве источника информации, заслуживающего доверия, газета появляется в романе «Белая гвардия» только один раз, в письме, которое Елена Васильевна получила от Оли из Варшавы. В нем та писала: «Здесь в газетах пишут, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...» [I, 419]

Своеобразие присутствия периодической печати в повести «Собачье сердце» (1925) заключается в том, что она дана в восприятии не только человека, но и городской дворняги, которую профессор Преображенский назвал Шариком. Упоминание газеты возникает в повествовании в тот момент, когда Шарик замечает, как из магазина вышел «гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего, — господин», вследствие чего: «Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, *в газеты напишет*: меня, Филиппа Филипповича, обкормили». [II, 122]

Получается, что простой городской дворняге, которая еще и не знает, что он Шарик, известны не только нравы тех, кого еще можно

называть «господами», но и возможности газеты, в которую в случае чего можно написать.

Однако, как выяснилось позже, Филипп Филиппович не то что писать в современные (советские) газеты не собирается, но считает, что читать их не во всякое время рекомендуется. Развивая Борменталю свою теорию, согласно которой «большинство людей вовсе есть не умеют», он дает доктору «добрый совет», ставший в русской культуре хрестоматийным: «... не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». На замечание доктора Борменталю о том, что «да ведь других нет», профессор развивает свою мысль, подкрепляя ее собственными научными изысканиями: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

— Гм... — С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексy, скверный аппетит, угнетенное состояние духа».[II, 142]

То, как, по наблюдениям профессора Преображенского, читатели реагируют на опубликованное в советских газетах, свидетельствует о том, что концепт газета наполняется значением *явления, вредного и опасного для человеческого организма*.

Среди первых слов, которые, по дневнику доктора Борменталю, произносит «существо», получившееся в результате операции, была «газета»: «<...> Начиная с 5-ти часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7-го января. Он произносит очень много слов: «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе». [II, 161]

Понятно, что «вульгарная ругань» и «еще парочку» это — из пивной, завсегдаем которой был Клим Чугункин, а «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и опять-таки «бранные слова» — это то, что мог слышать и сам Шарик на улице. Слово «газета» в таком контексте у Булгакова возникает не случайно, оно оказывается в одном ряду с «вульгарной руганью» и «бранными словами».

Дневник доктора Борменталю свидетельствует о том, что после операции в квартире профессора Преображенского «по городу расплылись слухи», которые были так невероятны, что в дело вмешалась пресса: «В утренних газетах появилась удивительная заметка:

«Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распушены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». [II, 161]

Эта, всего в два предложения, заметка является интересным свидетельством тому, какой была современная периодическая печать. Вместо опровержения слухов в ней есть только угроза наказанием, что никак неубедительно. И с другой стороны, из нее следует, что «строго наказаны» будут «слухи». Хотя в дальнейшем повествовании выясняется, что сидят все-таки «семь сухаревских торговцев... за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики». [II, 165]

В дневнике доктора Борменталья отмечена и реакция вечерней газеты: «Еще лучше в «вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «<...> Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это — что-то неопишное...» [II, 162]

Вечерняя газета, не имея достаточной информации, сама воспользовалась слухами, в результате, по мнению героя, она публикует «что-то неопишное», то есть становится *источником слухов и несуразицы*.

Газета выступает в повести и в качестве *средства борьбы* Швондера с профессором Преображенским, который хоть и считал, что не следует перед обедом читать советские газеты, периодически оказывается в повествовании с газетой в руках: «Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами. Шв...Р». [II, 167]

Молнии, которые коверкали лицо читающего профессора и «оборванные, куцые, воркующие слова», — это реакция на ту ложь, из которой состояла заметка Швондера, написанная в соответствии с лексиконом советской периодической печати, то есть с обязательным, если не ритуальным упоминанием «гнилого буржуазного общества» и «блистающего меча правосудия» с непременно «красными лучами» и упоминанием «псевдоученой буржуазии».

Не случайно поэтому одной из особенностей, характеризующих Швондера как «изумительную дрянь», является то, что «он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах». [II, 185]

В восприятии же формирующегося под влиянием Швондера сознания Шарикова газета выступает в качестве средства утверждения его в человеческом обществе. На замечание Преображенского о том, что Шарикова невозможно прописать в профессорской квартире, так как у него «нет ни имени, ни фамилии», последний со знанием дела заявляет: «Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатали в газете — и шабаш». [II, 171]

Единственный раз газета служит источником необходимой информации в повести «Собачье сердце» в эпизоде, когда профессор Преображенский просит доктора Борменталья съездить с Шариковым в цирк. Предварительно, считает он, необходимо обязательно посмотреть в программе, напечатанной в газете, нет ли «в программе котов».

Полезное начало печати подразумевается и в эпизоде, когда профессор Преображенский готов дать объявление в газетах, чтобы найти комнату Шарикову, если тот не согласен с тем, чтобы его в квартире профессора называли «господином».

Журнал упоминается в «Собачьем сердце» один раз, но это упоминание позволяет Преображенскому сделать принципиально важное признание. Когда пришедшая вместе со Швондером женщина предлагает профессору «взять несколько журналов в пользу детей Франции», Преображенский отвечает отказом. Из этого отказа женщина сделала вывод о том, что профессора «следовало бы арестовать» за то, что он — «ненавистник пролетариата, — горячо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович...» [II, 139—140]

В повествовательном пространстве романа «Мастер и Маргарита» (1929—1940) газета возникает уже в первой сцене, когда двое московских литераторов встречают на Патриарших прудах неизвестного, которого первоначально приняли за иностранца: «Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта». [У, 17]

Такое упоминание периодического издания представляет концепт газета в качестве *доказательства «славы и популярности»* для героя, который выступает и автором (опубликованы его стихи), и героем (помещена его фотография) газетной публикации. Другое дело, что в данной конкретной ситуации это его ничуть не радует.

В том же качестве газета выступает и в сцене ухода Берлиоза с Патриарших прудов, когда «иностранец-профессор» называет его по имени отчеству. Берлиоз «вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество известны профессору также из каких-нибудь газет.

А профессор прокричал, сложив руки рупором:

— Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?

И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом *ни в каких газетах*, уж наверно, ничего не сказано». [У, 46]

Надежда героя на то, что «сумасшедший» обладает информацией о нем, полученной из газет, при упоминании киевского дяди пропадает, так как эта информация газетам не доступна. А вот о гибели Берлиоза буфетчик в Варьете Андрей Фокич Соков и в самом деле узнал из газет. Маргарита Николаевна об этом трагическом происшествии знает также благодаря им.

Газета, как источник информации о кончине человека, упоминается и в связи с именем «талантливого артиста» Саввы Потаповича Куролесова. Его возненавидел после известных событий в Варьете Никанор Иванович Босой, возненавидел «до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление в том, что Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, — Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем, и взревел: «Так ему и надо!» [У, 379]

Газета присутствует в романе и в качестве бытовой подробности. Сообщая о том, что «председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой», Коровьев уточняет, что «в данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге — четыреста долларов». [У, 99] На самом же деле Никанор Иванович Босой спрятал в вентиляционной трубе опять-таки завернутые «в обрывок газеты» четыреста не долларов, а рублей. В значении бытовой детали газета упоминается, когда во время обыска «газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика». [У, 100]

В качестве упаковочного материала для денег использует газету «аккуратный и исполнительный» бухгалтер Варьете Василий Степанович Ласточкин. Упоминавшийся буфетчик того же Варьете Андрей Фокич Соков также использует обрывок газеты для хранения своих червонцев.

В «промасленную газету» была завернута «громадная жареная курица без одной ноги» Максимилиана Андреевича Поплавского, дяди Берлиоза, с которой он приехал в Москву в надежде заполучить квартиру племянника. В связи с последним, газета присутствует в романе и еще в одном качестве. Максимилиан Андреевич давно стремился в Москву, но «объявления в газетах об обмене квартиры на Институтской улице в Киеве на меньшую площадь в Москве не давали никакого результата». [У, 191]

Рассуждая о возможностях людей, хорошо знакомых «с пятым измерением», Коровьев замечает Маргарите Николаевне, что он «знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но и вообще ни о чем не имевших никакого представления», «тем не менее проделывавших чудеса в смысле расширения своего помещения», [У, 243] благодаря тому, что помещали объявления в газете.

В качестве бытовой, но принципиально важной подробности газета выступает и в эпизоде, когда финдиректор Римский слушает, как администратор рассказывает ему историю походов Степы Лиходеева. В какой-то момент Римский замечает, что Варенуха стремится «не выходить из-под голубой тени настольной лампы» и «как-то удивительно» прикрывается «якобы от мешающего ему света лампочки газетой». Сделанное наблюдение приводит его к неутешительному выводу: «... сознание опасности неизвестной, но грозной опасности, начало томить душу финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, финдиректор рассматривал его лицо, почти уже не слушая того, что плел Варенуха». Чуть ниже выясняется причина «фокусов с газетой»: «Как тот ни натягивал утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газетным листом, — финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого носа. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровой бледностью, а на шее у него в душную ночь зачем-то было наверчено старенькое полосатое кашне». [У, 152]

Газета оказывается отчасти причиной того, что Мастер решил написать роман о Понтии Пилате, обнаружив на проданной ему в музее облигации «тот же номер, что и в газете». [У, 135]

Следующий принципиально важный момент, связанный с периодической печатью, представляет газету как отражение литературной жизни Москвы. После того, как рукопись романа была отдана в редакцию, «произошло нечто внезапное и странное», проводни-

ком которого стала именно газета: «Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа». [У, 141]

Так газета вошла в историю романа Мастера о Понтии Пилате, во многом предопределив его судьбу в реальности, в то же время в сверхреальности, как мы помним, он будет оценен принципиально иначе. Статья критика Аримана была только началом: «Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предполагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать». [У, 141]

Наибольший интерес в данном случае представляет рассказ Мастера о своей реакции на то, каким образом, в каком виде был представлен его роман и он сам на газетных страницах: «Остолбенев от этого слова «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна — Латунского, а другая — подписанная буквами «М.З.». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского». [У, 141]

Герой, остолбеневший в первый момент от слова «пилатчина», так увлекается чтением газетных статей о себе, что даже не замечает появления Маргариты. Газетная критика, в представлении героя Булгакова, выглядит как навешивание ярлыков таких, как «пилатчина», «воинствующий старообрядец» и т. п. Судя по тому, что узнает читатель о содержании газетных выступлений литературных критиков, в этих выступлениях речь не шла о художественных достоинствах или недостатках романа. Они увидели в романе прежде всего его идеологическую, как им представлялось, составляющую. Для воинствующих атеистов такая идеология была неприемлема.

Именно газетные выступления критиков являются в романе причиной того, что с романом Мастера случилась «чудовищная неудача», и в жизни его «настали безрадостные осенние дни».

Однако это была только первая стадия восприятия Мастером той газетно-критической войны, которая ему была объявлена: «Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим». [У, 142]

Мастер тонко подмечает черту, характерную для всей, за редким исключением, советской литературной критики. Ее авторы не могли, не имели права, если они хотели быть опубликованы, говорить то, «что они хотят сказать». Они могли говорить только то, что разрешено, что соответствует политическим и идеологическим установкам, нормам, правилам и указаниям, принятым господствующей властью. При этом газетные критики писали о романе, который не был опубликован, который прочитали только в редакции. Данная особенность критики советского времени была хорошо известна самому Булгакову, который за десять лет прочитал в периодической печати триста один отзыв на свои произведения, из них только три положительных. Однако самое главное заключается в том, что в течение этих десяти лет он не видел ни одной опубликованной строки.

Третья стадия общения Мастера с газетной критикой оказалась самой трагической: «А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем». [У, 142]

В том, что у Мастера наступила «стадия психического заболевания», — вина периодической печати, той критики, которая на ее страницах была посвящена его роману.

Не случайно, когда Мастер вместе с Маргаритой и свитой Воланда поджигает свою квартирку, он сначала «поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку *старых газет* на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне». [У, 361]

В пачке старых газет были и те, в которых Мастер читал статьи о своем романе. Вместе с ними сгорает «прежняя жизнь» и «страдание», как об этом кричит участвующая в сожжении Маргарита. Концепт газета, таким образом, становится одним из символов этой *прежней жизни* и тех страданий, которые были в ней.

В других значениях концепт газета в романе Булгакова не представлен, нет и образов тех, кто делает газеты. Однако в одном из вариантов романа Мастер рассказывает Ивану Бездомному историю своего знакомства с Алоизием Могарычем, который отрекомендовался ему журналистом. В этом варианте романа есть какая-то своя символика в том, что, рассказывая о критике его романа в газетах, Мастер вспоминает человека, появившегося в один из осенних дней в его доме. Это воспоминание вклинивается в рассказ Мастера о том, как он воспринимал газетные публикации о нем: «<...> Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше — больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там, и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. Но я заступился за него. Она сказала:

— Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее».¹

Ничего более о характере занятий Алоизия Могарыча в романе (в разных его вариантах) не сообщается. Но для писателя, по всей вероятности, принципиально важно было то, что человек, предавший Мастера ради того, чтобы завладеть его квартиркой, представился как журналист. Его поведение свидетельствует о том, что он умел быстро знакомиться людьми, располагать их к себе, входить в доверие, то есть обладал качествами, которые необходимы журналисту для успешной работы. Видимо, не случайно, на Маргариту, в отличие от Мастера, Алоизий произвел «впечатление отталкивающее». Мастер, как настоящий художник, был слишком погружен в сотворенную им вторую реальность — роман о Понтии Пилате, а Маргарита была ближе к жизни, к окружающей действительности. Героиня оказалась права в своем впечатлении.

К Мастеру, который, по собственному признанию, «не склонен сходить с людьми», Алоизий Могарыч нашел свой подход и стал для

¹ Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Избранное. — М.: Худож. лит. 1988. С. 144.

него привлекательным: «... Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий... имел. Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки, причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста раз сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: глава такая-то идти не может...»¹

Даже если Алоизий Могарыч и не был журналистом, а только представлялся таковым, он обладал качествами, необходимыми для занятия этим делом: и способностью быстро сходиться с людьми, располагать их к себе, и проницательным умом, и заинтересованностью, пусть и видимой, в развитии современной литературы, и определенным литературным вкусом.

В предисловии к роману «Записки покойника (Театральный роман)» (1936—1937) писатель, который, по собственному уверению, не имеет никакого отношения «к сочинению этих записок», сообщает, что их автор Сергей Леонтьевич Максудов «никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, *маленьким сотрудником газеты* «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан». [IY, 401]

В этом замечании — характеристика автора «Записок», который, будучи «маленьким сотрудником» ведомственной газеты, оказался способен создать произведение о мире театра, но выходящее за пределы театрального пространства. Автору знаком мир университетской лаборатории, который он покинул во время гражданской войны. Знает он и газетный мир: «После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных? — кто же не переживал невероятных приключе-

¹ Там же. С. 144—145.

ний во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в «Пароходстве». В силу какой причины? Не будем таиться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир «Пароходства»...» [IY, 431]

Газетный мир («мир «Пароходства») воспринимается автором «Записок» как возможность осуществления мечты «стать писателем», словно бы работа сотрудника газеты — это начало писательской деятельности. Открывшийся мир оказался противен автору «Записок», он называет его «чужим» и «отвратительным».

Сам Сергей Леонтьевич Максудов называет себя «маленьким сотрудником газеты «Пароходство», когда рассказывает о том, как получил письмо режиссера Ильчина, сообщая при этом некоторые бытовые подробности жизни «маленького сотрудника газеты»: «Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика». В первый момент Максудов решил, что Ильчина заинтересовала именно его комната, и он хочет с ним поменяться. Герой признается, что он «стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом *абажур сделан из газеты*, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки». [IY, 403]

Абажур, сделанный из газеты — это бытовая подробность, которая в глазах Максудова служит, наряду с другими, доказательством скудности и неустроенности существования «маленького сотрудника газеты».

Газеты, как свидетельство бытовой неустроенности, появляются в «Записках» и в тот момент, когда их автор вспоминает о том, как во сне ему явился замысел романа о гражданской войне в его родном городе и о людях, «которых нет уже на свете». После видения во сне он проснулся в слезах: «... Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность — дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал — что случилось?» [IY, 405]

Есть, видимо, какая-то своя символика в том, что помощь герою приходит от «зверя», который сидел на той самой пачке газет. Тем более что

эта, на первый взгляд, чисто бытовая подробность развивается автором в последовательное наблюдение, которое он сделал в ходе работы над романом: «Заинтересованная кошка *садила* на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила *пересест* с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место». [IY, 406]

В качестве бытовой подробности газета в «Записках» упоминается неоднократно. К примеру, в «Бюро фотографических принадлежностей» автор замечает, «что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезков ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении». [IY, 418]

После разговора с режиссером Иваном Васильевичем, возвращаясь домой, Максудов замечает, как в киоске «газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно зачем, — признается он, — я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами». [IY, 491]

Журнал «Лик Мельпомены» в романе — это аналогия весьма популярному театральному журналу «Новый зритель». Журнал под таким названием выходил с 1924 по 1927 год и был органом Московского отдела народного образования. В 1927 году был преобразован в «Еженедельник театра, кино, музыки, эстрады и цирка», а в 1928 стал органом Мосгубполитпросвета и Управления московскими зрелищными предприятиями. В 1929 году прекратил самостоятельное существование, так как был слит с журналом «Современный театр»

Читатель имеет возможность увидеть не только, как выглядела обложка одного номера этого журнала, но составить некоторое представление о его содержании, хотя главное заключается, конечно же, в фельетоне, посвященном автору пьесы Максудову: «Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший «Лик Мельпомены». Видна была какая-то девица в фижах, мелькнул заголовок «Обратить внимание», другой — «Распоясавшийся тенор ди грация», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мною был фельетон «Не в свои сани», и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало:

«На Парнасе было скучно.

— Чтой-то новенького никого нет, — зевая, сказал Жан-Батист Мольер.

— Да, скучновато, — отозвался Шекспир...»

Помнится, дальше открывалась дверь, и входил я — черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.

Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, — смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде «Тартюфа», и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав». [IY, 491–492]

Фельетон был таковым, что к моменту написания «Записок» герой этого фельетона уже позабыл, в чем была его суть, но развязно-дурашливую манеру автора фельетона, который решил разделаться с Максудовым-драматургом с «помощью» Мольера и Шекспира, Лопе де Вега и Чехова, запомнил. Из этого фельетона следовало, что едва ли не главной «виной» новоявленного драматурга Максудова явилось то, что его имя оказалось на афише театра рядом с именами Софокла и Лопе де Вега. Вполне предсказуемой оказалась и реакция героя фельетона, хотя к моменту создания «Записок» он уже по-другому относится к этой своей реакции: «Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что. Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват?

— Это афиша! — шептал я. — Но я разве ее сочинял? Вот тебе! — шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол...» [IY, 492]

Явившийся к Максудову Ликоспастов даже рад тому, что автора «Записок» «продернули» в периодической печати. По его логике, «назвался груздем, полезай в кузов», потому что «без критики не проживешь». Сам Максудов так не считает: «Какая это критика?! Он издевается...» [IY, 493]

Журнальная критика, как и газетная в романе «Мастер и Маргарита», перестала быть критикой, обращенной к художественным достоинствам или недостаткам произведений искусства. Она стала средством сведения счетов и борьбы с неугодными авторами, возможностью поиздеваться над ними.

В тот момент, когда обстоятельства сложились так, что людей возле автора «Записок» не стало, и автор запретил себе «справляться о театре», периодическая печать начинает выполнять для него одну принципиально важную функцию: «Что касается внешнего мира, то

все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву». [IY, 519]

Газеты и журналы стали для героя единственным источником информации о театральном мире и о своих знакомых в этом мире: «И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых.

Так, пятнадцатого декабря прочитал: «Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу «Монмартрские ножи», из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру».

Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие: «Известный писатель Е. Агапенов усиленно работает над комедией «Деверь» по заказу Театра Дружной Когорты».

Двадцать второго было напечатано: «Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно «Приступ». [IY, 519–520]

Театральная жизнь, если судить по газетным и журнальным сообщениям, была необычайно активной, и эта жизнь не была выдумкой автора «Записок». За именами тех, кто упоминается в данном эпизоде, и за названиями театров стоят реальные участники литературно-драматургической жизни и реальные театры. Так, Измаил Александрович Бондаревский — это Алексей Толстой, а Старый Театр — это Малый театр. Е. Агапенов — это Борис Пильняк, а Театр Дружной Когорты, по заказу которого он пишет пьесу — театр Вахтангова. Альберт Альбертович Клинкер — это драматург Владимир Киршон, а Независимый Театр, которому он намерен предоставить свою пьесу, — это Московский художественный театр.

Со временем поток театральный новостей, доставляемый периодической печатью, только нарастает: «А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета — и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно мрачной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И.С. Драма. Кончает третий акт.

Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов...» [IY, 520]

Все это была информация, не имевшая прямого отношения к драматургу Максудову, однако и он дождался своего часа: «Второго января и я обиделся.

Было напечатано: «Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема — сочинение современной пьесы для Независимого Театра».

Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, — писала газета, — именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».

Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра». [IY, 520]

Автор «Записок» цитирует газетную заметку о совещании в Независимом Театре по вопросу сочинения для него современной пьесы. Такое цитирование дает еще одну возможность увидеть то, как писала о театральной жизни периодическая печать того времени, какие проблемы ею поднимались. И это снова перед нами — вполне реальная современность, отраженная на газетном листе, во-первых, потому, что такая проблема и в самом деле неоднократно ставилась перед советским театром. А во-вторых, за именами упоминаемых в заметке Ивана Васильевича и Аристарха Платоновича угадываются руководители Московского художественного театра — Станиславский и Немирович-Данченко.

Принципиально важное значение для развития повествования имеет и та обида, которую вызвало у героя процитированное газетное сообщение. Ведь он как раз-таки и является автором такой современной пьесы. Замкнутость от внешнего мира и сложившаяся привычка получить информацию о нем только через периодическую печать имели и другие, более серьезные последствия для героя: «Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.

— Позвольте, — обиженно надувая губы, бормотал я, — как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?

Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.

Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:

«Телом в Калькутте, душою с вами».

— Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, — шептал я, зевая, — а я как будто погребен.

Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи». [IY, 520–521]

Всего лишь одно небольшое газетное сообщение вызывает у героя и автора повествования разнонаправленную реакцию. Во-первых, к тому, что благодаря газетам и журналам он приобрел «привычку разговаривать с самим собой», добавляется то, что герой вспоминает и начинает цитировать собственную пьесу. Во-вторых, не без иронии Максудов замечает, что «жизнь кипит там, гудит, как в плотине». А в-третьих, эти «кипение» и «гудение» еще более убеждают героя в том, что он живет в изоляции от мира театров, пьес, режиссеров, он «как будто погребен». Газетная заметка только усиливает в герое ощущение безвозвратно уходящего времени, которое оставляет после себя только неудачу.

Средствам массовой информации суждено было появиться в жизни автора «Записок» еще раз, когда он, понеся «неимоверные, чудовищные расходы... в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха» и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно...» [IY, 532]

Средства массовой информации на протяжении всего романа остаются для бывшего маленького сотрудника ведомственной газеты явлением, если не отрицательным, то, как минимум, равнодушным к его судьбе. Хотя в последнем случае в одной из редакций рассказ все-таки приняли. Максудов называет это «чудом», благодаря которому ему удалось ликвидировать «страшную брешь» в личном бюджете и снова вернуться в театр.

Михаил Александрович ШОЛОХОВ

1905–1984

В сборниках Михаила Шолохова «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) средства массовой информации представлены эпизодически и значимой роли в развитии действия, чаще всего, не играют. Газета может присутствовать в качестве *бытовой подробности*, как, к примеру, в рассказе «Калоши» (1926), где герой Семка доставал «кисет и, слюнявя клочок «Крестьянской газеты», сворачивал подобие козьей ножки».¹

Когда Семка продал быка и решил на вырученные деньги немного приодеться, то «лохмотья Семкины приказчик брезгливо заворачивает в газету и сует ему под мышку». [186]

В рассказах «Кривая стежка», «Червоточина» (1925) газета также присутствует в качестве материала для «козьей ножки». Однако в последнем рассказе газета упоминается и в качестве *средства характеристики* как одного человека, так и целого класса, к которому он принадлежит: «Яков Алексеевич — стариннойковки человек: ширококостый, сутуловатый; борода как новый просяной веник, — до обидного похож на того кулака, которого досужие художники рисуют на *последних страницах газет*. Одним не схож одежей. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рылом, а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубаше, распоясавшись и босой...» [192]

Яков Алексеевич как кулак, узнаваем, и в этом заслуга тех «досужих художников», что рисуют в газетах карикатуры на кулаков. Но в то же время герой отличается от этих изображений и отличается, прежде всего, потому, что намеренно лишился значительной части своего крестьянского хозяйства и стал одеваться попроще, вовремя сообразив, что кулаком в нынешнее время быть небезопасно.

Герой рассказа «Батраки» (1928) Федор, уйдя от своего хозяина, который отказался платить ему за два месяца работы, приходит к комсомольцам хутора Дубовского и после той жизни, которую понима-

¹ Шолохов М.А. Калоши // Шолохов М.А. Рассказы. — 2-е изд., стереотип., М.: Дрофа, 2003. С. 178. Далее рассказы М.А. Шолохова цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

ет как «безрадостную и постылую», начинает приобщаться к новой: «<...> Цепко прислушивался Федор к новым, неведомым ему раньше, мыслям и словам, все вбирал жадно-пытливым умом, что слышал на длинных субботних политчитках и беседах с агрономом о таком волнующе близком деле, как сельское хозяйство. Но все же ему трудно было угоняться за остальными ребятами; те вызубрили политграмоту назубок, *читали газеты*, целый год слушали беседы местного агронома и на каждый вопрос могли ответить толково и ясно (секретарь Рыбников, вдавив в веснушчатые щеки кулаки, читал даже Маркса), а Федор — парень не шибко грамотный». [234]

Концепт газета, которая дошла даже до дальнего донского хутора, в содержании рассказа наполняется, таким образом, значением *показатель новой жизни*. Чтение газет выступает в качестве свидетельства образованности и развитости, поэтому сверстники Федора, которые, в отличие от него, «читали газеты», выглядят грамотными, разбирающимися в проблемах и задачах новой жизни.

В рассказе «Смертный враг» (1926) Ефим Озеров, избранный в члены сельского Совета, начинает борьбу с теми, кто противится новой жизни. В этой борьбе ему нужны помощники: «Тут не пером надо подсоблять, а делом! Селькоров этих расплодилось ровно мух. И с делом, и с небылицами *прут в газету*, иной раз читать тошно. А спроси, много из них каждый сделал? Заместо того чтоб хныкать да к власти под подол, как дите к матери, забираться, кулаку свой кулак покажи. Что? К чертовой матери! Беднота у Советской власти не век должна сиську дудолить, пора уж самим по свету ходить... Вот именно, без помочей! Прошел я в члены Совета, а теперь поглядим, кто кого». [162]

Герой высказывает свое отрицательное отношение к новому для периодической печати явлению — селькорам. С одной стороны, понятно, что их много («расплодилось ровно мух»). А с другой, человек, занятый конкретным делом, борьбой с богатеями, которые хотели бы оставить все, как было при прежней власти, толку от этих селькоров видит мало. В его представлении, они «прут в газету» как с делом, так и «с небылицами». Идея Маяковского о том, что «газета — это не чтение от скуки», а «наши глаза и руки» относительно селькоров категорически не разделяется человеком, который встал на путь борьбы с богатеями и старым устройством казачьего мира. Чтение газетных выступлений селькоров создало у Ефима Озерова впечатление, что они только научились хныкать, «да к власти под подол, как дите к матери, забираться», а надо уметь показать «кулаку свой кулак».

Герой относится к деятельности селькоров и к самим газетам недоверчиво. Это проявляется и в такой, на первый взгляд, малозначительной детали. После того, как в Ефима стреляли, он приходит в исполком, где уже сидит председатель, которого Ефим подозревает в том, что стрелял именно он: «На скрип двери мельком взглянул на Ефима и снова *склонился над газетой*.

— Рвачев! — окликнул Ефим.

— Ну? — отозвался тот, не поднимая головы.

— Рвачев! Гляди сюда!..

Председатель нехотя поднял голову, и прямо на Ефима глянули из-под крутого излома бровей широко расставленные серые глаза». [169–170]

Сам Ефим, между тем, хоть и рассуждает о том, что пишут в газетах селькоры, ни разу не предстает в рассказе с газетой.

В рассказе «Пастух» (1925) Григория Фролова не без трудностей выбирают пастухом хуторского стада. Эта работа нужна ему для того, чтобы с сестрой не умереть с голоду и чтобы в будущем обязательно пойти учиться: «Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашевской республикой. В городах — там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы — кулак и по хуторам председатели — богатей...» [27] Желая помочь Григорию в осуществлении задуманного, секретарь ячейки Политов дает ему «свежую литературу»: газеты и книжки. При этом писатель отмечает, как Политов «из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки».

В глазах сельских комсомольцев партийная печать не теряет своей ценности и по прошествии времени, «давнишние номера» газеты «Правда» сохраняются и передаются из рук в руки. В отличие от героя рассказа «Смертный враг», он так же, как и сам Григорий, относится газетам как к одному из средств изменения жизни к лучшему, при этом имеется в виду и жизнь в целом, и жизнь каждого отдельного человека. Эти газеты являются едва ли не единственным источником достоверной информации, но они выступают и в качестве *средства политического воспитания*.

О том, какую ценность представляет для деревенского активиста печатное слово, свидетельствует эпизод, в котором Политов вместе с книгами и газетами пытается наделить Григория продуктами: «Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:

— Держи...

За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами ниже.

Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.

Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:

— Пойдешь домой — захвати вот это!

— Не возьму я... — вспыхнул Григорий.

— Как же не возьмешь?

— Так и не возьму...

— Что же ты, гад! — белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил. — А еще товарищ! С голоду будешьдохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба врозь...

— Не хочу я брать у тебя последнее...

— Последняя у попа попадья, — уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок». [28–29]

В данном эпизоде психологически интересно передано, как человек, живущий впроголодь и вдали от людей, в первую очередь обращает внимание на газетные строки и не сразу замечает то, что в мешок для него сыплется мука. Голод, который можно назвать информационным и интеллектуальным, оказывается сильнее голода физического. Потребность в газетном слове, которое, в представлении героев, помогает, учит жить, преодолевать трудности, такова, что Григорий у Шолохова не читает и не пробегает, а именно *нижет* газетные строки глазами.

Однако герой шолоховского рассказа не только стремится получать информацию, он солидарен с Маяковским в том, что «газета — это не чтение от скуки». Он, опять же по Маяковскому, понимает газету как «наши глаза и руки». Поэтому, услышав рассказ кузнеца Тихона про «жизнь наше поганое» — о том, как новый председатель сельского совета делил землю, о том, как «опять на хребтину нам садятся богатеи», решил написать об этом в газету: «До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных разлапистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки. Писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота. И, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев Тихону-кузнецу, говорил:

— Доведется в округ сходить, то спросишь, где газету «Красную правду» печатают. Отдашь им вот это... Я разбористо писал, только не мни, а то уголь сотрешь...» [31]

Здесь концепт газета наиболее последовательно наполняется таким содержанием, как *средство борьбы* за лучшую жизнь, за справедливость,

какой понимает ее герой. Особую выразительность и значимость происходящему придает тот факт, что свою заметку в газету герой пишет углем на кукурузных листах. Это является еще одним свидетельством того, от какой жизни, в том числе и с помощью советской печати, хотел бы уйти герой.

Информация Григория дошла по нужному адресу, и результат не заставил себя долго ждать. В один из осенних дней к нему приехали двое конных: «Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими; достал желтый газетный лист. Развернул на ветру.

— Ты писал это?

Заплясали у Григория его слова, с листьев кукурузных снятые, про передел земли, про падеж скота...» [32]

Этот эпизод свидетельствует о том, как в редакциях газет относились к селькорам, тем самым, которых так не любил герой одного из рассказов Шолохова. Редакция «Красной правды» не погнушалась тем, чтобы разобрать написанное углем на кукурузных листах, чтобы сделать информацию неизвестного автора достоянием гласности. Однако герой даже не успел порадоваться тому, что его «слова, с листьев кукурузных снятые», стали газетной страницей, он успел только улыбнуться в разговоре с председателем, который «из кармана наган выхватил... прохрипел, задерживая мордующую лошадь:

— Будешь в газетах писать, гадюка?

— За что ты?..

— За то, что через тебя под суд иду. Будешь кляузничать?.. Говори, коммуначий ублюдок!

Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием». [32]

В представлении председателя, «в газетах писать» — это значит «кляузничать». А Григорий умирает с вопросом о том, разве можно убивать за выступление в газете. Рассказ наполняет газетную деятельность селькоров содержанием *смертельной опасности*, не менее смертельной, чем для героя рассказа «Смертный враг», в которого тоже стреляли, но он остался жив, хотя и с ним в конце рассказа тоже расправятся.

В романе-эпопее «Тихий Дон» (1928–1940) концепт средства массовой информации представлен преимущественно газетой. В книге первой журнал встречается только один раз. Владимир Мохов входит к отцу в кабинет, чтобы рассказать о том, что говорил на мельнице Да-

выдка и видит, что отец Сергей Платонович Мохов «на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства».¹

«Русское богатство» — литературный, научный и политический ежемесячный журнал, выходивший с 1876 по 1918 год. Был основан в Москве, но с середины 1876 года выходил в Петербурге. С 1880 года издавался артелью писателей-народников, среди которых были Н.Н. Златовратский, Г.И. Успенский, В.М. Гаршин. В 1893 году редакцию журнала возглавили Н.К. Михайловский и В.Г. Короленко, сделавшие его идеологическим и культурным центром либерального народничества. Ко времени, описываемому Шолоховым, «Русское богатство» являлся органом «народных социалистов», группы писателей и публицистов, которые занимали промежуточное положение между эсерами и кадетами.

Журнал в руках персонажа выполняет функцию *характеристики его культурного уровня* и свидетельствует об определенных политических симпатиях главы купеческого дома. Не случайно, именно в доме Сергея Платоновича по вечерам собиралась хуторская интеллигенция. Подстать Мохову, его коммерческий компаньон Емельян Константинович Атенин, «читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишकाстый нос в золотое пенсне». [I, 119] «Биржевые ведомости» — ежедневная политическая, общественная и литературная газета, издававшаяся в Петербурге с 1880 по 1917 год. Она была одним из самых информированных периодических изданий России в области международной жизни и внешней политики.

Чтение газеты «Биржевые ведомости», скорее всего, выполняет ту же функцию, что и золотое пенсне, нужды в котором у героя не было — создавать впечатление культурного и образованного человека.

Когда Григорий Мелехов приходит в дом Сергея Платоновича Мохова наниматься в работники, то отмечает такую деталь: в столовую входит молодой офицер «со сложенной вчетверо газетой». [I, 166] Для рядового казака газета, если и не была диковиной, оставалась явлением, в котором не было особой необходимости. Хотя в четвертой книге эпопеи есть свидетельство того, что на хутор газеты доходили. Прохор Зыков, который стал часто захаживать «на старое мелеховское подворье, разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил: «У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами — содрал и покурил...» [IV, 302]

¹ Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман в 4-х кн. — М.: Профиздат, 1990. С. 118. Далее текст романа-эпопеи цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

Только с началом войны в романе-эпопее газета входит в жизнь рядового казака, который вышел за пределы своих ежедневных забот, который оторван от родного куреня и хуторских проблем. Когда составы увозят казаков к русско-австрийской границе, те видят, как преодолеваемое ими пространство, особенно станции, уже наполнено словом «война» и слышат «газеты, захлебывающиеся воем...» [I, 244]

Этот вой мог быть только ура-патриотическим, прославляющим русское воинство и обещающим ему скорую победу.

Тому, что из боевого столкновения казака Крючкова «сделали подвиг», в немалой степени способствовала периодическая печать, так как «чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов». Героизму Крючкова, как оно было представлено средствами массовой информации, Шолохов противопоставляет свое видение произошедшего, и это видение, естественно, представляется ему подлинным: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, испугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные.

Это называли подвигом». [I, 278–279]

Геройское поведение Григория Мелехова тоже попало на газетные страницы. Если Пантелей Прокофьевич узнал о подвиге Григория и о том, что ему за это дали Георгиевский крест и произвели в младшие урядники, из письма Петра, то Мохов знает об этом из газет. Первый гордится тем, что его сын «первый крест изо всего хутора имеет», а второй стремится высказать ему свое уважение: «Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз.

— Зайди-ка, Прокофьевич.

Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил:

— Ну, поздравляю, поздравляю... Кхм... Таким сыном гордиться надо, а вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах.

— И в газетах прописано? — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.

— Есть сообщение, читал, читал». [I, 328]

Особый вес подвигу Григория в глазах Мохова, а затем и самого Пантелея Прокофьевича придает тот факт, что о нем «в газетах прописано». Хуторской народ хоть сам газет, в отличие от купца Мохова, и не читает, вполне обходится без них, но относится к газетному слову уважительно и с большим доверием. Газета выступает в его глазах в ка-

честве некоего *достойного места*, в котором почем зря или о всяких пустяках писать не будут. Результатом такого отношения стало то, что, по словам Пантелея Прокофьевича, теперь «честь-то Гришке какая!.. Весь хутор об нем гутарит...» [I, 328] А Мохов одарил его лучшим турецким табаком, дорогими конфетами и просил передать от него поклон Григорию.

Встретив по дороге домой свата Мирона Григорьевича, Пантелей Прокофьевич в ответе на вопрос последнего о том, что тот «никак с покупкой», не преминул подчеркнуть, что это не покупки, а подарок герою, о подвиге которого пишут даже в газетах: «Это, сват, герою нашему подарки. Сергей Платонович, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. «Пошли, грит, своему герою от меня поклон и подарки, пушай он и в будущие времена так же отличается». Ажник слеза его прошибла, понимаешь, сват? — безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление». [I, 329]

На фронте так же, как и в тылу, рядовые казаки знают, о чем пишут газеты лишь понаслышке, с чужих слов. Когда Григорий возвращается к своей сотне, что стояла в городе Каменка-Струмилова, казак Прохор Зыков просвещает его с чужих слов: «Тут рядом с нашим двором стоит батарея конногорного дивизиона, маштаков выкармливают. Ферверкер ихний в газете читал, что союзники немцев, что называется, — вдрызг». [I, 341]

Сам Прохор той газеты в глаза не видел, но тот факт, что о разгроме союзниками немцев написано в газете, является для него свидетельством достоверности этой информации.

Прямо противоположное, в силу своей образованности, отношение к периодической печати демонстрируют в эпосе Шолохова представители высшего сословия. Когда старший Листницкий получил известие от сына из варшавского госпиталя о том, что тот по излечении намеревается приехать в родовое имение Ягодное, чтобы использовать положенный ему после ранения отпуск, то выслал ему телеграфом деньги и написал короткое письмо, в котором, в частности, задавал вопросы и замечал: «Что ж это творится там, на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации: лжива она насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?...» [I, 349]

Старший Листницкий в отношении к газетной информации пользуется принципом аналогии: если пресса была лжива в прошлые годы,

то и сегодня «лжива она насквозь». В противоположность генералу Листницкому, Сергей Платонович Мохов видит в газетах надежный источник информации. Узнав о том, что к старому генералу приехал младший Листницкий, он отправляется в Ягодное, чтобы узнать от него последние новости о происходящем в стране. В разговоре с отцом и сыном Листницкими он жалуется: «Ведь у нас ничего толкового нет, — волнуясь, заговорил Платонович; поерзав в кресле, он закурил, продолжал: — *Газет не получаем* уже неделю. Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать». [II, 72]

Отсутствие газет с их информацией о происходящем — это настоящая беда. Замечание же героя о том, что «у нас ничего толкового нет», выводит газеты, которых на хуторе не получают уже неделю, в разряд «толкового» в глазах человека, который не хочет верить слухам, тем более, когда они «самые невероятные».

Отношение Евгения Листницкого к прессе также отличается от того, как ее понимает отец. После возвращения из отпуска он со своим полком попадает в Петроград. На квартире, где разместились офицеры, у него происходит такой разговор с подьесаулом Атаршиковым: «... Ну, так что в газетах?

— ... А в газетах что? Описание выступлений большевиков, правительственные мероприятия... Почитай!» [II, 90]

Эпизод, с одной стороны, примечателен тем, что передает представление одного из персонажей о главном, чем были заполнены столичные газеты в период между двумя революциями. А с другой, — в нем просматривается отношение Евгения Листницкого, который без особого интереса, скорее, по привычке интересуется газетными новостями.

Данное наблюдение подтверждается еще и тем, что для Евгения Листницкого город, от которого он отвык за годы войны, это — «разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков». [II, 90–91] В таком упоминании нет никакой оценки, крики газетчиков — это одна из примет городской жизни.

Неодобрительное отношение городского обывателя к газетам проявляется всего лишь в одной реплике, которую слышит Бунчук, идущий через толпу на привокзальной площади в Ростове-на-Дону: «Флот не пойдет... что там глупости пороть! — слышалось рядом.

— А чего не пойдет?

— *В газетах в этих...*» [II, 184]

Во второй книге «Тихого Дона» газета появляется в качестве *источника и основания политических убеждений*. Когда Евгений Листницкий спросил Бунчука о том, зачем с такими революционными воззрениями тот добровольно отправился на фронт и даже выслужился до офицерского чина, «Бунчук вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой жилистой ладонью пожелтевший от старости газетный лист». [II, 11]

То, что газетный лист был «пожелтевший от старости», это — деталь, свидетельствующая о том, какой ценностью обладало для героя напечатанное давно в газете, и эта ценность раскрывается героем сразу: «<...> Вот тут сказано... И он прочел слова Ленина:

— «Возьмем современное войско. Вот — один из хороших образчиков организации. И хороша эта организация только потому, что она — *гибкая*¹, умея вместе с тем миллионам людей давать *единую волю*. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам, в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей, завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы.

То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации...» [II, 11]

Бунчука прервет вопросом один из персонажей, но Листницкий попросил читать дальше, и Бунчук продолжил: «... Сегодня нет налицо революционной ситуации, нет условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень — бери его, умей организовать для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент на теплые местечки людей, цепляющихся за кресло из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень, тебе дали в руки ружье и великолепную,

¹ Здесь и далее в цитате курсив В.И. Ленина. — С.А., С.В.

по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения *против своего правительства и своей буржуазии...*» [II, 12]

Газета, таким образом, предстает как источник информации, в котором есть *доступное изложение* сути вещей и явлений современной жизни, *разъяснение* сложившегося положения и *представлен план* конкретных действий во имя изменения этой жизни. В итоге — газета выступает в качестве одного из наиболее действенных средств *революционной агитации партии большевиков*. Таковой она представлена в связи с одним героем, однако процессы, происходящие в армии и в мирной жизни, как они описаны у Шолохова, говорят о том, что таких, как Бунчук, пришедших в революцию, благодаря революционной агитации, в том числе и через газеты, было много.

Упоминание газеты как средства революционной агитации есть и в эпизоде, когда офицеры полка Евгения Листницкого обсуждают назначение генерала Корнилова командующим Юго-Западного фронта. На горячую речь Евгения о том, что надо преодолеть расхлябанность, чтобы подготовиться к будущей борьбе с большевиками один из офицеров замечает: «Ты думаешь, мы этого не понимаем? Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. «Приказ № 1»¹ и «Окопная правда»² сеют свои семена.

— А мы любимся на всходы вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла! — крикнул Атарщиков.

— Нет, не любимся, — мы бессильны!» [II, 96–97]

Приказ о введении выборных организаций в войсковых частях и большевистская газета «Окопная правда» выступают в качестве главных сил, способствующих развитию революционных настроений в армии. И против этих сил старые методы управления армией оказываются бессильны.

¹ «Приказ № 1» (1/III — 1917 г.) Исполнительного комитета Петроградского Совета, изданный под давлением революционно настроенных масс, вводил выборные организации в войсковых частях и контроль этих организаций над действиями старого царского командного состава. Примечание М.А. Шолохова. — С.А., С.В.

² «Окопная правда» — боевая большевистская газета. Примечание М.А. Шолохова. — С.А., С.В.

О том, какое отношение к газете, как средству революционной агитации, было характерно для рядовых казаков, свидетельствует эпизод, в котором Бунчук прибывает в свой родной полк, чтобы остановить движение казачьих частей на Петроград. Один из казаков просит его разъяснить ситуацию, когда к казакам «подбираются разные агитаторы», которые отговаривают их идти на Петроград, но они для казаков «народ чужой», и веры им нет: «... А вот ты — наш, казак, и мы тебе веры больше даем и очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал и газеты опять же... тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим...

— Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова? — возмущенно перебил один. — Ты — неграмотный, так думаешь — и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалоча.

— Набрехал, дьявол грызной!

— «На курево» — рубанул тоже!

— С дуру, как с дубу!

— Братушки! Я не в том понятии сказал, — оправдывался казак с серьгой. — Конечно, спервоначалу мы газеты читали...

— Вы самое читали?

— Мне грамоту не привелось узнать... к тому говорю, что вообще читали, а потом уж на курево...» [II, 138]

В этом эпизоде, как и во множестве других, газета присутствует в качестве бытовой необходимости для курящего человека на войне. Однако такое значение газеты, по мнению большинства казаков, которое отражено в их репликах, в новых условиях является уже вторичным, иначе бы они не прочитывали ее «от головы до хвоста» прежде, чем пустить «на курево». Получается, что присылаемые Бунчуком, естественно, большевистские газеты были нужны и интересны казакам, пытавшимся разобраться в событиях, непосредственными участниками которых они были или в ближайшее время могли стать.

В третьей книге Шолохов приводит интересное наблюдение над тем, как к середине 1918 года изменился сам внешний облик газет. Автором этого наблюдения в романе-эпопее является Евгений Листницкий. После двух ранений, полученных во время ледяного похода, он решил провести двухнедельный отпуск в Новочеркасске, в доме ротмистра Горчакова. О времяпрепровождении Евгения писатель, в частности, сообщает: «Целыми днями валялся он под яблоней, в оранже-

во-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном». [III, 44]

И дело даже не в том, что перед нами вполне документальное свидетельство того, как во время гражданской войны изменился сам внешний облик газет, что, естественно, характеризует данную эпоху. Важнее другое. Изменившейся внешний облик газет дан в восприятии Евгения Листницкого именно потому, что для людей его круга, газета — это не только то, что напечатано, но и то, как это выглядит, как это преподносится.

Особенно показательно выглядит газета в эпопее Шолохова в тот момент, когда рядовой участник войны сравнивает свои представления о ходе ее с тем, как об этом пишут газеты. Принципиально важным для понимания образа главного героя является и то, что он оказывается среди тех, кто не верит газетам: «Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настроены примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. В полк *изредка приходили газеты*. Григорий с ненавистью брал в руки желтый, набранный на оберточной бумаге номер «Верхне-Донского края» и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел зубами. А казаки добродушно ржали, когда он читал им вслух бравурные, притворно-бодрые строки:

«27 сентября на филоновском направлении бои с переменным успехом. В ночь на 26-е доблестный Вешенский полк выбил противника из хутора Подгорного, на плечах его ворвался в хутор Лукьяновский. Взяты трофеи и огромное количество пленных. Красные части отступают в беспорядке. Настроение казаков бодрое. Донцы рвутся к новым победам!» [III, 83–84]

Об отношении главного героя к газетам более чем выразительно свидетельствует замечание о том, что он «с ненавистью» брал газету в руки. И дело, конечно же, не в том, что газета «Верхне-Донской край» была набрана «на оберточной бумаге» (эту особенность издаваемых на Дону газет, как мы помним, отмечал и Евгений Листницкий). Дело было совсем не во внешнем виде газеты: Григорий Мелехов «скрипел зубами», просматривая сводки с фронтов.

Газетные строки, описывающие ход военных действий, определяются им как «бравурные» и «приторно-бодрые». Однако, в отличие от Мелехова, казаки, слушая чтение этих строк, только «добродушно ржали», в первую очередь, над тем, что «настроение казаков бодрое» и над тем, что «донцы рвутся к новым победам!» Лживость газетных

сообщений очевидна для казаков, как непосредственных участников описываемых событий: «Сколько пленных-то забрали мы? Огромное число? Ох-ох, су-у-укины сыны! Тридцать два человека взяли-то! А они... ах-ха-ха-ха!.. — покатывался Митька Коршунов, во всю ширь разевая белозубый рот, длинными ладонями стискивая бока».

Не верили казаки и сведениям об успехах «кадетов» в Сибири и на Кубани. Больно беззастенчиво и нагло врал «Верхне-Донской край». Охваткин — большерукий, огромного роста казак, — прочитав статью о чехословацком мятеже, заявил в присутствии Григория:

— Вот придавят чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ним была, — и потекет из нас мокрая жижа... Одно слово — Расея! — И грозно закончил: — Шутишь, что ля?

— Не пужай! Аж возле пупка занойло от дурацкого разговору, — отмахнулся Прохор Зыков.

А Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: «Верно!» [III, 84]

Не случайно, мысль о лживости газетных сообщений о происходящем на фронте повторяется в данном эпизоде неоднократно. Газета, рассчитанная на рядового казака, явно не справлялась со своей ролью агитатора и организатора, казаки знали истинное положение дел, как непосредственные участники событий. Главный герой высказывает свое понимание происходящего всего лишь одним словом, и в этом слове есть также и реакция его на газетное слово. То, что у его сослуживцев вызывает веселое ржание, заставляет Григория Мелехова скрипеть зубами, так как для него за бравурными и притворно-бодрыми строками уже проступают черты будущей трагедии белого движения и казачества. Газеты являются одной из причин того, что к вечеру дня, когда пришла газета с очередным сообщением о «доблестной» победе Вешенского полка, Григорий Мелехов пришел к неутешительному выводу: «Некуда податься!» [III, 84]

Одним из самых показательных в эпопее Шолохова является рассказ о том, как казаки, восставшие против советской власти, воспринимали, что писали о них газеты красных. Приехавшему на совещание в Вешенскую Григорию Мелехову Кудинов дает почитать газету «В пути», которую нашли у одного из зарубленных казаками красных курсантов: «Расчудесно они нас описывают! — Кудинов протянул Мелехову газету с оторванным на «козью ножку» углом.

Григорий бегло взглянул на заголовок статьи, отмеченной химическим карандашом, начал читать:

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ

Восстание части донского казачества тянется уже ряд недель. Восстание поднято агентами Деникина — контрреволюционными офицерами. Оно нашло опору в среде казацкого кулачества. Кулаки потянули за собой значительную часть казаков-середняков. Весьма возможно, что в том или другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных представителей Советской власти. Этим умело воспользовались деникинские агенты, чтобы раздуть пламя мятежа. Белогвардейские прохвосты притворяются в районе восстания сторонниками Советской власти, чтобы легче втереться в доверие к казаку-середняку. Таким путем контрреволюционные плутни, кулацкие интересы и темнота массы казачества слились на время воедино в бессмысленном и преступном мятеже в тылу наших армий Южного фронта. Мятеж в тылу у воина то же самое, что нарыв на плече у работника. Чтобы воевать, чтобы защищать и оборонять Советскую страну, чтобы добить помещичье-деникинские шайки, необходимо иметь надежный, спокойный, дружный рабоче-крестьянский тыл. Важнейшей задачей поэтому является сейчас очищение Дона от мятежа и мятежников.

Центральная Советская власть приказала эту задачу разрешить в кратчайший срок. В помощь экспедиционным войскам, действующим против подлого контрреволюционного мятежа, прибыли и прибывают прекрасные подкрепления. Лучшие работники-организаторы направляются сюда для разрешения неотложной задачи.

Нужно покончить с мятежом. Наши красноармейцы должны проникнуться ясным сознанием того, что мятежники Вешенской, или Еланской, или Букановской станиц являются прямыми помощниками белогвардейских генералов Деникина и Колчака. Чем дальше будет тянуться восстание, тем больше жертв будет с обеих сторон. Уменьшить кровопролитие можно только одним путем: нанося быстрый, суровый сокрушающий удар.

Нужно покончить с мятежом. Нужно вскрыть нарыв на плече и прижечь его каленым железом. Тогда рука Южного фронта освободится для нанесения смертельного удара врагу». [III, 332]

Процитированная полностью статья дает представление о том, как новая власть использовала возможности периодической печати. Статья носит ярко выраженный агитационный характер. При этом ее агитационность рассчитана и на тех, кто участвует в восстании, и на тех, кто его подавляет. Участники Вешенского восстания не могли не за-

метить того, как в статье признаны ошибки новой власти, отдельные представители которой несправедливо притесняли казаков. С другой стороны, в статье образно указано на то, чем является «мятеж в тылу у воина», который защищает свою новую власть. В ней четко и определенно названы те, кто является организаторами подлого мятежа в тылу и кому он на руку. Однако самое главное заключается в том, что статья написана в таком стиле, в таком тоне, что не только у воюющих против восставших, но и у самих восставших развеиваются сомнения относительно того, что Вешенское восстание будет в любом случае подавлено, причем «в кратчайший срок».

Если для Кудинова в большевистской газете «расчудесно» описывают восставших, то сам Григорий Мелехов удивлен и раздосадован той трактовкой, какую дает Вешенскому восстанию газета: «Григорий dokonчил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. «Черкнули пером и доразу спаровали с Деникиным, в помощники ему зачислили...» [III, 333]

Слова статьи о том, что «красноармейцы должны проникнуться ясным сознанием того, что мятежники» — это прямые, явные помощники «белогвардейских генералов Деникина и Колчака», рассчитаны не только на красноармейцев, но и их противника. И реакция главного героя на эти слова свидетельствует о том, что они достигли цели. Идеиная основа восстания, организаторы и участники которого хотели своей казачьей власти, без красных и без белых, не признается советской властью, которая видит в восстании только удар в спину, только стремление помочь Деникину и Колчаку. Именно это более все раздражает Григория Мелехова, вызывает его досаду и озлобление.

Для Михаила Кошевого в его мирной жизни, когда он остался «единственным и полновластным хозяином» в доме Мелеховых, газетные сообщения являются одним из свидетельств того, что он рано обратился к этой мирной жизни: «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил...» — с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев». [IV, 290] Ощущение того, что герой рано принялся за мирную жизнь приходит благодаря тому, что окружная газета писала о положении на фронте. Никаких других свидетельств того, что и как было представлено в газете, в тексте нет, что позволяет сделать вывод о достоверности той информации, которую приносила окружная газета.

Для остальных хуторян основой для размышлений служили слухи, из которых выходило, что «Советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант... Слухи, один нелепей другого, распространялись по хутору». Михаил Кошевой в глазах казаков выглядел информированным человеком, так как читал газеты, поэтому казаки, «встречаясь с Мишкой, с деланным равнодушием спрашивали: «Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там, Врангеля скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?» [IY, 290]

В таком контексте газеты, хоть и называемые казаками «газетками», выступают в качестве *оппозиции слухам*. Нельзя с уверенностью сказать, чему казаки верят больше, слухам или газетам, но принципиально важно уже само стремление сравнить эти два источника информации о происходящем. Хотя Михаила Зыкова, к примеру, газеты Михаила Кошевого интересовали, прежде всего, как материал для самокруток: «Что же, зараз мне надо капустные листья курить али, скажем, лопухи вялить на бумагу? Нет, Михаил, как хочешь, а давай газетку. Я без курева не могу. Я на германском фронте свою пайку хлеба иной раз на восьмушку махорки менял». [IY, 302]

В романе «Поднятая целина» (1932–1960) уже первое упоминание газеты связано с пониманием ее публикаций как руководства к действию. Речь, естественно, идет о главной газете коммунистов, о «Правде». Для того чтобы отстоять свою мысль о необходимости более решительного и сурового отношения к кулакам, Давыдов ссылается на речь И.В. Сталина на конференции марксистов-аграрников, опубликованную в «Правде»: «Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот? Это как?.. «...Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий... — Секретарь сдержался и уже тише продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь»¹

Газета в данном контексте является средством характеристики героев, которые, в зависимости от предрасположенности к тем или иным решениям, в восприятии речи Сталина делают акцент на том, что, по их мнению, является наиболее верным и главным, что должно способствовать скорейшему утверждению идеи коллективизации.

Показательно упоминание газеты в связи с раскулачиванием Титка, который, не желая сдавать обрез, так объясняет свое поведение: «Нет, не дам! — и улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные, обкуренные зубы, глядя на Нагульнова острыми, как у хоря, но веселыми глазами. — Не дам! Имущество забираете, да еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насушный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей...» [I, 50]

В словах Титка присутствует свое понимание того, как о кулаке пишут современные советские газеты, представляя его обязательно вооруженным обрезом, и герой воспринимает такую газетную деталь в качестве руководства к действию. Остается только непонятным его упоминание селькоров, которые в тексте романа более не встречаются.

Как бытовая подробность, газета в «Поднятой целине» выступает в новых для нее качествах. В одном из эпизодов Нагульнов «мастерит из газетного листа абажур на лампу». [I, 58] В другом случае есть указание на то, что арестованные Нагульновым трое колхозников «благополучно переночевали на разостланных на полу комплектах старых газет». [I, 178]

Повествуя о первой неделе пребывания Давыдова в Гремячем Логу, автор замечает, что «по ночам, придя из сельсовета или из правления колхоза, разместившегося в просторном Титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком

¹ Шолохов М.А. Поднятая целина: Роман: В 2 кн. / Сост., подгот. текста, варианты, прим., статья Ю.А. Дворяшина. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. — Кн. I. С. 10–11. Далее роман цитируется по этому изданию с указанием книги и страницы в тексте.

«Правду», «Молот», и опять в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к колхозу, к событиям прожитого дня». [I, 93]

«Молот» — ежедневная газета Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б), выходившая с 1924 года до объединения в 1928 году с другой краевой газетой «Советский Юг».

Последующее повествование создает впечатление, что с помощью газет Давыдов словно бы пытался «выбраться из круга связанных с колхозом мыслей», найти пути решения новых для него колхозных проблем. А для Нагульнова газеты являются одним из доказательств того, что с врагами новой власти необходимо поступать более решительно и сурово, «как в гражданскую войну», чтобы не погубить мировую революцию, чтобы спасти рабочего человека от притеснений по всему миру: «<...> Там кругом буржуи рабочий народ истязают, красных китайцев в дым уничтожают, всяких черных побивают, а ты с врагами тут нежничает! Совестно! Стыдоба великая! В сердце кровь сохнут, как вздумаешь о наших родных братьях, над какими за границами буржуи измываются. Я *газеты* через это самое не могу читать!.. У меня *от газетов* все в нутре переворачивается! А ты... Как ты думаешь о родных братьях, каких враги в тюрьмах гноят! Не жалеешь ты их!..» [I, 115]

Газеты своими сообщениями о том, как «кругом буржуи рабочий народ истязают», только утверждают Нагульнова в том, что с врагами революции необходимо поступать самым жестоким образом. Словно бы в доказательство справедливости мнения Нагульнова Ванюшка Найденов в другом эпизоде рассказывает историю, якобы вычитанную в газетах: «... Нынче прочитал я газету, и сердце заныло...

... А заныло оттого, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал: в Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут...

... — Так вот, вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии Советской власти. Но их поймали лютые жандармы, одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повывергивали на голове все волосы. А потом разожгли докрасна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти...

... Спрашивают: «Говори, кто у вас еще в ячейке состоит, и отрекайся от комсомола». — «Не скажу вам, вампиры, и не отрекись!» — стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. «Скажешь?» — «Нет, — говорит, — умру от вашей

кровавой руки, а не скажу! Да здравствует коммунизм!» Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь...

— ...Жгут его огнем, а он только плачет кровавыми слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит: «Да здравствует пролетарская революция и коммунизм!» ...

— ... Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли арестовали его мать и привели в свою охранку. «Смотри, — кажут ей, — как мы твоего сына будем обрабатывать! Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем!» Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя — кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровавленные целует...

— «... Сынок мой родимый! Ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям!» — говорит ему мать, но он услышал ее голос и отвечает: «Нет, родная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять...» [I, 186—187]

В отличие от нагульновского обращения к тому, как газеты пишут о положении простого человека за рубежом, в капиталистических странах, рассказ Ванюшки содержит газетный сюжет в том виде, как он его запомнил, в том числе и с перечислением жутких подробностей зверств румынских жандармов. Пересказ газетной статьи о произошедшем с румынскими борцами за новую жизнь дает возможность наглядно увидеть, каким образом и в каком тоне писала советская пресса о капиталистическом мире.

Слушавшие Ванюшкин пересказ газетной статьи прерывали его проклятиями румынским жандармам, называли молодцом комсомольца, не выдавшего своих друзей. На самого рассказчика, который, по всей вероятности, добавил и красноречивых подробностей, и эмоциональности, собственный пересказ произвел не менее сильное впечатление, нежели на слушателей: «Побледневший Ванюшка замолк, обвел слушателей расширившимися глазами: у девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы, Акимова жена сморкалась в платок, шепча сквозь всхлипыванья: «Каково ей... матери-то... на своего дитя... го-о-ос-поди!..» Аким Младший вдруг крикнул и, ухватясь за кисет, стал торопливо вертеть сигарку; только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергалась щека и повело в сторону рот...» [I, 187]

Газетная статья, пусть и в пересказе (может быть, она от этого только выиграла), достигла своей пропагандистской цели. Уже собираясь уходить, Ванюшка решил высказать важную для него мысль, связать произошедшее в Румынии с тем, что происходит дома в связи с колхозным хозяйством: «...Да, умер герой рабочего класса — наш дорогой товарищ, румынский комсомолец. Умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело — помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть, а для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлебоборы, которые по несознательности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству — не сдают семенной хлеб... Ну, спасибо, хозяева, за завтрак! Теперь — о деле, насчет которого мы к вам пришли: надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору причитается засыпать ровно семьдесят семь пудов. Давай, хозяин, вези!» [I, 188]

Газетная статья возымела свое действие: на нерешительное замечание хозяина о том, что везти-то нечего, расчувствовавшаяся от Ванюшкиного рассказа хозяйка «метнула в его сторону озлобленный взгляд» и буквально приказала ему насыпать мешки и везти все в нужном количестве. Поддержал ее и дед Аким. Не захотела семья Акима препятствовать колхозному строительству и быть «помощниками румынским жандармам».

Однако самое поразительное выясняется, когда Нагульников с Ванюшкой пошли в следующий двор: «Нагульников, с радостным волнением глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил:

— Про комсомольца это ты выдумал?

— Нет, — рассеянно отвечал тот, — когда-то давно читал про такой случай в мопровском журнале.

— А ты сказал, что сегодня читал...

— А не все ли равно? Тут главное, что такой случай был, вот что жалко, товарищ Нагульников!

— Ну, а ты... от себя-то прибавлял для жалобности? — допытывался Нагульников.

— Да это же неважно! — досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко ежась, застегивая кожанку, проговорил: — Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и к капиталистическому строю, а к нашим борцам — сочувствие. Важно, что семена вывезли... Да я почти ничего и не прибавлял. А взвар у хозяйки был сладкий, на ять! Напрасно ты, товарищ Нагульников, отказался!» [I, 188—189]

Оказывается, не было никакой газетной статьи, но герой, зная о том доверии, которое испытывают его земляки именно газетному слову, выдает за таковую случай, о котором читал «в мопровском журнале». МОПР — Международная организация помощи борцам революции была организована в 1922 году с целью, которая отражена в названии. Организация издавала журнал «Интернациональный маяк», в котором, по всей вероятности, и был опубликован передаваемый Ванюшкой рассказ. Газета — явление более близкое и лучше известное тем, на кого рассчитан пересказ героя, поэтому журнал становится газетой. А время приближено с той целью, чтобы показать слушающим, как именно сегодня, в эти самые дни, когда они сопротивляются новым веяниям, за границей угнетают трудового человека и уничтожают тех, кто борется за его счастье. И не важно, прибавлял или не прибавлял что-либо герой «для жалобности», важно, что «люди ненависть почувствовали», «важно что семена вывезли». То есть даже не существующая газетная статья возымела свое пропагандистское действие.

Именно такого пропагандистского влияния газеты боится Половцев, о чем свидетельствует его разговор с Яковом Лукичом: «... Половцев помолчал, посуровел лицом и уже сухо, по-деловому спросил:

— Почта давно была?

— Зараз же разлой, лога все понадулись, бездорожье. Недели полторы не было почты.

— В хуторе ничего не слышно насчет статьи Сталина?

— Какой статьи?

— Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов.

— Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было напечатано, Александр Анисимыч?

— Так, пустое... Тебе это неинтересно...» [I, 198]

Анисим Александрович Половцев прекрасно знал, что для Якова Лукича статья «насчет колхозов» — это не «пустое», как и для любого сельского жителя, она будет весьма интересной. Это со всей очевидностью проявилось во время посещения Половцевым и Островным хутора Войскового. Один из старых казаков не дал вымолвить слова Якову Лукичу, который должен был подтвердить собравшимся готовность большинства гремьяченцев выступить против «ига коммунистов». Он обратился к Половцеву: «А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что... Тут вот до вашего прибытия совет промежду нас шел... Тут газетка дюже антиресная проявилась...

— Что-о-о? Что ты говоришь, дед? — хрипловато спросил Половцев.

— Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии...

— Секретаря! — поправил кто-то из толпившихся возле печи.

— ...То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца, — не спеша, старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную вчетверо газету. — Читали мы вслух ее промеж себя трошки заходя за вашего прибытия, и... выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами! Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит... Мы вчера прослыхали про эту газету, а ноне утром сел я верхи и, на старость свою не глядя, мотнулся в станицу. Через Левшову балку вплынь шел, со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомого в станице за-ради Христа выпросил — купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил! А посла уже доглядели, а на ней обозначенная цена — пять копеек! Ну, да деньги мне с общества соберут, с база по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник, кубыть, даже превышает...» [I, 200–201]

Приведенный эпизод является одним из ярчайших примеров ответственности периодической печати. Вовремя дошедшее до читателей нужное слово радикально меняет развитие действия. «Дюже антиресная» газетка, которая «проявилась» в среде тех, кто уже готов был выступить против советской власти, привела их к мысли о том, что «другая линия жизни» им, «то есть хлеборобам, выходит». Главный результат того, что статья о колхозах была прочитана, заключается в том, что «разлучает эта газетка» казаков с организаторами восстания. Неизвестно, как развивались бы события и судьбы героев «Поднятой целины», если бы не статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете «Правда» и других центральных изданиях 2 марта 1930 года.

Упоминание о том, что за газету, цена которой пять копеек, заплачено пятнадцать рублей, но «газета денег этих стоит» и «даже превышает», лишний раз подчеркивает цену вовремя сказанного печатного слова.

Попытка Половцева представить выступление старого казака, как необдуманное и выражающее только его личное мнение, успеха не имела. В ответ выступил другой казак, который еще раз подтвердил, что газетная статья развела казаков хутора Войскового с заговорщиками: «... И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет,

и порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись поврозь наши с вашими стежки-дорожки!» [I, 201]

Не менее активной была и реакция гремяченцев, когда газета со статьей о колхозах дошла до них: «Двадцатого марта кольцевик привез в Гремячий Лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьей Сталина «Головокружение от успехов». Три экземпляра «Молота» за день обошли все дворы, к вечеру превратились в засаленные, влажные, лохматые лоскутки. Никогда за время существования Гремячего Лога газета не собирала вокруг себя такого множества слушателей, как в этот день. Читали, собирались группами, в куренях, на проулках, по забазьям, на приклетках амбаров... Один читал вслух, остальные слушали, боясь проронить слово, всячески соблюдая тишину. По поводу статьи всюду возникали великие споры. Всяк толковал по-своему, в большинстве так, кому как хотелось. И почти везде при появлении Нагульнова или Давыдова почему-то торопливо передавали газету из рук в руки, пока она, белой птицей облетев толпу, не исчезала в чьем-нибудь широченном кармане». [I, 206]

Для того чтобы стать по-настоящему интересной и нужной для своих читателей, чтобы собирать их, газета должна говорить, прежде всего, о том насущном и важном, что их волнует, должна стремиться к тому, чтобы помочь им разобраться в происходящем. Ощущение всего этого как раз-таки и давала статья о «головокружении от успехов».

В понимании того, к каким результатам приведет публикация статьи Сталина, в Гремячем Логу не было единства. Одни считали что теперь «полезут колхозы по швам, как прелая одежина», другие парировали такое утверждение тем, что «навоз уплывет, а что потяжелее — останется», третьи решили, что «распушаются колхозы», четвертые были уверены в том, что «кулаков возвращают и записывают по колхозам», пятые были уверены в том, что теперь вернут голоса тем, у кого их прежде отняли. Однако единодушны все были во мнении, что надвигаются «большие события». [I, 206—207]

Статья внесла разлад в ряды гремяченских коммунистов, которые каждый по-своему отреагировал на нее. На закрытом собрании партячейки Давыдов определил свою позицию так: «Очень даже своевременно написана статья товарища Сталина! Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет! Закружилась Макарова голова от успехов, заодно и наши головы малость закружились... Давайте, товарищи, предложения, что будем исправлять. Ну, птицу мы распустили, вове-

меня догадались, а вот как с овцами, с коровами как быть? Как с этим быть, я вас спрашиваю? Если это не политически сделать, то тут, факт, получится... получится, что это — вроде сигнала: «Спасайся, кто может!», «Бежи из колхоза!» И побегут, скот весь растянут, и останемся мы с разбитым корытом, очень даже просто!» [I, 207]

Нагульнов, не считаясь с тем, что статья написана самим Сталиным, воспринял ее как предательство того дела, которому верно служил, как личное, сердечное горе: «Говоришь, в глаз мне эта статья попала? Нет, не в глаз, а в самое сердце! И наскрозь, навывлет! И голова моя закружилась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, после этой статьи...» [I, 207]

Замечание героя о том, что газетная статья попала ему «в самое сердце... наскрозь, навывлет», наполняют ее содержанием *смерти*, *гибельности* и для него самого, и для колхозного дела. Сравнение статьи Сталина с пулей, которая поразила верных и преданных сторонников колхозного движения, оказывается принципиально важным для Нагульнова: «... эта статья Сталина, как пуля, пронизала навывлет, и во мне закипела горячая кровь... — Голос Макара дрогнул, стал еще тише. — Я тут — секретарь ячейки, так? Я приступал к народу и к вам, чертям, чтобы курей-гусей в колхоз согнать, так? Я за колхоз как агитировал? А вот как: кое-кому из наших злодеев, хотя они и середняки числятся, прямо говорил: «Не идешь в колхоз? Ты, значит, против Советской власти? В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал, и зараз против? Ну, тогда и от меня миру не жди. Я тебя, гада, так гробану, что всем чертям муторно станет!» Говорил я так? Говорил! И даже наганом по столу постукивал. Не отрицаюсь! Правда, не всем, но иным говорил, какие в душе против нас особенно напряженные. И я зараз не пьяный, пожалуйста, без глупостей! Я этой статьи не мог стерпеть, через нее и выпил за полгода первый раз. Какая это есть статья? А эта статья такая, что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык! — и лежу в грязи ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой... Это так? Товарищи! Я же согласен с тем, что я влево загибал с куриями и с прочей живностью... Но, братцы, братцы, отчего я загибал? И зачем вы мне Троцкого на шею вешаете, взналыгиваете меня с ним, что я с ним в цобах ходил? Ты, Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я — левый троцкист. Но я такой грамоты, как Троцкий, не знаю, и я не так, как он... к партии я не ученым хрящиком прирастал, а сердцем и своей пролитой за партию кровью!» [I, 208]

Слова Нагульнова — это его интерпретация сталинской статьи, которая принципиально расходится с тем, как эту статью прочитал Давыдов. Обращение к программному материалу, опубликованному в главной большевистской газете, позволяет писателю лишний раз обратиться к тому, какими разными людьми были его гремяченские коммунисты, как по-разному они понимали дело колхозного строительства и свою роль в нем. Один абсолютно уверен в своевременности статьи Сталина и готов исправлять ошибки. А второй признается в том, что «не мог стерпеть» этой статьи, потому что из-за нее он теперь «в грязи ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой». Для него статья — это перечеркивание всего, что уже сделано, но самое обидное для Нагульнова заключается в том, что содержание статьи Сталина ставит его в один ряд с Троцким, с чем он принципиально не согласен: «<...> От Троцкого я отпихиваюсь! Мне с ним зараз зазорно на одной уровне стоять! Я не изменник и наперед вас упреждаю: кто меня троцкистом назовет — побью морду! До мослов побью! И я влево с курями ушел не за-ради Троцкого, а я поспешал к мировой революции! Через это мне и хотелось все поскорее сделать, покруче собственника — мелкого буржуа — завернуть. Все на шаг ближе бы к расправе над мировой капитализмом!...» [I, 208]

Нагульнов предельно четко представляет, какие именно положения сталинской статьи выставляют его изменником и вредителем делу революции: «<...> Макар достал из кармана полушубка «Правду», развернул ее, медленно стал читать: — «Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя «левыми», на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма?» Вот и выходит, что я перво-наперво — декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И все это из-за каких-то овец, курей, пропади они пропадом! Да из-за того, что пристращал несколько штук бывших белых, какие на тормозах в колхоз спускались. Неправильно это! Создавали, создавали колхоз, а статья отбой бьет. Я эскадрон водил и на поляков и на Врангеля и знаю: раз пошел в атаку — с полдороги не поворачивай назад!» [I, 208–209]

Для Нагульнова сталинская статья это — не только личная обида. Сравнивая колхозное строительство с атакой, герой воспринимает ее как отступление от того, что уже сделано.

В споре гремяченских коммунистов, вызванных статьей Сталина, проявляется еще одна принципиально важная особенность эпохи и большевистской идеологии. Андрей Размётнов, который придерживается мнения Давыдова, обращается к Нагульнову с таким предостережением: «<...> И ты, пожалуйста, кончай, Макар, об деле надо гутарить! Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, тогда уж ты будешь опрометь головы в атаку кидаться, а зараз — ты рядовой боец и ты строй соблюдай, а то мы тебе прикорот сделаем!» [I, 209]

Получается, что право на собственное мнение можно иметь, если «выберут тебя секретарем ЦК», а рядовой коммунист должен «соблюдать строй» и выполнять то, что приказывают сверху. Давыдов также указывает Нагульнову на то, что «письмо Сталина... это — линия ЦК», однако последний непреклонен: «Статья неправильная». Такая позиция вызывает реакцию, соответствующую духу эпохи и большевистской идеологии, не признающей права на свое мнение, если есть «линия партии»: «Ты! Дубина, дьявол!.. Тебя за эти разговорчики в другом месте из партии вышибли бы! Ну, факт! Ты с ума свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот... свое это... свою оппозицию, или мы на тебя... Факт! Мы терпели достаточно твоих высказываний, а если уж ты ставишь это по-серьезному, — пожалуйста! Мы официально сообщим райкому о твоём выступлении против линии партии!» [I, 210]

Так всего лишь одна статья, опубликованная в главной газете коммунистов за подписью ее Генерального секретаря, дает возможность раскрыть новые грани характеров героев романа и существенно дополнить образ времени, тех идеологических условий и обстоятельств, в которых происходят описываемые события.

Как и предполагал Нагульнов, статья возымела свое отрицательное воздействие: на следующий день после того, как она стала известна в Гремячем Логу, было подано двадцать три заявления о выходе из колхоза, а за неделю таких заявлений было подано сто. Символично, что одно из первых таких заявлений, поданное Демидом Молчунм, содержавшее всего три слова «Выпускайте из колхоза», было написано на клочке газетной бумаги. Однако, символично и то, что во второй книге «Поднятой целины» заявления гремяченцев, решивших вступить в партию коммунистов, были завернуты в газету.

Районное начальство, о чем свидетельствуют его действия, вызванные публикацией статьи Сталина, само находилось в состоянии растерянности и неопределенности. И только соответствующее постановление ЦК, представлявшее четкую «линию партии» в вопросах

колхозного строительства, снова вернуло это начальство к активной деятельности: «После появления в районе газет со статьей Сталина райком прислал гремяченской ячейке обширную директиву, невнятно и невразумительно толковавшую о ликвидации последствий перегибов. По всему чувствовалось, что в районе господствовала полная растерянность, никто из районного начальства в колхозах не показывался, на запросы мест о том, как быть с имуществом выходцев, ни райком партии, ни райполеводсоюз не отвечали. И только после того, как было получено постановление ЦК «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», райком засуетился: в Гремячий Лог посыпались распоряжения о срочном представлении списков раскулаченных, о возвращении колхозникам обобществленного мелкого скота и птицы, о пересмотре списков лишенных избирательных прав. Одновременно с этим было получено официальное извещение, вызывавшее Нагульнову на объединенное заседание бюро райкома партии и районный контрольный комитет к десяти часам утра 28 марта». [I, 216]

В связи с историей взаимоотношений Давыдова и Лушки Нагульновой концепт газета в романе «Поднятая целина» наполняется значением *повода для общения*. Лушка приходит к Давыдову, когда тот после ужина читает «Правду». На вопрос о том, есть у нее дело к нему, героиня отвечает: «Есть... Что же в газетах новенького пишут? Что слышно про мировую революцию? — Лушка облокотилась, придала лицу серьезное, соответствующее разговору выражение. Словно и не было на губах ее недавней бесовской улыбки.

— Разное пишут... Какое у тебя ко мне дело? — крепился Давыдов». [I, 319]

Разумеется, Лушка пришла не для того, чтобы узнать, что «в газетах новенького пишут», а тем более о том, что «слышно про мировую революцию», и Давыдов это понимает, боясь потерять «ничем не запятнанную репутацию», боясь попасть «в Лушкины сети». Не добившись от него разговора, уходя, Лушка напоминает Давыдову зачем она якобы пришла: «Ну, ладно. Дайте мне газетку, какая поинтересней. Окромя у меня делов к вам нету. Извиняйте, что побеспокоила...» [I, 320]

И это было только начало. Газеты стали поводом для следующего, внешне абсолютно невинного посещения: «На следующий день в сумерках она снова пришла, на этот раз разнаряженная и еще более вызывающая. Предлогом для посещения были газеты.

— Принесла вашу газетку... Можно ишо взять? А книжек у вас нету? Мне бы какую-нибудь завлекательную, про любовь.

— Газеты возьми, а книжек нету, у меня не изба-читальня». [I, 320]

Якобы интерес к тому, о чем пишут газеты, привел к тому, что «кончились колебания Давыдова, тянувшегося к Лушке и боявшегося, что связь с ней уронит его авторитет». [I, 322]

В романе Шолохова присутствует мысль о том, что для современного руководителя читать только газеты вещь принципиально недопустимая. Ее высказывает секретарь райкома Нестеренко при встрече с Давыдовым. По его мнению, современный руководитель на селе, а тем более «представитель ленинградского рабочего класса», просто обязан читать не только популярную политическую и экономическую литературу, но и художественную литературу — как классическую, так и современную.

Концепт газета для героев шолоховского романа может быть связан с *возможностью прославиться* на всю страну. Предлагая Нагульнову свой план, как поступить с «раскулаченными кобелями», чтобы от реализации этого плана была «денежная польза» и государству, и ему самому, дед Шукарь обещает Нагульнову: «... Я тебе же добра желаю. Тебя за такую мысль по всей России в газетках пропечатают!» [II, 191]

В представлении деда Шукаря, человек, которого «пропечатали в газете», получит от этого только добро. И такое видение роли печати в жизни человека — это не только примета нового времени, воспитанная новой властью и новой идеологией. Это давняя традиция. Вспомним хотя бы о том, какой особый вес подвигу Григория Мелехова в глазах его отца Пантелея Прокофьевича, купца Мохова и других придает тот факт, что о нем «в газетах прописано».

Журнал в повествовательном пространстве «Поднятой целины» встречается, по сравнению с газетой, значительно реже. И упоминается он, в первую очередь, в связи с Яковом Лукичем Островным, который в одном из разговоров замечает: «<...> Я знаю, что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в ихней учености. Вот, к примеру, выписывал я агрономовский журнал, и в нем один дюже грамотный человек из этих, какие студентов обучают, писал, что, мол, жито даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопается и вместе с собой рвет коренья.

... — И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню, самое какими проращенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие, — лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибнет. Человеку жилы перережь — не будет же он на свете жить? Так и зерно». [I, 105]

Уже сам факт, что Яков Лукич выписывал «агрономовский журнал», выделяет его среди прочих гремяченцев. Для вчерашнего рабочего Давыдова, которому Островнов рассказывает свою историю, агрономический журнал был не меньшей диковинкой, чем для гремяченцев. В пользу этого героя говорит и тот факт, что он не просто читал то, что пишут в журнале умные люди, но и проверял, «спытывал» их утверждения. И Яков Лукич Островнов предстает в романе уже не только в качестве врага советской власти и колхозного строительства, вина которого в трагической гибели двух главных героев романа неоспорима, но и как грамотный земледелец, стремящийся к тому, чтобы использовать научные открытия в своей повседневной деятельности.

Но с другой стороны, своей ученостью, стремлением быть в курсе журнальных новинок в агрономии Яков Лукич так пленил Давыдова, что тот не смог увидеть его истинной сущности, не смог разгадать намерений этого человека. После упомянутого разговора Давыдов вышел от него «с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу!» — думал он, шагая в сельсовет». [I, 106]

Примечательна и такая деталь: после разговора с Островновым и сам Давыдов усиленно приналег «по ночам на агротехнические журналы». [I, 172]

Таковыми предстают средства массовой информации в прозе Михаила Шолохова. Их концептуальное видение и оценка принадлежат чаще героям, нежели самому писателю, что подчеркивает его стремление к тому, чтобы дать возможность самому народу высказаться по поводу одного из принципиально важных явлений современной жизни.

Владимир Николаевич Войнович

Р. 1932

Содержание концепта средства массовой информации в прозе Владимира Войновича продиктовано общим отношением писателя к социализму как таковому, к стремлению представить его в качестве высшего достижения человечества в области общественных отношений.

В повести 1962 года **«Хочу быть честным»** упоминание о газете впервые возникает в связи с отчетом одного из прорабов. Этот отчет по стилю напоминает герою-повествователю Самохину газетные публикации: «На сегодняшний день на вверенном мне участке...

Начальник от удовольствия закрывает глаза. К тому, что говорит Ермошин, он испытывает не практический, а чисто литературный интерес: речь Ермошина льется гладко и плавно, словно он читает *газетную заметку* под рубрикой «Рапорты с мест».

— Коллектив участка, — привычно тарабанит Ермошин, — включившись в соревнование за достойную встречу сорок четвертой годовщины Октября...

<...> за достойную встречу сорок четвертой годовщины Великого Октября, — продолжает он твердо...»¹

Такое сравнение позволяет сделать вывод о том, что для газетных публикаций, которые собирались под рубрикой «Рапорты с мест» (или подобного названия), были характерны гладкость и плавность, не допускающие никакой критики или рассуждений о проблемах и недостатках. Отчет прораба Ермошина напоминает газетные публикации советского времени еще и обязательным упоминанием о включении «в соревнование за достойную встречу...», далее могло идти указание на любой государственный праздник или событие партийной жизни, к примеру, очередной съезд партии.

В следующий раз газета появляется в повествовании в тот момент, когда прорабу Самохину предложили, что выглядело скорее требованием, сдать дом не тогда, когда он будет готов, а к очередной годовщи-

¹ Войнович В.Н. Хочу быть честным: Повести. — М.: Вся Москва, 1990. С. 23–24. Далее повесть цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

не Великого Октября. Это событие, по мнению руководства, должно быть обязательно освещено в городской газете. Поэтому уже на следующий день после того, как предложение-требование было сделано, у Самохина в прорабской появился «некто Гусев, корреспондент городской газеты. В газете он, видимо, считался специалистом по строительным делам, потому что все время околачивался в нашем тресте. Очерки его не отличались стилевым разнообразием и почти все начинались примерно так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают бригадира такого-то...» [33]

В продолжение характеристики журналиста повествователь замечает, что «был он, как всегда, в вельветовых брюках, болгарской куртке из кожзаменителя и в синем берете». Однако важнее форма обращения журналиста, который стремится сразу же расположить к себе героя своей будущей публикации: «Привет, старик, — сказал он в порыве высокого энтузиазма и долго тряс мою руку.

«Ну что ж, — подумал я, — как говорит Писатель, время есть, будет тресть».

Как и предполагал герой-повествователь, журналист пришел, чтобы собрать материал для очерка о нем, прорабе Самохине: «Это событие я воспринял как дурное предзнаменование. Если уж обо мне решили писать в газете, то покоя теперь не дадут». [34]

Газета, которая, явно по просьбе руководства строительного треста, готова опубликовать очерк о герое, является для него главным свидетельством того, что работать спокойно ему теперь не дадут. Будут делать все, чтобы заставить прораба сдать дом к очередной годовщине.

Следующий эпизод интересен тем, что показывает, как выглядит методика работы журналиста в глазах человека, который не связан с газетным делом. На предложение написать о ком-нибудь другом журналист отвечает, что о нем он уже писал, а потому нечего терять время, пусть прораб расскажет коротко о себе, не забыв при этом сделать пометку о скромности героя в своем блокноте: «Зачем это тебе? — спросил я. — Все равно напишешь: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с открытым лицом и приветливым взглядом не зря пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин», — с любовью говорят о нем рабочие». [34]

То, как прораб представляет (цитирует) будущий очерк о себе, свидетельствует о том, что он хорошо знает стилистические штампы, которые характерны для современной печати, когда одна словесная формула, один сюжетный ход могут служить основой для написания очерка

о любом человеке. Журналист, посмеявшись над такой версией будущего очерка, заявляет: «Ты, старик, зря так про меня. Я вовсе не поклонник штампов. Понимаешь, я хочу начать с войны. Ты на фронте был?

— Был, — сказал я. — Могу дать интересный материал.

— Сейчас это не нужно, — сказал Гусев. — Вот к двадцать третьему февраля будет готовиться праздничный номер, тогда пожалуйста. Можем даже вместе написать. А пока мне война нужна для начала. Тут у меня будет так: сорок пятый год. Тебя вызывают к командиру дивизии и предлагают взорвать здание вокзала...

— Погоди, — сказал я. — Я вот никак не припомню, чтобы меня вызывали к командиру дивизии. Я с командиром полка разговаривал один раз за всю войну, когда мы стояли в резерве и он выгнал меня из строя за то, что у меня были нечищенные сапоги.

— Это неважно, — отмахнулся Гусев.

— Вот понимаешь, я ему тоже говорил — неважно. А он мне за разговоры вмазал пять суток строгой гауптвахты. Правда, сидеть мне не пришлось, на другой день нас отправили на передовую.

— Слушай, это все неинтересно, — сказал Гусев. — При чем тут гауптвахта? Я ведь очерк пишу, и немного домыслил. Имею я право домысливать?» [34—35]

С одной стороны, журналист прав в том, что его не очень интересует военная тема, если только «для начала», ведь у него задание — написать очерк о прорабе-строителе, мастере своего мирного дела. Но с другой стороны, он считает, что имеет «право домысливать», даже если пишет очерк о реальном человеке, с реальной биографией. При этом его «домысливание» идет в сторону каких-то показательно-героических эпизодов, а подлинные события, через которые видна военная обстановка, которые свидетельствует о характере взаимоотношений командиров и рядовых солдат, его ничуть не интересует, для него «это неважно». И дело здесь не в одном отдельно взятом журналисте, а в той общей методике освещения реальной жизни в печати, как она сложилась в современности, в видении писателя Владимира Войновича.

В продолжение сбора материала журналист узнает, что герой его будущего очерка в сорок пятом году «не воевал, а учился уже в институте, бегал на костылях с этажа на этаж, потому что лекции у нас были в разных аудиториях»: «А ты что, был ранен? — удивился Гусев. — Я не знал. Это очень интересно. — Он записал что-то в блокнот.

— Очень интересно, — сказал я. — Особенно когда тебе в одно место влепят осколок от противотанковой гранаты. Приятное ощущение.

— Да, — сочувственно сказал Гусев. — Наверно, больно было. Но я про войну просто так, для начала. Мне надо показать, что ты взрывал дома, мечтая их строить. Сейчас тема борьбы за мир очень важна. Ты на войне офицером был?»

Здесь снова повторяется мысль о том, что война нужна журналисту «просто так, для начала», но главное — он нашел свой сюжетный ход: герой «взрывал дома, мечтая их строить». Другое дело, что такой сюжетный ход никак не совпадает с реальной биографией прораба Самохина, но зато этот ход, что называется, к месту и ко времени, ведь «сейчас тема борьбы за мир очень важна». [35]

На возражение Самохина, который «на войне был старшим сержантом и никаких домов не взрывал, потому что служил в разведке», журналист имеет свое профессиональное мнение: «Какая разница, где ты служил, — сказал он, — для идеи важно, чтобы ты взрывал дома. Теперь ты мне скажи еще вот что. Когда ты решил стать строителем: на войне или еще в детстве?

— Да как тебе сказать, — замялся я. — Понимаешь, после ранения я жил как раз напротив строительного института. В другие институты надо было ездить на трамвае, а в этот — только перейти дорогу. А я ходил тогда на костылях...

— Понятно, — сказал Гусев, но в блокнот ничего не записал <...>» [35—36]

Даже служба в разведке не интересует журналиста, если он одержим своей сюжетной идеей, согласно которой герой «взрывал дома», хотя, казалось бы, что может быть интереснее разведки, поэтому и подлинная причина выбора строительного института оставлена журналистом без внимания.

Попытка выяснить, есть ли у героя «какие-нибудь изобретения или рационализаторские предложения», дает последнему возможность порассуждать об уже изобретенной без его участия нейтронной бомбе, об изобретенном Ломоносовым чайнике. Повествователь признается, что журналист ему надоел, поэтому он и «болтал разную ерунду, чтобы сбить его с толку». Судя по всему, он журналисту тоже надоел: «Я лучше напишу, — сказал он, — а потому покажу тебе. Хорошо». [36]

После того, как дом все-таки не был принят к очередной годовщине Октября, герой-повествователь в конторе своего треста видит Гусева, который у секретарши директора «спрашивал, как же теперь с очерком, который уже набран.

— Может, мне поговорить с Силаевым, он даст кого-нибудь другого?

— Конечно, — сказал Сидоркин, который все еще здесь крутился в ожидании Богдашкина. — Тебе ведь только фамилию заменить, а все остальное сойдется.

— У хорошего журналиста все, если надо, сойдется, — сказал Гусев, глядя куда-то мимо меня, как будто меня здесь не было вовсе». [53]

Данный эпизод свидетельствует о том, что не только герой-повествователь, но и другие окружающие знали своеобразие того безликого газетного стиля, которым пользовался журналист Гусев, когда можно заметить только фамилию, «а все остальное сойдется». Кстати, сам автор очерка считает такую особенность достоинством.

Прессу характеризует и тот факт, что событие еще не произошло и теперь уже не произойдет, однако очерк, посвященный этому событию, «уже набран». Герой-повествователь подвел свое начальство и весь коллектив, поэтому тресту «не дадут ни переходящего знамени, ни премий и вообще райком сделает свои выводы». [53] Обижена на него и пресса в лице журналиста Гусева, который смотрит мимо героя своего очерка, словно бы его и нет вовсе. Разговор журналиста с руководством треста не дал своих результатов.

Принципиально важным, на наш взгляд, является тот факт, что в повести Владимира Войновича обращение к газете завершает повествование. Героя, оказавшегося после своего поступка на больничной койке, посещает его приятель, который на вопрос о новостях в управлении сообщает: «Новостей вагон и маленькая тележка, — сказал Сидоркин. — Тут вот я тебе подарок принес.

Он вынул из кармана затасканную газету, развернул ее и протянул мне. Там был напечатан очерк под рубрикой «Герои семилетки». Очерк назывался «Принципиальность». Начинался он так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин», — говорят о нем любовно рабочие».

В Гусеве-то я не ошибся...» [53]

Как видим, стиль избран именно тот, какой и предполагал герой-повествователь. Сам он предстал в очерке не как прораб, досрочно, к годовщине революции сдавший новый дом, а как принципиальный руководитель и «герой семилетки». По всей вероятности, журналисту и в самом деле не пришлось много переделывать, все и так сошлось. Концепт газета наполняется такой составляющей, как *гибкость*, умение быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации.

В романе-анекдоте «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969–1979) средства массовой информации выступают в качестве важного составляющего звена сложившейся в стране идеологической системы. И если писатель Владимир Войнович умеет смеяться над миром и над самим собой, то средства массовой информации выступают одним из обязательных объектов такого смеха.

Газета в тексте романа неоднократно выступает в качестве бытовой подробности армейской и сельской жизни. Так, отправляясь охранять севший на деревенском огороде самолет, Чонкин обнаруживает в вещмешке «несколько кусочков сахара, завернутых в газету». Чуть позже, уже в селе Красном выясняется, что имеет солдат и «газету, сложенную книжечкой», которую использует на самокрутки. Эта газетка неизменно появляется в тексте, когда герой хочет покурить или угостить кого-то табачком. У Гладышева бутылка с самогоном заткнута «скрученной в жгут газетой». Пользуется газетами баба Дуня, когда, узнав о начале войны, делает в сельмаге запасы соли и мыла.

Перечисляя «негустое имущество» Чонкина, автор упоминает о том, что были у бойца, помимо прочего «завернутые в газету шесть фотокарточек, где он снят был вполроста».¹

Таких примеров в романе Войновича много, хотя, разумеется, не они определяют роль средств массовой информации в структуре романа. Однако газета, которая уже стала деталью быта, у Войновича может неожиданно вернуть себе свою основную функцию, снова стать источником информации: «Летняя уборная стояла на огороде. Солнечные лучи протыкали насквозь это хилое сооружение. Жужжали зеленые мухи, и паук из угла спускался на паутинке, словно на парашюте.

На стене справа, наколотые на гвоздик, висели квадратные куски газет. Чонкин срывал их по очереди и прочитывал, получая при этом немало отрывочных сведений по самым разнообразным вопросам. Озакончился с некоторыми заголовками:

АЛСЯ ЛЕЧЕБНЫЙ СЕЗОН
НА ВОЛОГОДСКИХ КУОРТАХ
ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИР
ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТ
ОБЕЛЕН «ЛЕНИН И СТАЛИН В ОКТА

¹ Войнович В.Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — Изд-во Эксмо, 2004. С. 251. Далее роман цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

Заметку «ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ США» прочел полностью: Берлин, 18 июня (ТАСС). По сообщению Германского информационного бюро в ноте от 6 июня требовало от германского поверенного в делах в Вашингтоне, чтобы сотрудники германской информационной библиотечки в Нью-Йорке, агентства Трансокеанского железнодорожного общества покинули территорию Соединенных Штатов. Требовалось также, чтобы сотрудники замесились якобы недопустимой деятельностью Германское правительство отклоняло обвинения, как необоснованные, и запретило протест против действий США по заключаемым договорам.

Не успел Чонкин задуматься о действиях США <...>» [107]

Нет необходимости комментировать сферу бытового применения газеты в сельской жизни. Гораздо важнее другое: герой получает отрывочные сведения, но даже они дают возможность узнать, пусть в самой ограниченной мере, о чем писали советские газеты накануне войны и даже прочитать почти полностью протест Германии правительству США от 18 июня 1941 года.

Одна из важнейших функций средств массовой информации в романе, и в первую очередь газет, заключается в том, чтобы «*страна знала своих героев*». Например, имя ученого-самоучки Гладышева, накопленный научный запас которого, как и весь народ, освободила Октябрьская революция: «Однажды в районной газете «Большевистские темпы» был напечатан о Гладышеве большой, в два подвала, очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке». [58]

Здесь представлена не только своеобразная иерархия средств массовой информации в стране, но и показано то, как меняется значимость героя газетной публикации и его дела в зависимости от уровня газеты. Если районная под очерк о «селекционере-самородке» отвела

два подвала, то в областной газете они трансформировались в «небольшую заметку», а всесоюзная газета вообще ограничилась упоминанием фамилии «в общем списке». Понятно, что дело Гладышева в масштабе страны смотрится иначе, нежели в масштабе одного района, а с другой стороны, возможности всесоюзной, областной и районной газет относительно количества героев и событий, как потенциального источника материала для публикаций, несопоставимы.

Еще одним героем, о котором благодаря средствам массовой информации узнала страна, является в романе Люшка Мякишева. Когда она приезжает в свое родное село для проведения митинга, с нею вместе «из «эмки» высыпали какие-то люди с блокнотами и фотоаппаратами». Люшка стала знаменитостью в то время, когда «повсюду стали выдвигать передовиков и ударников», занималась этим, в первую очередь, пресса: «В местной и центральной печати появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно — по два в каждую руку. Тут-то все и началось <...>» [140]

Конечно, история про «четыре соска одновременно» — это из области анекдотов, однако нет ничего удивительного в том, что пресса, которая, возможно, была сама ее автором, подхватила эту идею. Это была эпоха ударников, передовиков-новаторов и рационализаторских предложений, эпоха, в которой, «когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». И Люшка, которая «родилась и выросла в бедной крестьянской семье», которая «летом батрачила, зиму проводила безвылазно на печи, не имея ни валенок, ни штанов», [140—141] стала таким героем: «Пришла к Люшке большая слава. Газеты пишут про Люшку. Радио говорит про Люшку. Кинохореникеры снимают фильмы про Люшку. Журнал «Огонек» печатает на обложке Люшкин портрет. Красноармейцы пишут, хотят жениться.

Совсем замоталась Люшка. Прискачет на день-другой в родную деревню, подергает корову за соски перед фотоаппаратом и дальше. Сессия в сельхозакадемии, встреча с писателями, выступление перед ветеранами революции... И от журналистов никакого спасения. Куда Люшка, туда и они.

Для них сама Люшка стала уже не хуже дойной коровы.

Строчат про нее статьи, очерки, песни слагают. Да и сама она, совсем ошалев, поверила уже, что эти все журналисты только для того

и созданы, чтобы готовить ей доклады, описывать ее жизнь и фотографировать». [140–141]

Средства массовой информации, возможно и не по своей воле, любят делать героем человека из народа, из беднейших его слоев, тем самым, иллюстрируя мысль о том, кем и чем стал человек труда в стране социализма. А для них самих такие герои, как Люшка Мякишева, были «не хуже дойной коровы». Но показательно и другое. В романе героиня ни разу не называется полным именем, и повествователь, и односельчане называют ее только Люшкой. И в этом заложена та настоящая, народная оценка тому явлению, которое она собой представляет. Далее события развивались в традициях действительности 30-х годов, опять-таки при активном участии средств массовой информации: «Возникло и ширилось так называемое мякишевское движение. Мякишевки (появилось такое название) брали обязательства, заполнили верховные органы, делились опытом через газеты и красовались на киноэкранах. Коров доить стало совсем некому». [141]

Возможно, что вследствие именно такой политики средств массовой информации, персонажи романа, и в первую очередь главный герой, не испытывают к ним особого доверия. Председатель Голубев, решивший все-таки выяснить, с какой целью к ним в село послан солдат Красной Армии, для начала разговора решил «затронуть вопросы внешней политики.

— В газетах пишут, — осторожно сказал он, подходя ближе к столу, — немцы обратно Лондон бомбили.

— В газетах чего не напишут, — уклонился Чонкин от прямого ответа.

— Как же так, — схитрил Голубев. — В наших газетах чего зря не напишут». [64]

Председатель Голубев вроде бы и не согласен с Чонкиным в том, что «в газетах чего не напишут», однако сказано это с хитрецей.

Недоверие главного героя к тому, о чем сообщает радио, сказывается в тот момент, когда Нюра прервала его занятие политическим самообразованием в туалете: «Выходи быстрее! — сказала Нюра. — Война!

— Еще чего не хватало! — не то чтобы удивился, но опечалился Чонкин. — Неужто с Америкой?

— С Германией!

Чонкин озадаченно присвистнул и стал застегивать пуговицы. Ему что-то не верилось, и, выйдя наружу, он спросил у Нюры, кто ей такую глупость сморозил.

— По радио передавали.

— Может, брешут? — понадеялся он.

— Не похоже, — сказала Нюра. — Все до конторы побегли на митинг. Пойдем?» [108]

Мысль о том, что Нюре кто-то насчет войны «глупость сморозил», заставляет героя вспомнить именно радио. И это является свидетельством вполне определенного отношения к нему, тем более, что чуть ниже есть адресованное опять-таки радио сомнение Чонкина: «может, брешут».

Если газеты в романе Владимира Войновича выступают исключительно как средство информации, то радио не только информирует, к примеру, о начале войны. Следствием такой информации, кстати, стало то, что народ собрался сам, без какой-либо команды к дому начальства. Когда один из начальников села Красное дозвонился в район и сообщил о том, что народ собрался, на том конце провода были немало удивлены: «Недопонял, как собрался народ, какой народ, кто собирал.

— Никто не собирал, — сообщил Килин. — Сами собрались. Пове-ришь? Как услышали радио, так тут же сбежались: мужики, старики, бабы с ребятишками...

Говоря это, Килин почувствовал, что Борисову чем-то не нравится его сообщение (оно и самому Килину уже чем-то не нравилось), и, не закончив своей торжественной фразы, он вдруг умолк». [116]

Радио выступило в качестве организатора, однако это не понравилось районному руководству, которое посчитало такую «самодетельность» вредной и опасной: народ должен собираться только тогда, когда его к этому призывают, а не тогда, когда он услышал какое-то сообщение по радио. Таким образом, радио выступает у Владимира Войновича в качестве способа лишний раз проиллюстрировать тягу советского власти к тому, чтобы управлять абсолютно всем, чтобы все происходило под контролем «со стороны руководства», ибо даже «стихией... нужно управлять».

Радио в романе выступает и как средство информации, и в качестве некоего *средства культурного просвещения, увеселения* народа. Первое упоминание о нем в тексте связано именно с этим вторым значением. После размолвки между Нюрой и Чонкиным, причиной которой был кабан Борька, оставшийся на улице, герой замечает, что «на столбе возле конторы играло радио. Передавали песни Дунаевского на стихи Лебедева-Кумача». [80]

Музыкальная часть радиотрансляции не вызывает у героя никакой реакции, в отличие от политического заявления руководства страны,

в котором Чонкин хотел услышать важное для себя: «После песен Дунаевского передали последние известия, а следом за ним сообщение ТАСС.

«Может, насчет билизации», — подумал Чонкин, которому слово «демобилизация» или даже «мобилизация» произнести было не под силу, хотя бы и мысленно. Говорили совсем о другом: «...Германия, отчетливо выговаривал диктор, — так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт, и предпринять нападение на Советский Союз, лишены всякой почвы...»

«Почва, — подумал Чонкин, — смотря какая. Если, к примеру, суглинок, так это гроб, а если сухая с песком, для картошки лучше не надо. Хотя тоже не сравнить с черноземом. И для хлеба хорош, и для всего...»

Подумал он о хлебе, и сразу засосало под ложечкой». [81]

Новости, передаваемые по радио, Чонкина не интересуют, ничего важного для него лично в них не было, поэтому в тексте нет никакой информации о том, какого они были характера. Зато герой очень внимательно прослушал сообщение ТАСС в надежде услышать что-то «насчет билизации». Такое внимание является одной из причин того, что в первый момент Чонкин не верит в начало войны, подозревая радио в том, что «может, брешут», ведь он же сам слышал о неуклонном соблюдении условий советско-германского пакта, о том, что «слухи о намерениях Германии... лишены всякой почвы». Кстати, эту самую «почву» он понимает буквально со своей, крестьянской точки зрения.

После сообщения ТАСС радио на какое-то время возобновляет работу по культурному просвещению и увеселению слушателей: «Радио, начавшее передавать концерт легкой музыки, вдруг захрипело и смолкло, но тут же на смену ему заиграла гармошка, и кто-то пока еще не установившемся басом заорал на всю деревню:

А хулиганом мать родила,
А хулиганом назвала,
А финку-ножик наточила,
А хулигану подала.

И тут же откуда-то женский высокий голос:

— Катька, сука несчастная, ты пойдешь домой али нет?

Потом гармонист заиграл «Раскинулось море широко», бессовестно перевирая мелодию, наверное, оттого, что в темноте не мог попасть пальцами в нужные кнопки.

Потом гармошка смолкла, и стали слышны другие звуки, до этого неразличимые. Пищала полевая мышь, трещал сверчок, хрустела сеном корова и где-то возились и в сонной тревоге перекудахтывались куры». [81–82]

Радио со своим несостоявшимся концертом легкой музыки словно бы проигрывает привычным звукам и ритму деревенской жизни. Пока оно звучало, не были слышны полевая мышь и сверчок, хруст сена и кудахтанье кур. Радио, видимо, должно много стараться, чтобы войти в эту жизнь с ее звуками и ритмами, чтобы окончательно стать своим для деревенского слушателя.

За средствами массовой информации в романе Владимира Войновича следит наиболее бдительная часть советских читателей и слушателей. Об этом, к примеру, красноречиво свидетельствует письмо одного такого «бдительного товарища», пришедшее в Учреждение, которым руководит капитан Миляга. Речь, разумеется, идет об НКВД, однако в романе он фигурирует только как «учреждение», автор, а тем более персонажи словно бы боятся даже произносить настоящее название этого грозного «учреждения»: «Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. «Слова данного поэта, — писал бдительный товарищ, — в песне «Лучше нету того свету...» звучат с пластинок и разносятся с помощью радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка «Как увижу, как услышу». Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. «Каку вижу, како слышу» — вот как звучит этот текст, если прислушаться». Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта Куда Надо и задать ему прямой вопрос: «Что это? Ошибка или злой умысел?» Заодно автор письма сообщал, что он уже сигнализировал об этом вопиющем факте в местную газету, однако ответа до сих пор не получил. «Упорное молчание газеты, — делал вывод бдительный товарищ, — поневоле наводит на мысль, не находится ли редактор в преступной связи с поэтом Исаковским, а если находится, не является ли это признаком разветвленной вредительской организации?» [177]

В глазах «бдительного товарища», радио выступает средством распространения по всей стране либо ошибки, либо злого умысла. Газету же в лице редактора на основании того, что он не реагирует на его сигнал, вообще считают «в преступной связи с поэтом Исаковским». Ситуация снова анекдотичная, но очень выразительно передающая те условия, в которых приходилось работать средствам массовой информации страны Советов в 30-е годы.

Когда по районному центру Долгову поползли «черные слухи» о Чонкине, его личности и банде, местная печать не могла остаться в стороне. Она использовала один из самых простых приемов: «Чтобы как-то нейтрализовать зловещие слухи, местная газета «Большевицкие темпы» в разделе «Занимательная информация» поместила ряд любопытных сведений. Было рассказано, например, о тритоне, пролежавшем пять тысяч лет в замороженном виде и ожившем после того, как его отогрели; о том, что некий народный умелец, слесарь из города Чебоксары, выцарапал на пшеничном зерне полный текст статьи Горького «С кем вы, мастера культуры?». Но поскольку слухи продолжали распространяться, газета, стремясь направить умы по иному руслу, открыла на своих страницах дискуссию: «Правила хорошего тона — нужны ли они?». [202]

Газета в данном случае попыталась выполнить свою функцию как средства *переключения внимания* граждан с одной проблемы на другую. Можно только представить себе реакцию читателей районной газеты, которые в условиях начавшейся войны, да еще и в связи со слухами о банде некоего Чонкина, которая арестовало всех «Кого Надо» из местного «Куда Надо» (НКВД). Такие публикации, судя по всему, не возымели своего действия, ибо «слухи продолжали распространяться».

Наибольший интерес для нас представляет дискуссия, которую попыталась открыть на своих страницах газета. Появление этой дискуссии в структуре романа дает возможность увидеть то, о чем и как писала местная пресса в своем желании просвещать народ и демонстрировать ему преимущества советского строя. Нет необходимости говорить об «актуальности» проблемы «нужности» правил хорошего тона в условиях начавшейся войны, обратимся к самой методике организации такой дискуссии.

Для начала была опубликована статья, своим названием слово в слово повторяющая тему дискуссии: «В статье под таким заголовком лектор райкома Неужелин писал, что всемирно-историческая победа Октябрьской революции принесла народам нашей необъятной страны не только освобождение от власти капиталистов и помещиков, но и отвергла прежние нормы морали и нравственности, заменив их новыми, отражающими коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях. Новые нормы отличаются прежде всего четким классовым подходом. Общество победившего социализма, писал лектор, не приемлет буржуазные правила хорошего тона, в которых проявились принципы господства одних людей над другими. Навсегда исчезли из обращения «господин», «милостивый государь», «слуга по-

корный» и прочие. Слово «товарищ», с которым мы обращаемся друг к другу, свидетельствует не только о равенстве между собой различных групп населения, но и о равенстве мужчин и женщин». [202]

Лектор райкома партии в качестве положительного явления рассматривает тот факт, что многообразные формы обращения граждан друг к другу заменены одним словом «товарищ». Его радует и то, что «товарищем» теперь можно называть и мужчин и женщин, что является свидетельством их равенства. На первом же месте, как и следовало ожидать, остается понимание четкости классового подхода в связи с формами обращения и видение того, что новая форма обращения отражает «коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях».

Однако товарищ Неужелев был далек от того, чтобы отвергать все, что было в правилах хорошего тона при старом режиме: «Вместе с тем, мы отвергаем и проявления нигилизма в области отношений трудящихся между собой. Неужелев утверждал, что, несмотря на новые принципы, некоторые традиционные нормы поведения должны быть сохранены и в нашем социалистическом общежитии. Например, в общественном транспорте (которого, к слову сказать, в Долгове отродясь не бывало) необходимо уступать место инвалидам, людям преклонного возраста, беременным женщинам и женщинам с детьми. Мужчина должен первым здороваться с женщиной, но не подавать первым руку, пропускать женщину вперед и снимать головной убор, находясь в помещении». [202–203]

Ничего предосудительного или заслуживающего насмешки в этих рассуждениях нет. Они примечательны другим. Лектор райкома партии не являлся автором опубликованной статьи, он взял ее из какого-то центрального издания. Выдавая чужую статью за свою, он не обратил внимания на то, что в этой чужой статье речь идет и о правилах поведения в общественном транспорте, которого «в Долгове отродясь не бывало».

На этом мысли лектора райкома партии о правилах хорошего тона, свидетельствующие о его способности диалектически мыслить, не закончились: «Конечно, не обязательно целовать дамам ручки, но проявлять внимание и чуткость к товарищам по производству и просто к соседям необходимо. В связи с этим совершенно нетерпимы такие пережитки прошлого, как взаимная грубость или нецензурная брань. Недопустимо также играть на музыкальных инструментах после двадцати трех часов. Приведя ряд отрицательных примеров, автор заканчивал статью мыслью, что взаимная вежливость является основой хорошего настроения, от которого, в конечном итоге зависит произ-

водительность нашего труда. А поскольку от нашей работы в тылу зависит победа на фронте, решающий вывод напрашивался сам собой.

На некоторых статья произвела сильное впечатление». [203]

Показательно, что статья о необходимости соблюдения правил хорошего тона завершается заботой о производительности труда и словами о работе в тылу, что, по мнению автора, должно было прибавить ей актуальности.

Включение краткого пересказа статьи в текст романа, а затем обсуждение ее двумя «чужаковатыми субъектами», которые названы Мыслителями, позволяют писателю рассказать о реакции определенного круга читателей на газетные публикации. Автор замечает, что «во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы». [203] «Шепотом» и «с оглядкой» — деталь, весьма выразительно характеризующая описываемую эпоху. Кроме того, Первый Мыслитель прежде, чем начать разговор о статье Неужелева, «крутанул головой налево, направо, назад и опять налево, направо, чтобы убедиться, что никто не следит и не подслушивает». Затем точно такие же телодвижения произвел и Второй Мыслитель. Он же пришел к выводу, что такая статья напечатана лишь потому, что «надо же им чем-то заполнять газетную площадь». [204] С ним не согласен Первый Мыслитель: «Вы так думаете? — хитро прищурился Первый. — Что же им больше не о чем писать? Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину, стоят возле Москвы, в районе тоже полная неразбериха: урожай не убран, скотина без корма, где-то орудует банда какого-то Чонкина, а в районной газете не о чем больше писать, как о хороших манерах?»

С таким, по своему логичным, понимаем смысла публикации, не согласен Второй Мыслитель, поэтому Первому приходится развить свою мысль: «<...> Поверьте мне, я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбредет в голову без указания свыше. Здесь все сложнее и проще. Они наконец-то поняли, — Первый Мыслитель крутнул головой и понизил голос, — что без возврата к прежним ценностям мы проиграем войну.

— Из-за того, что не целуем дамам ручки?

— Да-да! — вскричал Первый Мыслитель. Именно из-за этого. Вы не понимаете элементарных вещей. Сейчас идет война не между двумя системами, а между двумя цивилизациями. Выживет та, которая окажется выше.

— Ну, знаете! — развел руками Второй Мыслитель. — Это уж слишком». [204–205]

История с публикацией статьи дает возможность представить хотя бы один персонаж, хорошо знающий «эту систему», в которой «никому ничего не взбредет в голову без указания свыше», тем более, если это связано со средствами массовой информации. К этому следует добавить, что в годы Великой Отечественной войны так ведь и не обошлось «без возврата к прежним ценностям».

Два Мыслителя никоим образом не хотели «обнародовать» свою реакцию на статью о необходимости соблюдения правил хорошего тона, однако «достаточно сильное впечатление статья о хороших манерах произвела и на других жителей города». В романе приводятся две диаметрально противоположные точки зрения на поднятую проблему, а также один отклик, который прямого отношения к теме развернувшейся полемики не имел: «Старая учительница в полемической заметке «А почему бы и нет?», отдавая должное классовому подходу, утверждала, тем не менее, что целовать руки дамам не только можно, но и нужно. «Это, — писала она, — красиво, элегантно, по-рыцарски». А рыцарство, по ее словам, является неотъемлемой чертой каждого советского человека. С резкой отповедью учительнице в заметке «Еще чего захотели!» выступил знатный забойщик скота Терентий Кныш. Для чего же, писал он, рабочему человеку целовать руки какой-то даме? А что, если у нее руки не мыты, или того хуже — чесотка? «Нет уж, извините, — писал Кныш, — скажу вам с рабочей прямоотой: если у вас нет справки от доктора, я целовать вам руки не буду». Местный же поэт Серафим Бутылко разразился длинным стихотворением «Я коммунизма ясно вижу дали», не имевшим, впрочем, прямого отношения к теме дискуссии». [205–206]

Чувствуется, что старая учительница хорошо помнила те времена, когда в обращении были и «господин», и «милостивый государь», и «слуга покорный», когда в целовании дамских ручек не было ничего антинародного. Однако она уже не могла не отдать «должное классовому подходу», не могла в разговоре о рыцарстве не вспомнить советского человека, для которого оно «является неотъемлемой чертой». Позиция знатного забойщика скота, оппонента старой учительницы, предстает более советской, если хотите, классово обоснованной. Этот «человек труда» смотрит на проблему со своей, практической точки зрения, которая предполагает и немытые руки, и даже чесотку. В дискуссии, что, как видно, является давней традицией их проведения в периодической печати, принял участие даже человек, который о теме самой дискуссии вообще ничего не написал, поэт с выразительной фамилией Бутылко.

Дискуссия завершается ситуацией, в которой газета, с одной стороны, воздает должное себе за актуальность и серьезность поднятой проблемы, а с другой, выступает в роли некоего арбитра, призванного давать оценки чужим точкам зрения: «Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила учительницу и Кныша за крайности и в конце концов заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже не просто.

Пока газета отвлекала население, руководители района, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что Чонкин скорее всего командир немецких парашютистов, которые высадились в районе, чтобы дезорганизовать работу тыла и подготовить наступление войск на данном участке». [206]

Получается, что вся эта дискуссия с заботой о правилах хорошего тона нужна была районному начальству только для того, чтобы отвлекать население от по-настоящему важной и сложной проблемы, и газета, естественно, действовала не без указания сверху (такова система!), тем более что автором статьи, положившей начало дискуссии, был лектор райкома. Такая политика районной газеты привела главного героя романа в некоторое замешательство. Он надеялся на то, что о нем вспомнят. Ладно бы, забыли одного бойца, но ведь у него под арестом оказались все сотрудники Учреждения: «Еще сразу, после того как он их арестовал, Чонкин думал, что теперь где-нибудь кто-нибудь из начальства спохватится. Если забыли про рядового бойца, то уж то, что пропала целая районная организация, может, на кого-то подействует, прискачут, чтоб разобраться, что же такое случилось. Нет, дни шли за днями, и все было тихо, спокойно, словно нигде ничего не случилось. Районная газета «Большевистские темпы», кроме сводки Совинформбюро, печатала *черт-те чего*, а о пропавшем Учреждении — ни гугу. Из чего Чонкин заключил, что люди имеют обыкновение замечать то, что есть перед их глазами. А того, чего нет, не замечают». [210]

Под это «черт-те чего», в понимании Чонкина, попадала, по всей вероятности, и дискуссия о правилах хорошего тона. А вот о пропавшем Учреждении без указания свыше никакая районная газета даже заикнуться не могла, о нем не смело заговорить и само районное руководство. Возможно, что в отсутствие Учреждения партийным и государственным начальникам района жилось только лучше, спокойнее.

Верность наблюдения относительно зависимости печати, разумеется, не только районной от указаний свыше подтверждается историей о том, как в колхозе «Красный колос», по инициативе Чонкина, стали использовать рабский труд работников Учреждения. Когда в район стали поступать сводки об уборке картофеля, то начальство забеспокоилось и заподозрило руководство колхоза в приписках, однако приехавший с проверкой инструктор райкома подтвердил, «что в сводках отражается сущая правда, сам своими глазами видел бурты картофеля, соответствующие полученным сводкам. Как сообщили ему в колхозе, подобная производительность достигнута за счет полного использования людских резервов. В конце концов в районе поверили и велели газете дать статью, обобщающую опыт передового хозяйства. Хозяйство ставили в пример другим, говорили: «Почему Голубев может, а вы не можете?» Уже и до области докатились вести о колхозе, руководимом председателем Голубевым, уже и в Москве кто-то упомянул Голубева в каком-то докладе». [218]

Газета, таким образом, выступает в качестве органа, призванного *неукоснительно* выполнять все повеления партийной власти. Курьезность ситуации заключается в том, что высокая производительность труда была достигнута в колхозе за счет использования труда тех, кто призван был следить за деятельностью, в первую очередь, партийно-государственного аппарата, а Чонкин просто придумал, как более рационально использовать труд работников Учреждения.

Действие романа «Монументальная пропаганда» (2000) начинается с того, что автор получает газетную вырезку с извещением о трагической гибели в городе Долгове «члена КПСС с 1933 года, участника Великой Отечественной войны, видной общественной деятельницы пенсионерки Ревкиной Аглаи Степановны». ¹ Эту героиню читатель помнит по роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» как жену районного секретаря. Запоминается она, прежде всего тем, что, услышав от мужа признание, в том что у него «нездоровые настроения», предложила ему «разоружиться перед партией». Их сына она обещает воспитать сама «настоящим большевиком», так что «он забудет даже», как звали его отца. В ночь, когда произошло это объяснение, она помогла мужу собрать чемодан, но провести в одной постели остаток ночи отказалась по идейным соображениям». ²

¹ Войнович В.Н. Монументальная пропаганда. Роман. — М.: Изографус, ЭКСМО, 2002. С. 3. Далее роман цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

² Войнович В.Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 187.

На обратной стороне газетной вырезки автор прочел слова «Новое в Интернете», «Пейджинговая связь» и «Налоговая инспек» (конец слова отрезан), удивился еще больше. Кому нужно поминать членство в КПСС в наше-то время?» [3]

Так газета включается в повествование романа буквально с первых слов. В героической жизни коммунистки Аглаи Ревкиной была история 1949 года с установлением в Долгове по ее инициативе монументальной статуи Сталина на площади Сталина. Аглая в то время была первым секретарем райкома, то есть первым лицом в районе, однако даже ей пришлось преодолевать противодействие оппонентов ее инициативы: «Одним из главных противников памятника был ответственный редактор газеты «Большевистские темпы» Вильгельм Леопольдович Лившиц. Он написал и опубликовал в своей газете статью «Бронза вместо хлеба». Где утверждал, что монументальная пропаганда — дело, конечно, важное, это Ленин еще подчеркивал, что дело важное, но имеем ли мы моральное право сегодня тратить на памятник столько денег, когда наш народ страдает?» [8]

Районную газету «Большевистские темпы» мы помним по роману о Чонкине, и такой демарш против первого секретаря райкома партии выглядит для нее более чем неожиданно: надо было иметь почти фантастическую смелость, чтобы в 1949 году выступить против установки монумента живому вождю. На страницах газеты открылась настоящая дискуссия, в которой с одной стороны была сама газета, а с другой — партийное руководство: «Это чей же наш ваш?» — в письме в редакцию поинтересовалась Аглая и там же разъяснила, что наш русский народ терпеливый, он еще туже затянет пояс, он временно перестрадает, зато памятник, воздвигнутый им, останется на века. Лившиц в своем ответе сообщил, что народ у нас у всех есть один — советский, памятник необходим, но его можно воздвигнуть позже, когда в стране и районе улучшится экономическая ситуация. При этом имел наглость записать себе в союзники самого Сталина, который, по словам Лившица, будучи мудрым и скромным, никогда не одобрил бы подобного расточительства в столь трудный для родины час». [8]

Дискуссия для ответственного секретаря газеты закончилась традиционно для тех лет: он был «изобличен в связях с международной сионистской и шпионской организацией «Джойнт» и понес заслуженное наказание». [9] У партии по-прежнему имелось надежное и мощное оружие для того, чтобы держать в руках как средства массовой информации, так и отдельных представителей.

О скульпторе, авторе памятника вождю, сообщается, что партийные власти его ценили, поощряли, награждали «чинами, орденами, премиями, *хвалебными статьями в газетах*», хотя коллеги считали его «крепким середнячком, холодным ремесленником, даже халтурщиком». [13] Хвалебные статьи в газетах считаются в данном случае наградой, но получается, что для профессионалов, которые знают причину их появления в печати, они ничего не значат.

Роман Войновича дает возможность увидеть, какие материалы попадали на газетные страницы. В нем есть история Влада Распадова, о котором сообщается, что он был «самым изощренным сочинителем широкого профиля», поэтом, искусствоведем, эссеистом, публицистом и вообще одаренным разнообразно художником слова: «В 1949 году, будучи еще учеником восьмого класса, он написал сочинение, посвященное этому памятнику. Работа была школьная, но настолько интересная, что ее поместила «Долговская правда». Эссе это называлось... точно сейчас не вспомню... «Мелодия, застывшая в металле». Или «Музыка, замерзшая в чугуне». Что-то в этом духе. Очень яркая была статья, образная, с глубоким подтекстом. О творении скульптора Огородова там было сказано, что оно не могло бы быть таким, какое есть, если бы не чудесное сочетание таланта автора и его неподдельной любви к прототипу, которые здесь слились воедино. «Глядя на это чудо, — писал Распадов, — трудно себе представить, что его лепили, или высекали, или вообще изготавливали каким-то физическим образом. Нет, это просто песня вырвалась, выдохнулась из души скульптора и застыла нам на удивление, приняв человеческий облик». [18–19]

Перед нами отрывок яркого образца газетной эссеистики конца 40-х годов прошлого века. Особенно впечатляет песня, которая «вырвалась, выдохнулась из души скульптора». Благодаря этой статье одаренного художника слова заметило партийное начальство района: «Статья Распадова, хотя не совсем корректная с точки зрения социалистического реализма, произвела впечатление на читателей, понравилась идеологическим органам, и Петр Климович Поросянинов, прочитав статью, сказал про Распадова: «Да, наш человек! — и, подумав, добавил: — Наш!» [19]

Есть в «Монументальной пропаганде», и те, кто традиционно выступает в качестве конкурентов средств массовой информации. Это — старики, которые постоянно сидят у дома той же Аглаи, «довольно противные», по замечанию автора, зато: «Не слушая радио и не читая газет, они знали все про всех живших в городе Долгове и частично про обитавших

в окрестностях: кто выиграл по облигации, кого посадили за растрату, у кого мужа увезли в вытрезвитель, у кого родилась двойня, чья теща попала под поезд, где случился пожар или кого нырнули ножом. Эти сведения они получали, постоянно опрашивая всех проходящих мимо, где-что-чего, но до многого и своими головами додумывались <...>» [30]

Характер информации, которой владели старухи, оппозиционен той, которую можно было услышать по радио, или прочесть в газетах. Их информация выступает как более важная и интересная для рядового жителя города Долгова.

В связи с рассказом о своем «старшем друге» по прозвищу Адмирал, Алексее Михайловиче Макарове в романе наряду с Интернетом, уже упоминавшимся в самом начале, появляется телевизор. Адмирал, как утверждает автор, благодаря книгам, «знал все обо всем». «Когда его спрашивали, откуда у него такие обширные знания, он отвечал, что просто повезло. В детстве болел полиомиелитом, был прикован к постели, а потому не играл в футбол или в пятнашки, не бегал за девочками. К тому же не знал еще телевизора, компьютеров, компьютерных игр и Интернета...» [60]

В следующий раз телевизор упоминается в связи с ночью утех плотской любви, которую провела Аглая Степановна со Степаном Шалейко. Сообщая о том, что ничего оригинального или неожиданного в их плотских утехах не было, автор словно бы оправдывает их тем, что «герои наши были рабоче-крестьянского происхождения и воспитания, сексуального обучения не проходили, теперешних программ телевидения «про это» не видели, книг индийских, китайских или иных об изысках эротике не читывали, читали в основном газету «Правда», «Блокнот агитатора» и «Краткий курс истории ВКП(б)»...» [88]

С одной стороны, здесь названа одна из функций, которую в современности взяло на себя такое средство массовой информации, как телевизор. Однако этого мало: телевизор оказывается в оппозиционном положении к газете «Правда», журналу «Блокнот агитатора» и учебнику по истории партии, которые занимались только политическим просвещением и образованием читавших их граждан.

В этом незначительном, на первый взгляд, замечании присутствует понимание телевизора как того, что *препятствует чтению, получению знаний*, его отсутствие есть одно из составляющих того, что называется «повезло».

Радио в романе возникает в связи с упоминанием о том, что Марк Семенович Шубкин, постоянный оппонент Аглаи Степановны, «при-

ходя домой, сразу кидался к своему ламповому приемнику «Рекорд», слушал «вражеские голоса»...» [57]

Для послевоенной эпохи «вражеские голоса» были явлением новым, которого не знали предшествующие поколения советских граждан. Возникает ощущение, что слушание «вражеских голосов» стимулирует творческую активность героя: «<...> тут же, времени не теряя, заправляя в машинку четыре листа бумаги с копиркой и начинал с бешеной скоростью выстукивать очередной текст в строчку или столбиком. Писал он одновременно и лирические стихи, и поэму «Рассвет в Норильске», аллегорическую, о восходящем после долгой зимней ночи солнце, и роман «Лесоповал» о работе заключенных в ханты-мансийской тайге, и мемуары под названием «Память прожитых лет», и статьи по вопросам морали и педагогики, которые в большом количестве слал в центральные газеты, и письма в ЦК КПСС и лично Хрущеву, которые начинал всегда словами: «Дорогой и уважаемый Никита Сергеевич!» [67]

Прослушивание западных радиостанций стало настоящей потребностью для этого героя. Только переехав на новое место жительства, он «установил у окна свой так называемый письменный стол, поставил на него самодельную настольную лампу, приемник «Рекорд», выкинул за окно проволочную антенну. Ему не терпелось послушать какую-нибудь из западных радиостанций и проверить, как они слышны на новом месте, но «Голос Америки» в здешних окрестностях почему-то не принимался вообще, «Свободу» сильно глушили, а Би-би-си работало только по вечерам». [86]

Соседкой Шубкина по новому месту жительства оказалась Аглая Степановна, поэтому страсть героя к прослушиванию «вражеских голосов» сыграла роковую роль в судьбе обоих. Аглая и ее любовник в постели неожиданно слышали, «как где-то совсем близко (но не в них самих, а вовне) заиграла музыка и грудной женский голос просто сказал:

— Говорит Би-би-си. Начинаем передачу из Лондона. Западные корреспонденты передают из Москвы, что по циркулирующим здесь слухам политика десталинизации встречает заметное сопротивление наиболее ортодоксальных членов КПСС. В связи с этим в Президиуме ЦК КПСС рассматривается вопрос о возможной чистке партийных рядов от тех, кто тайно или явно противится новому генеральному курсу, разработанному на двадцатом съезде... Как заявил один из партийных деятелей, партия будет выявлять и наказывать не только тех, кто пря-

мо выступает против нового, но и против тех, кто не дает им должного отпора.

«Это же про меня!» — вдруг подумал Шалейко, и в груди его появилось неприятное чувство.

— Это шо? — спросил он, не оставляя своих усилий, но чувствуя, что трезвеет». [89]

Эпизод интересен тем, что в нем достоверно передается не только смысл, но и тональность вещания одной из самых популярных западных радиостанций на Советский Союз. В словах диктора используется одна из излюбленных словесных форм этих радиостанций «по циркулирующим здесь слухам».

Не менее выразительна и реакция Шалейко, который благодаря именно этой передаче понял, что «против нового» выступает та самая женщина, которая с ним сейчас в постели, а он не дает ей «должного отпора». Когда о том же самом говорили на районной конференции, герой, привыкший ко всему, реагировал на новые веяния слабо и без особого согласия с ними, а информация одного из «вражеских голосов», в которой упоминались возможные чистки в партии, заставила его срочно покинуть ложе любви, хотя у встреченного им Шубкина он интересуется: «А шо там по бибисям-то об нас рассказуют? Шо-то обратно клеветают, а?» [92] Привычка воспринимать то, о чем говорят западные радиостанции, как клевету, срабатывает у героя, который только что буквально до смерти испугался услышанного, срабатывает у него автоматически.

Совершенно другую реакцию вызвало прослушивание радиопередачи из Лондона у самого Шубкина Марка Семеновича, который «прослушав очередную передачу Би-би-си, решил вынести мусорное ведро и подумать по пути о текущих событиях. У него по поводу возможной чистки в КПСС тоже возникли различные идеи, и он сочинял уже на ходу очередное письмо Хрущеву с требованием не ограничиваться изгнанием высокопоставленных фракционеров, но очистить партию от наиболее оголтелых сталинистов, засевших в партийных организациях областного и районного уровня». [90–91]

Когда в органы пришло письмо, в котором кто-то из соседей информировал о том, что Шубкин слушает «вражеские голоса», секретарь Поросянников, вызвавший его для беседы, намекнул, каким образом это прослушивание необходимо представить: «Шубкин намек понял и стал уверять Поросянинова, что слушает радио исключительно с целью контрпропаганды. Он активный общественный деятель, про-

пагандист коммунистической идеологии. Для эффективной борьбы с буржуазной идеологией ему надо знать аргументы противника». [111]

Получается, что при желании даже такое деяние, несовместимое с образом советского человека, а тем более коммуниста, как слушание западных радиостанций, ведущих пропаганду против Советского Союза, можно представить как благое и идеологически оправданное дело, к примеру, в целях контрпропаганды. К тому же партийный начальник посоветовал Шубкину немного убавить звук.

С этого эпизода в романе начинается вполне естественное противопоставление советских и западных средств массовой информации. Первоначально последние представлены исключительно радиостанциями. Противопоставление начинается с авторского замечания о том, что не один Шубкин ощущал потребность в том, чтобы получать информацию не только из советских источников: «Шубкин, чтобы просветить и Аглаю, ставил приемник к ее стенке. И она, как ни странно, не возражала, ибо тоже стала ощущать потребность в информации не только из газеты «Правда». [112]

Рассказывая о том, какие негативные изменения произошли в городе Долгове в новые времена, в эпоху после развенчания сталинизма, автор замечает рост преступности, когда «начало формироваться явление, названное впоследствии беспределом». Среди прочих происшествий этого порядка он вспоминает о том, что «в районе появился первый за всю историю этих мест серийный убийца, которым оказался преподаватель марксизма-ленинизма в техникуме культуры, причем он же постоянно выступал в газете «Долговская правда» со статьями на темы советской морали». [136] Упоминание о том, что серийный убийца «выступал в газете» с публикациями «на темы советской морали», дополняет концепт газета таким значением, как *средство маскировки*, ведь выступавший с ее помощью занимался тем, что скрывал свое истинное лица и взгляды на жизнь.

Одной из причин разложения общества, по мнению Аглаи Степановны, были средства массовой информации, как враждебные западные, так и свои советские: «В центральной печати появляется все больше псевдоисторических материалов о Сталине и его соратниках. В народе ходят мерзкие анекдоты, люди открыто слушают зарубежные радиостанции, пишут и распространяют антисоветские произведения. А партия чем дальше, тем больше засоряется чуждым элементом, людьми, вступающими в нее только ради карьеры, использования своего положения в грязных целях <...>» [144]

В представлении последовательной сторонницы идей Ленина-Сталина, центральная печать и зарубежные радиостанции в деле разложения советского общества оказываются явлениями уже не оппозиционными, а одного порядка, хотя она и сама нуждалась, как мы помним, в том, чтобы получать информацию не только из советских средств массовой информации. Не случайно, что и об одном из самых долгожданных для нее событий Аглая Степановна узнала из радиосообщения Би-би-си, услышав через стенку: «<...> Западные корреспонденты передают из Москвы, что Никита Хрущев смещен с поста первого секретаря и выведен из состава Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Со...

И дальше загалдели, завыли давно не включавшиеся глушилки». [154]

В первый момент героиня находилась в сомнении: не приснился ли ей этот текст, на самом ли деле он был произнесен.

В этом эпизоде романа к газетам и радио добавляется телевизор, к которому кинулась Аглая Степановна, желая услышать подтверждение услышанному: «Было еще раннее утро, но по первому каналу уже показывали детский мультипликационный фильм «Девочка и медведь», а второй канал пока не работал. У Аглаи был старый репродуктор в виде тарелки, она включила его и целый час подряд слушала передачи: «На зарядку становись!», «Для тружеников села», «Пионерская зорька», «В гостях у композитора Туликова». В конце концов дождалась новостей, но в них — ничего, кроме полета трех космонавтов, битвы за урожай, задутия где-то домны и спуска на воду нового дизель-электрохода. Имея большой опыт потребления советской прессы, она и из неслышанного извлекла определенную информацию. Дикторы о Хрущеве не сказали ни слова, но само это полное упоминание столь обязательно упоминаемой личности было признаком того, что Би-би-си бросает слова на ветер не зря». [154]

В этом небольшом эпизоде сосредоточена весьма выразительная характеристика советских средств массовой информации 60-х годов XX века. Здесь и упоминание о всего двух существовавших телевизионных каналах, один из которых рано утром еще не работал, и программа утренних передач всесоюзного радио, и содержание выпуска новостей, за которым встает напряженная трудовая жизнь большой страны. Однако главное в том, что советский человек, «имея большой опыт потребления советской прессы», научился извлекать информацию «из неслышанного». Полное «упоминание» «обязательно

упоминаемой личности» привело Аглаю к выводу о том, что в словах Би-би-си есть правда. Будучи не до конца уверенной в справедливости своего открытия, Аглая Степановна отправилась к Шубкину, чтобы узнать «Би-би-си ваше... оно правду говорит?»

— Врет! — радостно оживился больной. — Они всегда врут, но все, что они врут, в жизни как раз случается». [154–155]

Более чем выразительная характеристика не только Би-би-си, но и западных радиостанций того времени вообще.

Кроме того, что в романе «Монументальная пропаганда» представлено идеологическое противостояние средств массовой информации Советского Союза и Запада, в нем есть весьма поучительные свидетельства того, как органы безопасности использовали их в своих целях. Шубкин оказался нужен местным органам безопасности «именно в качестве диссидента», и для того, чтобы активизировать его диссидентскую деятельность, они придумали такой ход: «В «Долговской правде» появилась статья: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Там была изложена биография Шубкина, где было отмечено то прямо, то намеками, что он еврей, нарушал советские законы, был осужден за антисоветскую деятельность, освобожден от наказания досрочно из гуманных соображений. И ни слова о том, что он был реабилитирован. Зато было отмечено, что Марк Семенович урока из прошлого не извлек, опять скатился к антисоветской деятельности, в настоящий момент является наиболее ценным прихвостнем западных спецслужб и поставщиком клеветы на родину, которой он обязан тем, что она его растила, кормила, поила, одевала, обувала, дала образование и надежду на счастье». [179]

Статья возымела то действие, на которое и была рассчитана. Шубкин воспринял ее «как сигнал, что снова посадят, и решил последовать совету одного опытного московского диссидента, который объяснил ему, что его спасение в максимальной гласности». Более опытный диссидент объяснил, что, если Шубкин промолчит, то «посадят наверняка», а если начнет шуметь, то его «будут бояться», ибо он привлечет «к себе настоящее внимание Запада»: «Шубкин поверил и стал действовать. И гораздо нахальней, чем раньше. Раньше он писал письма в ЦК КПСС, в «Правду» и «Известия». Потом копии в «Правду», «Известия». Потом в иностранные коммунистические газеты: «Юманите», «Морнинг Стар», «Унита». А теперь очередное письмо ушло прямым в «Таймс», в «Нью-Йорк таймс», в «Фигаро», в «Ди Вельт» и в «Афтонбладет». И сразу Шубкин увидел, чем отличаются эти газеты от коммунистических. Письмо было немедленно опубликовано,

причем на самых видных местах. О Шубкине заговорили. Тексты его стали регулярно звучать в эфире. «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и Би-би-си передавали их с многократными повторениями. При этом награждали Шубкина лестными эпитетами. Чем дальше, тем более звонкими. Видный диссидент. Крупный писатель. Выдающийся правозащитник». [179–180]

Долговские органы оказались не готовы к такому повороту событий и растерялись, они сами, своими руками создали с помощью прессы диссидента, которого теперь боялись тронуть. Средства массовой информации сделали его известным на весь мир, настолько знаменитым, что неизвестно, с какой стороны к нему и подступить. Было время, когда его можно было посадить тихо и без всякого шума: «А теперь... Его тронешь, и все эти голоса подымут такой вой на всю планету, что только держись. Дело дойдет до всяких правозащитных организаций, те обратятся к своим президентам, президенты скажут о Шубкине Брежневу, Брежнев рассердится, вызовет Андропова, Андропов вызовет начальника пятого управления, начальник пятого управления вызовет начальника областного управления, тот позвонит в Долговский отдел, и чем дело кончится для Коротышкина, еще неизвестно». [180]

По сравнению с тем, что происходило в довоенное время и в первое послевоенное десятилетие, средства массовой информации, прежде всего западные, стали принципиально иными, выросли их возможности распространения информации, которая способна влиять на действия политиков, способна помогать людям, живущим в условиях противоборствующего с западным идеологического режима. Этим и воспользовался в полной мере Шубкин: «Видя, что его никто не трогает, он совсем распоясался и обращался не только в газеты, а к президентам и премьер-министрам и просто к мировой общественности, то есть в общем-то ко всему человечеству. Писал он обо всем. Об отходе официальных властей от коммунизма. О бюрократизме и взяточничестве. О поголовном пьянстве. О преследовании людей за религиозные убеждения. О том, что власти не заботятся о культурных ценностях.

Все эти материалы он каким-то образом переправлял в Москву, оттуда это опять же попадало на Запад, а по вечерам Шубкин искал и почти всегда находил в эфире свою фамилию». [180–181]

Шубкин стал одним из тех, кто с помощью средств массовой информации активно участвовал в противостоянии двух идеологических систем. На наш взгляд, принципиально важным является тот факт, что сразу же после истории о том, как из Шубкина сделали диссидента, в ро-

мане следует история с появлением в местной прессе статьи об Аглае Степановке Ревкиной, которая в свое время была исключена из партии и предана осуждению за свой сталинизм: «В «Долговской правде» появилась статья: «Верность». Написана она была давно. Еще в начале шестьдесят пятого года к Аглае приходил корреспондент. Задал ей кучу вопросов. И вскоре написал статью, но тогда света она не увидела. Аглая слышала, что в газете материал время от времени вынимали из редакционного портфеля, готовили к печати, но каждый раз в последний момент решали, что пока не время. И вот, видимо, время все-таки наступило. Статья получилась большая, на два подвала. В ней рассказывалась вся героическая биография Аглаи Ревкиной, кое-где, правду сказать, приукрашенная. Говорилось о твердости ее убеждений. Об испытаниях и гонениях, через которые она пронесла верность своим идеалам, партии, революции и государству. И подробнейшим образом был описан главный подвиг ее жизни: сохранение ценного памятника, шедевра монументальной пропаганды. Была выражена надежда, что недолго день, когда шедевр займет место на ожидающем его пьедестале». [191–192]

Есть свой символический смысл в том, что в момент активного развития диссидентского движения средства массовой информации, в частности, местная пресса обратилась к опыту людей, которые остались верны «настоящему» и «верному» учению ленинизма, которые не мыслят себе это учение без вклада в него такого вождя, как Сталин. Они должны были выполнить роль противовеса всяческому «идеологическому разложению» и «предательству идей социализма».

Публикация статьи в местной газете открыла новую страницу в жизни героини: ее сделали пенсионеркой республиканского значения, предоставили путевку в один из лучших санаториев, в котором она не знала, чем заняться: «Газеты давно читать перестала, телевизор смотреть ленилась. Да и что там смотреть, кроме Брежнева? Чуть ли не каждый вечер его чем-нибудь награждали или он награждал кого-то. Его показывали так много и усердно, что в народе программу телевидения прозвали «все о нем и немного о погоде». [196]

Газеты не были интересны Аглае Степановне, видимо потому, что в своих публикациях они мало чем отличались от того, что показывал телевизор. В дальнейшем, когда героиня похоронила надежду «на праздник на нашей улице» и впала в состояние, по словам автора, похожее на сомнамбулическое, она «телевизор включала время от времени, но каждый раз убеждалась, что там ничего интересного: только партийные съезды, хоккейные матчи, фигурное катание, Седьмое ноября,

Первое мая и дни рождения Брежнева». [241] Может быть, несколько схематично и даже утрированно, но восприятие героиней телевизионных программ довольно точно передает их структуру периода застоя.

Находясь в сомнамбулическом состоянии, Аглая Степановна периодически продолжала включать телевизор: «Время от времени, включив телевизор, видела: кого-то большого хоронят на Красной площади. Одного хоронят, другой говорит речь. Закрыла глаза, открыла: уже этого, который только что говорил, хоронят, а того, который говорит, держат под руки. Закрыла, открыла — услышала слова: перестройка, ускорение, гласность. На экране митинги, знамена, плакаты, народ призывает: «Борис, борись!» Борис швырнул партбилет на стол, залез на танк, из танка пальнули по Белому дому, наступили рыночные отношения». [268]

В этом кратком описании того, что видела героиня на экране, концепт телевизор наполняется содержанием *отражение недавней истории*, которая предстает в романе в виде отдельных кадров телевизионной хроники и политической терминологии нового времени, которая пришла к ней опять-таки из телевизионных передач.

В постперестроечную эпоху, которая в романе Войновича определена как эпоха «Террора без границ», продолжая периодически включать телевизор, Аглая Степановна могла видеть там своего сына, который к ней вообще никогда не приезжал. Зато другой герой романа, Ванька, редко смотревший телевизор, проявлял повышенный интерес к нему через несколько дней после изготовления им очередного изделия — мины. Он ждал, когда «из Москвы, Петербурга, реже из других городов поступят сообщения о взорванной квартире, автомобиле, офисе и о гибели того или иного важного человека. Так он узнавал, от кого именно ему удалось избавить человечество. Но когда сообщалось, что взрыв произошел в автобусе, в троллейбусе, на вокзале, Ванька знал точно — это работа чужая и грязная». [302]

Аглая Степановна ведет себе по отношению к средствам массовой информации как человек, который в свое время был буквально вытолкнут из активной партийно-государственной жизни, который остался верен иным идеалам и ценностям, нежели те, которые сегодня внедряются в сознание людей через газетные страницы и экраны телевизоров.

Одним из показателей того, почему героиня перестала интересоваться газетами, является история, случившаяся с ней 21 декабря, то есть в день рождения Сталина. Почувствовав, что новое брежневское время иначе, нежели во времена правления Лысого, относится к Ста-

лину и его наследию, Аглая Степановна решила почитать, что в день рождения ее вождя пишет о нем современная печать. Не дождавшись, пока свежие газеты принесут в санаторий, она съездила с этой целью на вокзал: «Аглая увидела на первой странице подвальную статью с крупным заголовком «К 90-летию со дня рождения И. В. Сталина», и что-то сразу ей не понравилось. Может быть, то, что без портрета. Может быть, то, что... «со дня рождения И. В. Сталина», а не «товарища И. В. Сталина». [235]

Вполне естественная реакция человека, который был воспитан на материалах о «вожде всех времен и народов», который обязательно должен сопровождаться его портретом и которого необходимо обязательно именовать «товарищ Сталин».

Однако это, к сожалению героини, было только начало: «То, что она прочла, потрясло ее, может быть, даже больше, чем речь Лысого на двадцатом съезде. От Лысого ничего хорошего ожидать нельзя было, а эти... Они начинали так обещающе... Статья ничем не отличалась от тех, которые печатались во времена Лысого. И вашим, и нашим. Некоторые заслуги признавались, но с первых строк с явным преуменьшением и оговорками. ...С юных лет включился в революционное движение. Принимал активное участие в создании газет «Звезда» и «Правда», в руководстве деятельностью большевиков, вместе с другими возглавлял борьбу против троцкистов, правых оппортунистов...

Вместе с другими, а не вдвоем с Лениным, не один из самых главных. И уже во второй колонке бесстыдное признание: «В оценке деятельности Сталина КПСС руководствуется постановлением ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий». [236]

В том, как реагирует Аглая Степановна на слова главной газеты советских коммунистов, сегодня характеризующие вождя, снова виден человек, который привык к другим формулировкам, другим оценкам, которыми в свое время были заполнены газетные страницы и которые не допускали в принципе ни других оценок, ни других формулировок.

Дальнейшее чтение приносит героине только «сплошное разочарование: «Вместе с тем Сталин допускал теоретические и политические ошибки, которые приобрели тяжелый характер в последний период его жизни... В дальнейшем стал постепенно отступать от ленинских принципов... Факты неоправданного ограничения демократии и грубого нарушения социалистической законности, необоснованные репрессии... допустил определенный просчет в оценке сроков возможного

нападения... На своем XX съезде партия разоблачила и осудила культ личности. Проделала громадную работу по восстановлению...» [236]

Поэтому нет ничего неожиданного в той реакции, которую вызвала статья о Сталине в газете «Правда»: «Приступ безумия охватил Аглаю. Она мяла газету, рвала ее на куски, плевала на них, оплеванное бросала под ноги и топтала...» [236]

Идеологическое противостояние средств массовой информации, о котором говорилось выше, достигает своего апогея в тот момент, когда Шубкин отправляется на свою историческую родину в Израиль. «Вражеские голоса» объявили этот отъезд результатом ультиматума, который герою предъявили органы госбезопасности, а также очередным успехом КГБ «в борьбе с инакомыслием». Они скрупулезно передавали все подробности его отъезда, «но советские средства массовой информации как в рот воды набрали. Это была новая тактика — замалчивать диссидентов, не поднимать вокруг них шумиху, не делать им лишней рекламы. Разумеется, в нашей районной печати о Шубкине тоже не появилось ни слова». [251]

Одним из средств борьбы с враждебной пропагандой в советское время и в самом деле было замалчивание. Оно должно было создавать у народа такое впечатление, что, если об этом не пишут и не говорят свои средства массовой информации, как бы об этом не трубили западные, значит, явление это внимания не заслуживает. Однако в истории с героем романа Войновича произошло другое: «И вдруг месяца через два или три, когда многие в самом деле стали Марка Семеновича забывать, «Долговская правда» разразилась разнузданным фельетоном «Старье берем». Где была в искаженном виде изложена вся его биография. Что будто бы, происходя из зажиточной еврейской семьи (на самом деле отец Шубкина был бедным портным), он с детства проникся идеями сионизма. Вступил в партию для того, чтобы подрывать ее изнутри. Совершил ряд преступлений против советской власти, но в конце концов был ею великодушно прощен. Ему была дана возможность пересмотреть свои взгляды и исправиться, но, обуреваемый нездоровым честолюбием, Шубкин стал искать дешевой славы за пределами выросившей его страны. Написал и опубликовал клеветническое и бездарное произведение «Лесоповал» и постарался продать его подороже. Поставлял западным спецслужбам клеветнические материалы о Советском Союзе. За что его хозяева платили ему не столько деньгами, сколько бывшим в употреблении тряпьем. Тем, которое американцы выкидывают в мусор. И вот финал, подготовленный всей

логикой предыдущей жизни. Смена идеалов закончилась изменой родине. И он сам выкинут на помойку, как сильно поношенный товар, называемый на Западе *second hand*, как старье, уже ни в каком смысле не пригодное ни к чему. В конце концов в появлении такого фельетона ничего необычного не было. Поклепы на диссидентов время от времени печатались во многих наших газетах, и «Долговская правда» не была исключением». [252]

Жанр и стиль подобных публикаций, основанных на полуправде, а то и откровенной лжи, был хорошо известен современникам, которые ничему не удивились. Тех, кто знал суть описанных событий, удивило только то, что фельетон был написан человеком, которого Марк Семенович Шубкин считал своим лучшим учеником.

В постперестроечное время, когда в демократы и антикоммунисты пошли многие деятели партии и даже сотрудники госбезопасности, «Долговская правда» стала «Долговским вестником», который прислал своего корреспондента для встречи того самого Марка Семеновича Шубкина, решившего вернуться в свой родной Долгов. Не пропустило такого события, как встреча реэмигранта, и областное телевидение.

Но это уже было время «полной свободы», как называет его повествователь, не забывая детализировать данное социально-политическое явление: «... Можно что хочешь писать, читать, слушать иностранное радио, рассказывать политические анекдоты, ругать президента, ездить за границу, заниматься любовью с партнером любого пола, группой и в одиночку, носить длинные волосы, серьги в ухе, кольца в носу, вообще протыкать себе что угодно». [281]

Как видим, в содержание понятия «полная свобода» входит то, что связано со средствами массовой информации: писать, читать, слушать. Другое дело, что зарплаты бюджетников и пенсии стали смехотворными, их задерживали или выплачивали «товарами местного производства».

Использование Аглаей Степановной газеты «Долговский вестник» в качестве импровизированной скатерти позволяет вспомнить, чем была наполнена провинциальная печать эпохи «полной свободы»: «Газета лежала перед ней в развернутом виде — первая и четвертая страницы текстом кверху. На первой — вести из Москвы: президент встречался с министром юстиции и обсуждал вопросы политического экстремизма. Мэр Москвы решил построить в столице самое высокое в мире высотное здание. В детском саду обнаружено взрывное устройство с начинкой из смеси гексогена с тротилом. Из местных сообщений — отчет о подготовке к выборам районной администрации. Власть

небольшая, всего-то в пределах района, а сколько страстно желающих и на все готовых! У Аглаи в глазах рябило от количества политических партий. Коммунисты, социалисты, монархисты, либералы, демократы, кадеты, социал-демократы, либерал-демократы, члены союзов борьбы за свободу, патриотических сил, белые, зеленые, голубые и всяких прочих направлений, цветов и оттенков». [309]

Представленное наблюдение героини, просматривающей первую страницу газеты, является свидетельством того, что пресса для понимающего читателя давала довольно четкое представление о том, кто рвется к власти и чего все эти союзы, объединения и партии стоят. Не менее интересной оказалась и четвертая страница, может быть, потому, что между ними есть что-то общее: «На последней странице были новости спорта, астрологический календарь и объявления, по которым глаз Аглаи равнодушно скользил:

«Белю потолки и клею обои».

«Продается авто «опель-кадет» с запасным комплектом резины».

«Индийский чародей Бенджамин Иванов — высшая магия».

«Моментальная привязка и приворот любимого навсегда методами вуду зомбирования. Полное избавление мужа от любовницы и возврат в дом. Гарантия — 100%».

«Недорого. Стрижка, шипка, тримминг собак».

«Освещаю помещения, жилые и офисные, дома, участки, мебель и автомобили. Священник отец Дионисий».

И стихами:

«Доктор Федор Плешаков лечит алкоголиков. Эспераль, торпедо, код. Пить не будешь целый год <...>» [310]

Уже в финале романа, когда Аглая Степановна в очередной раз сидела перед телевизором, переключаясь с одной программы на другую, она в очередной раз не выдержала «полной свободы». По какому-то каналу сидевшие в студии люди очень откровенно делились своими сексуальным опытом: «Аглая не поленилась, слетела с кровати, побежала к телевизору и стала плевать на экран, выкрикивая:

— Дура! Дура! ... Стрелять таких надо, стрелять!

Она дрожала от возмущения, плевалась и заплевала весь экран. Выключила телевизор. Легла. Долго не могла успокоиться. Что же это происходит? Неужели ради этих тунеядцев она, ее поколение жертвовали своим здоровьем и жизнью?» [368]

Казалось бы, выхода нет, и жизнь прожита зря, ничего святого вокруг не осталось, однако все не так трагично в современности. Героиня

включила другой канал, а там передают «что-то родное»: «голубой огонек» с космонавтами и передовиками производства, мастерами слова и сцены, с известным поэтом Робертом Рождественским и песней, которую исполняла Людмила Зыкина. Эта песня уводит героиню в те времена, когда она была молода и участвовала в межобластной партийной конференции, которая проходила на пароходе, шедшем по Волге... Значит, все не так трагично, и современные средства массовой информации, то же телевидение, дают возможность выбора. А роман Владимира Войновича заканчивается так, как он должен заканчиваться по логике развития его сюжета и самой жизни.

Сергей Донатович ДОВЛАТОВ

1941–1990

Проза Сергея Довлатова – это попытка автора создать картину мира, а вернее представление об этом мире, на основе собственной биографии, не отождествляя при этом искусство с действительностью. А средства массовой информации, в первую очередь газета, в этой биографии и в судьбах встреченных автором героев занимали значительное место.

Книга «Зона» представляет средства массовой информации в двух пространственно-временных измерениях. С одной стороны, они существуют в восприятии людей, оказавшихся, если не в исключительных, то в особых условиях: одни лишены свободы, а вторые призваны их охранять. А с другой, средства массовой информации постоянно возникают в письмах автора, который, уже будучи в эмиграции, рассказывает о своей жизни и, в первую очередь, о работе над своей «лагерной книжкой».

В первом случае средства массовой информации могут традиционно упоминаться в тексте в качестве бытовой подробности. Попав в собачий питомник, Борис Алиханов замечает, что «там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран».¹ Вспоминая свое любовное приключение, Алиханов отмечает, что, когда он прижимал к себе Галю Водяницкую, в его руке белела «свернутая газета».

Газета редко присутствует в тексте в качестве источника информации, к примеру, о смерти одного из персонажей

Газета появляется в тот момент, когда автор рассказывает о судьбе заключенного Мищука, который, получив срок, «знал, что, если постараться, можно его ополовинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, *читателем газеты* «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка)». [53]

¹ Довлатов С. Зона // Избранное. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. С. 67. Далее произведения С. Довлатова цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

Пусть это и не является главным в *достижении поставленной цели*, но читатель газеты «За досрочное освобождение» имел больше шансов получить то, к чему призывало уже само название этой газеты.

Газета может выступать в качестве одного из *признаков нормальной счастливой жизни* для тех, кто охраняет зону: «Наступит дембель, — мечтал Фидель, — приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар...» [61]

Газета выступает в качестве не только одного из признаков вольной жизни, но и важного источника необходимой информации и для заключенных. Когда один из них, Ероха, вспоминает о том, как он «давал гастроль на воле», то среди того, что помогало ему соблазнить очередную жертву для удовлетворения собственной похоти, выступает газета. Сначала кафе и танцы, «после везешь ее на хату... В дороге — чего-нибудь *из газет*. Сергей Есенин, летающие тарелки...» [105]

Получается, что газетная информация дает возможность представиться незнакомой девушке человеком знающим, эрудированным, понимающим толк не только в поэзии Есенина, но и в летающих тарелках.

Тот же Ероха гордится тем, что в связи с его уголовным делом о нем писала пресса: «Про меня в газете статья была. Не веришь? Ей-богу! Называлась — «Плесень». [106] Его собеседник сразу понял смысл статьи с таким выразительным названием, однако этот факт ничуть не уменьшает гордость заключенного тем, что о нем писали в газете.

Есть в книге и вполне ироничное отношение к газетам. Автор приводит такой диалог, состоявшийся как-то между солдатами охраны: «Скоро ли коммунизм наступит? — поинтересовался Фидель.

— Если верить газетам, то завтра. А что?

— А то, что у меня потребности накопились.

— В смысле — добавить? — оживился Балодис.

— Ну, — кивнул Фидель». [185]

Газеты, таким образом, выступают в качестве источника, которому верить нельзя, ибо тогда придется поверить в наступление коммунизма завтра, как об этом пишут газеты.

Описываемые в «Зоне» времена таковы, что незнание радио приравнивается к несусветной дикости и нецивилизованности. В разговоре заключенных, Ерохи и бывшего прораба из Черниговской области Замараева, есть такой эпизод. Желая лишний раз подчеркнуть деревенское происхождение и необразованность последнего, по сравнению в нем, с городским, Ероха говорит Замараеву: «Да и что с тобой

говорить? Ты же серый! Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался... Одно слово — мужик...

— У нас в каждой избе — радиоточка, — сказал Замараев». [102—103]

Ответ персонажа свидетельствует о том, что слова насчет радиоприемника и вил он воспринял буквально. А тот факт, что в его селе в каждой избе была радиоточка, он сообщает не без гордости.

В качестве средства массовой информации в книге «Зона» радио не представлено. К примеру, сообщается, что «по радио звучал Турецкий марш», и героиня выразительно представила себе, как движется турецкое войско.

Во втором случае средства массовой информации возникают как одна из причин того, что *«Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни»*.¹ Автор признается, что писать ему удастся *«только рано утром, с шести и до восьми. Дальше — газета, радиостанция «Либерти»...»* [72] Автор вспоминает и даже цитирует интервью, прочитанные им в газете, к примеру, со скульптором Эрнстом Неизвестным, сам дает интервью популярным в Америке журналистам.

Письма повествователя к своему издателю свидетельствуют о том, что эмиграция во многом его разочаровала, и одной из причин этого разочарования стала эмигрантская пресса. Получив после жесточайшей цензуры дома возможность печататься свободно, автор писем замечает: *«В газетах печатаем Бог знает что...»*² [114]

Книга «Компромисс» начинается с поисков работы. Один из знакомых, работающий на телевидении, сообщает автору, что в газете «На страже Родины» есть вакансия и предлагает записать фамилию опытного журналиста Каширина, к которому необходимо обратиться. «Опытный журналист» Каширин автору не понравился: «Тусклое лицо, армейский юмор. Взглянув на меня, сказал:

— Вы, конечно, беспартийный?» [202]

Поиски журналистской работы заставили автора просмотреть уже опубликованное им. «Дома развернул свои газетные вырезки. Кое-что перечитал. Задумался...

Пожелтевшие листы. Десять лет вранья и притворства. И все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность... Не в самих листах, а там, на горизонте...

Трудна дорога от правды к истине.

¹ Здесь и далее по цитате курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

² Курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

В один ручей нельзя ступить дважды. Но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно. А за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушитель и хмельных работяг. Это известно всем, кто хоть раз побывал за кулисами...

Начнем с копеечной газетной информации». [203]

Приговор своему газетному творчеству вынесен более чем суровый: «десять лет вранья и притворства», однако специфика работы журналиста такова, что даже за «враньем» и «притворством» стоят какие-то конкретные люди, разговоры, чувства, какая-то конкретная действительность. Вся журналистская деятельность, отраженная в газетных вырезках, предстает не только как цепь компромиссов для самого повествователя, но и наглядно иллюстрирует то, в каких идеологических условиях функционировала советская пресса, какие преграды стояли на пути честного слова журналиста к его читателю.

«Компромисс первый» в судьбе журналиста был связан с копеечной информацией: «(«Советская Эстония». Ноябрь, 1973 г.)

«НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Ученые восьми государств прибыли в Таллинн на 7-ю Конференцию по изучению Скандинавии и Финляндии. Это специалисты из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. На конференции работают шесть секций. Более 130 ученых: историков, археологов, лингвистов — выступают с докладами и сообщениями. Конференция продлится до 16 ноября». [203]

Информация была написана за пять минут, а вслед за этим возникает редактор Туронок, появление которого не предвещает ничего хорошего, потому что он представлен, как «елейный, марципановый человек. Тип застенчивого негодяя». Оказывается, автор заметки допустил «грубую идеологическую ошибку», перечисляя страны-участницы «по алфавиту». Перечислять их можно, главное — «в какой очередности. Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем — Польша, СССР, ФРГ...

— Естественно, по алфавиту.

— Это же внеклассовый подход, — застонал Туронок, — существует железная очередность. Демократические страны — вперед! Затем — нейтральные государства. И, наконец, — участники блока...»

Информацию пришлось переписать, но и на этот раз редактор был в гневе: «Вы надо мной издеваетесь! Вы это умышленно проделываете?!

— Что такое?

— Вы перепутали страны народной демократии. У вас ГДР после Венгрии. Опять по алфавиту?! Забудьте это оппортунистическое

слово! Вы работник партийной газеты. Венгрию — на третье место! Там был путч.

— А с Германией была война.

— Не спорьте! Зачем вы спорите?! Это другая Германия, другая! Не понимаю, кто вам доверил?! Политическая близорукость! Нравственный инфантилизм! Будем ставить вопрос...» [204]

Данная история служит наглядным примером того, за что журналиста советской газеты могли обвинить в «политической близорукости» и «нравственном инфантилизме». В самом финале истории первого компромисса возникает ощущение, что самого рассказчика вся эта «политическая» история с его заметкой не очень волнует, он больше сожалеет о другом: «За информацию мне уплатили два рубля. Я думал — три заплатят...» [204]

Компромисс второй был связан с информацией о 50-летнем юбилее Таллиннского ипподрома, который на самом деле к этому времени «представлял собой довольно жалкое зрелище». Кроме того необходимость написать «юбилейную заметку» дала автору возможность связаться с теми, кто на ипподроме занимался самыми откровенными махинациями. Это позволило ему раз в неделю уносить с ипподрома от тридцати до восьмидесяти рублей. Компромисс заключается в той разнице, которая есть между тем, какие дела творятся на ипподроме и тем, как об этом сам участник темных дел написал в газете.

В разговоре повествователя с «молодым дарованием», как представил его директор ипподрома, есть такой примечательный эпизод. Рассказчик сообщает Толе Иванову о том, что у него «есть лишние деньги, рублей восемьдесят» и просит что-нибудь посоветовать относительно конных бегов, а на опасливый взгляд собеседника отвечает: «Не бойся, — говорю, — я не провокатор, хоть и журналист». [206]

Выходит, что для определенной части граждан деятельность журналиста была связана с мыслью о возможном провокационном поведении, провокационных вопросах и т.д., да и сами журналисты хорошо осознавали возможную специфику своей работы.

Благодаря третьему компромиссу можно узнать о том, что журналисты газеты «Молодежь Эстонии» работали «добросовестно и честно», а окружающие считали их интересными людьми. Наиболее одаренных из них, среди которых и сам повествователь, сближала «легкая неприязнь к официальной стороне газетной работы. Какой-то здоровый цинизм, помогающий избегать громких слов...» [208]

«Здоровый цинизм» помогает журналистам в тех условиях не потерять своего человеческого лица, работать в официальном органе печати, но при этом избегать громких слов. Себя журналисты ценить умели: «В нашей конторе из тридцати двух сотрудников по штату двадцать восемь называли себя: «Золотое перо республики». Мы трое в порядке оригинальности назывались — серебряными. Дима Шер, написавший в одной корреспонденции: «Искусственная почка — будничное явление наших будней», слыл дубовым пером». [208–209]

Повествователю удается в примечательных деталях поведать о том, в чем заключалась специфика работы журналиста в зависимости от направления, с которым он был связан в редакции: «<...> Шаблинский работал в промышленном отделе, его материалы не вызывали дискуссий. В них преобладали цифры, рассчитанные на специфического читателя. Кленский трудился в отделе спорта, вел ежедневную хронику. Его точные деловые сообщения были лишены эмоций. Я писал фельетоны. Мне еще в апреле сказал редактор: «Будешь писать фельетоны — дадим квартиру». [209]

Всего лишь одно упоминание о том, что материалы промышленного отдела «не вызывали дискуссий», разумеется, не только потому, что в них «преобладали цифры», свидетельствует о многом. Эти материалы были таковы, что создавали впечатление порядка и налаженной работы промышленности. Кстати, именно «специфический читатель», то есть специалист знал, что это далеко не так.

Повествователь рассказывает о том, в чем заключалась специфика работы журналиста, ответственного за фельетоны: «Трудное это дело. Каждый факт надо тщательно проверять. Объекты критики изворачиваются, выгораживая себя. Город маленький, люди на виду. Короче, дважды меня пытались бить. Один раз — грузчики товарной станции (им это удалось). Затем — фарцовщик Чигирь, который ударил меня шляпой «борсалино» и тут же получил нокаут.

На мои выступления приходили бесчисленные отклики. Иногда в угрожающей форме. Меня это даже радовало. Ненависть означает, что газета еще способна возбуждать страсти». [209]

Принципиально важным автор считает даже не необходимость тщательно проверять каждый факт, а реакцию тех, кто оказывался объектом фельетонных выступлений, поэтому он особо ее отмечает как свидетельство того, что газетное слово все еще действенно, способно «возбуждать страсти».

В ходу были фельетоны с названием типа «ВМК без ретуши». Что такое «ВМК» автор к моменту написания книги «начисто забыл», од-

нако помнит, как «мигом закруглил свой фельетон. Написал что-то такое: «... Почему молчали цеховые активисты? Куда глядел товарищеский суд? Ведь давно известно, что алчность, умноженная на безнаказанность, кончается преступлением!..» [211]

Кроме того, в обязанности повествователя входило написание рецензий на театральные постановки: «Вечером я сидел в театре. Давали «Колокол» по Хемингуэю Спектакль ужасный, помесь «Великолепной семерки» с «Молодой гвардией». Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы. В точности, как у меня.

В конце спектакля началась такая жуткая пальба, что я ушел, не дожидаясь оваций. Город у нас добродушный, все спектакли кончаются бурными аплодисментами...» [215]

Как мы уже знаем, спектакль был «ужасный», но заказ был на положительную рецензию, начало которой было таким: «Произведения Хемингуэя не сценичны. Единственная драма этого автора не имела театральной биографии, оставаясь «повестью в диалогах». Она хорошо читается, подчеркивал автор. Бесчисленные попытки Голливуда экранизировать...» [215–216] Чем закончилась «положительная рецензия» на «ужасный спектакль», мы не узнаем, начинают стремительно развиваться другие события.

Из разговоров журналистов за рюмкой можно узнать, что в печати иногда работают такие темные люди, что их даже «в гараж механиком не примут», за ней же ведутся «вечные журналистские разговоры, кто бездарный, кто талантливый». А самые циничные среди них — это корреспондентки телевидения. Журналисты могли быть заняты полосами о «народном контроле» или отправлялись в командировку в какой-нибудь поселок, где «мать-героиня родила одиннадцатое чадо». [212–214]

О том, какими проблемами и темами жила республиканская периодическая печать, свидетельствует такой показательный эпизод: «Тут меня вызвали к редактору. Генрих Францевич сидел в просторном кабинете у окна. Радиола и телевизор бездействовали. Усложненный телефон с белыми клавишами молчал.

— Садитесь, — произнес редактор, — есть ответственное задание. В нашей газете слабо представлена моральная тема. Выбор самый широкий. Злостные алиментщики, протекционизм, государственное хищение... Я на вас рассчитываю. Пойдите в народный суд, в ГАИ...» [217]

Редактор заботится, прежде всего о том, чтобы в его газете были в достаточной степени представлены все темы, в том числе и моральная, поэтому и задание считается ответственным. Есть у него и свое представление о том, где искать материал на моральную тему, выбор и в самом деле «самый широкий».

Главное содержание третьего компромисса связано именно с «моральной темой», хотя автор и предупреждает, что «в этой повести нет ангелов и нет злодеев... Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует...» [208] Компромисс заключается в том, что реальность подчас очень сильно отличается от того, как ее представляет своим читателям журналист. К одному из газетчиков, приятелей автора, приехала гостья. Она погуляла по Таллинну, провела веселую вечеринку в компании местных журналистов, насочиняла про свою учебу и знакомства с известными людьми, а когда настало время уезжать, выяснилось, что денег на обратный проезд у нее нет. Журналисты сами были в стесненных обстоятельствах, а потому совместными усилиями был придуман такой выход: взять у нее интервью «под рубрикой — «Гости Таллинна». Студентка изучает готическую архитектуру. Не расстается с томиком Блока. Кормит белок в парке... Заплатят ей рублей двадцать, а может, и четвертак...» [217]

Так и случилось. И молодая женщина не то, чтобы порочная или развратная, по определению повествователя, а просто беспечная, живущая «нагромождением поступков», модными импортными сапогами и бесчисленными компаниями и танцами, в очерке повествователя предстала героиней в газете «Молодежь Эстонии». В Таллинн ее привело, оказывается, «любопытство» человека, который знает, что такое, *«беспокойное чувство, заставляющее человека неожиданно покидать городской уют...»*¹ [207]

В очерке было еще много красивых слов о движении, об архитектуре Таллинна, о будущем, но главное заключается в том, что вся история, изложенная в газетной публикации, была придумана с целью выручить героиню из финансовой беды и имела мало отношения к тому, что было на самом деле.

В компромиссе четвертом есть примечательная деталь, которая свидетельствует о том, каков должен быть «универсальный журналист: «Вечерний Таллинн» издается на русском языке. И вот мы придумали

¹ Курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

новую рубрику — «Эстонский букварь». Для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск. Написал довольно милые стишки. Штук восемь. Универсальный журналист, я ими тайно гордился». [218]

Гордость автора вызвана тем, что при всей своей специализации он смог написать «довольно милые стишки», и такая способность, по его мнению, отличает «универсального журналиста». Однако радость автора была недолгой: его обвинили в том, что он написал «шовинистическую басню», т.к. дети говорят на русском языке, а встреченный ими медведь на эстонском. По мнению инструктора республиканского ЦК партии, это безобразие: «Это что же получается? Выходит, эстонец — зверь? Я — зверь? Я, инструктор Центрального Комитета партии, — зверь?!

— Это же сказка, условность. Там есть иллюстрация, Ребятишки повстречали медведя. У медведя доброе, симпатичное лицо. Он положительный...

— Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран...»

Сегодня такое возмущение партийного чиновника может вызвать только улыбку, в октябре 1974 года его вывод относительно автора стихов звучал как приговор: «Не созрел ты для партийной газеты, не созрел». [218]

Изложение сущности компромисса пятого дает возможность сегодняшнему читателю увидеть, как формировалось в середине 70-х годов прошлого века редакционное задание, какими обязательными условиями оно могло сопровождаться. Вызвавший к себе автора редактор сообщает ему, что «есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали». [221] Попутно редактор замечает, что повествователю не следует считать его «серым», то есть таким, который читает одни газеты.

Задание связано с тем, что годовщина освобождения Таллинна «будет широко отмечаться. На страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой... Материалы готовят все отделы редакции...» [221]

В связи с тем, что число жителей Таллинна приближается к четыремстам тысячам, в редакции газеты «посоветались и решили. Четырехсоттысячный житель Таллинна должен родиться в канун юбилея». Поэтому надо идти в родильный дом, дожидаться «первого новорожденного», записать его «параметры», опросить «счастливых родителей» и «врача, который принимал роды», сделать хорошие фотоснимки. Ре-

портаж, по словам редактора, идет в юбилейный номер», к тому же он обещает «двойной гонорар», что не может не быть хорошим стимулом для качественной работы.

Этим, однако, редакционное задание не ограничивается. Редактор решил дать правильное направление работе журналиста: «...Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился — человек, обреченный на счастье!

Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.

— Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? «Человек, обреченный на счастье»...» [221]

В этом эпизоде наглядно представлена не только идеология, ориентированная на то, что человек, родившийся в советской стране, должен быть обязательно счастлив, но и газетная стилистика такой идеологии. К сказанному редактор посчитал нужным добавить: «И запомните. — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик.

— Обязательно — мальчик?

— Да, мальчик как-то символичнее». [222]

Весьма выразительно редактор изложил журналисту, что, по его мнению, означает «публикабельность» относительно новорожденного. Когда повествователь изложил суть дела главному врачу роддома, «доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли...» [226] В данном случае пресса выступает в глазах рядового читателя в качестве некоей *затейницы*, к затеям которой привыкли настолько, что не удивляются даже самым неожиданным.

Все складывалось более чем удачно: у очередной роженицы родился мальчик. Но вскоре выяснилось, что у мальчика мать была эстонкой, а отец эфиоп. Редактор такую кандидатуру отверг. Несмотря на то, что папа мальчика был «марксист» и «дружественный нам эфиоп», журналисту было строго приказано: «Дождитесь нормального — вы слышите меня? — нормального человеческого ребенка!...» [229]

У следующего новорожденного мама была русская, а папа снова не подходил, так как был евреем, хоть и известным в Таллинне поэтом,

который даже уже стихи написал по случаю рождения сына с такими финальными строчками:

«На фабриках, в жерлах забоев.
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец мой среди них!» [232]

Один из приятелей предупреждает повествователя о том, что «Штейн — еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.

— Я писал о Каплане и не согласовывал.

— Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член С бюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй...

— Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.

— Тем хуже для него.

— Ясно. Спасибо, что предупредил». [231]

Журналист сам, без звонка редактору догадался, что и этот новорожденный «не подходит».

Третий младенец подходил по всем показателям: мама — эстонка, «муж — токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы». [233] Возникло только одно препятствие: родители хотели назвать ребенка Володей, а редактор требовал, чтобы он стал Лембитом, готов был даже заплатить за это двадцать пять рублей.

Получается, что периодическая печать *подгоняет* реальную действительность под важную для нее идею (четырехсотый житель Таллинна, родившийся накануне юбилея освобождения города). Материал, предоставляемый реальной действительностью, печать *отображает выборочно* (для публикации подходит не каждый младенец, необходимо найти «публикабельного»). Но даже этого мало. Печать пытается по-своему *управлять реальной действительностью* (газете нужно, чтобы имя мальчика было Лембит, а не Володя). Результатом всех этих действий журналиста и редактора стала публикация в газете «Советская Эстония» в ноябре 1975 года: «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. Ежегодный праздник — День освобождения — широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машинно-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях.

И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 000 человек. В таллиннской больнице

№ 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400 000-м жителем города.

— Спортсменом будет, — улыбается главный врач Михкель Тенне.

Счастливым отец неловко прячет грубые мозолистые руки.

— Назовем сына Лембитом, — говорит он, — пусть растет богатырем!..

К счастливым родителям обращается известный таллиннский поэт — Борис Штейн:

На фабриках, в жерлах забоев,
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец твой среди них...

Хочется вспомнить слова Гете: «Рождается человек — рождается целый мир!»¹

Не знаю, кем ты станешь. Лембит?! Токарем или шахтером, офицером или ученым. Ясно одно — родился Человек! Человек, обреченный на счастье!..»² [220]

Как видим, в опубликованном очерке пригодились все: и название, придуманное редактором, и имя богатыря Лембита, и стихи Бориса Штейна, посвященные рождению своего сына, и даже слова Гете, которых последний никогда не писал.

Шестой компромисс журналистской работы возникает в связи с поиском интересных людей для радиоочерка. Внештатная сотрудница Таллиннского радио Лидия Агапова получила предложение создать новую рубрику «Встреча с интересным человеком». Свое видение, свою концепцию этого явления редактор пытается изложить в диалоге с внештатной сотрудницей: «<...> Причем не обязательно с ученым или космонавтом. Диапазон тут исключительно широкий. Почетное хобби, неожиданное увлечение, какой-нибудь штрих в биографии. Допустим, скромный номенклатурный главбух тайно... я не знаю... все, что угодно... не приходит в голову... Допустим, он тайно...

— Растлевают малолетних, — подсказала Лида.

— Я другое имела в виду. Допустим, он тайно...

— Изучает санскрит...

— Что-то в этом духе. Только более значимое в социальном отношении. Допустим, милиционер помогает кому-то отыскать близкого человека...

¹ Фантазия автора. Гете этого не писал. — прим. С.Д. Довлатова

² Курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

— Есть кино на эту тему.

— Я не могу предложить вам что-то конкретное. Тут надо подумать. Вот, к примеру. На фабрике «Калев» проходили съемки «Одинокой женщины». Помните, с артисткой Дорониной. Так вот, мальчишка, который участвовал в съемках, превратился в начальника одного из цехов.

— Мне нравится эта тема, — сказала Лида, — я ее чувствую.

— Эту тему уже использовал Арвид Кийск. Я говорю — в принципе. Надо придумать что-то свое. Допустим, старый генерал ложится на операцию. И узнает в хирурге своего бывшего денщика...

— Как фамилия? — спросила Лида.

— Чья?

— Как фамилия этого генерала? Или денщика?

— Я говорю условно... Тут главное — неожиданность, загадка, случай...

Многоплановая жизнь... Снаружи одно, внутри другое...

— Это у многих так, — вздохнула Лида.

— Короче — действуйте, — сказала Нина Игнатьевна, едва заметно раздражаясь. Лидочка вышла из кабинета». [243–244]

Поиски чего-либо конкретного, того, что не могла предложить редактор, приводят к выводу, что «интересные люди», как их представляет радиопередача, выглядят в жизни совершенно другими. Происходит это, видимо, потому, что интересный человек, в представлении редактора Нины Игнатьевны, а затем и самой Лидочки, это обязательно что-то оригинальное, загадочное или неожиданное, но при этом еще и «значимое в социальном отношении».

Попутно в повествовании возникает история диктора-неудачника Чмутова, происходящее с которым напоминает серию анекдотов из жизни радио. Сначала в надписи «Эфир» перегорела лампочка и ожидавший, когда она загорится, диктор Чмутов наговорил в эфире всякой всячины. Затем, уже на радио в другом городе, в студию во время передачи «вошла большая коричневая собака (Чья? Откуда?) Чмутов ее осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос ее сиял крошечной боксерской перчаткой.

— Труженики села рапортуют, — произнес Чмутов.

И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. Лаской ее, видимо, не избаловали. — Труженики села рапортуют... Гав! Гав! Гав!

Чмутова снова уволили. Теперь уже навсегда и отовсюду...» [243]

Жизнь сотрудников средств массовой информации предстает, как полная неожиданностей, иногда весьма смешных и забавных, особенно если тебя такие неожиданности не касаются.

Тема интересных людей, которые в жизни могут оказаться «интересными» совсем по другому поводу, развивается в «Компромиссе седьмом». В этом компромиссе главной остается проблема тех трудностей, которые могут встретиться в деятельности журналиста, если он решил рассказать об интересном человеке. Сначала в газете «Советская Эстония» был опубликован очерк повествователя «Наряд для марсианина», в котором рассказывалось о закройшике-модельере Русского драматического театра ЭССР Вольдемаре Сильде. Из этого очерка читатели узнали о том, что *«этот человек пользуется большим уважением и заслуживает самых теплых слов. Среди его постоянных клиентов испанские гранды и мушкетеры, русские цари и японские самураи, более того — лисицы, петухи и даже марсиане»*.¹ Герой очерка знает толк в театральных костюмах, может по достоинству оценить чужую работу в этом плане, а главное — *«безукоризненно работает и сам Вольдемар Сильд, портной, художник, человек театра»*. [258–259]

На редакционной летучке материал повествователя удостоился похвалы, говорили, что «Довлатов умеет живо писать о всякой ерунде», что он смог найти «заголовок эффектный», «откуда-то берет неожиданные слова, например, «аксессуары». [258–259] Однако вызвавший на следующий день автора очерка редактор был иного мнения. Оказывается, что сегодняшний театральный портной «в войну... был палачом. Служил у немцев. Вешал советских патриотов. За что и отсидел двенадцать лет.

— О Господи! — сказал я.

— Понимаете, что вы наделали?! Прославили изменника Родины! Навсегда скомпрометировали интересную рубрику!»

На заявление автора очерка о том, что кандидатуру героя ему рекомендовал сам директор театра редактор ответил: «Директор театра — бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой.

— Что значит — голубой?

— Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал?

Приставал, думаю. Еще как приставал. Руку мне, журналисту, подал. То-то я удивился...» [259]

Автор-повествователь, как мы видели и раньше, не очень ценит свое журналистское звание и знает о том, как к журналистам относятся окружающие, поэтому в свое время удивился тому, что директор театра подал ему руку. По его логике получается, что, если человек не

¹ Курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

«голубой», то ему незачем подавать руку человеку, который именует себя журналистом.

Главный вывод, к которому хотел привести повествователя редактор, заключается в том, что журналисту надо «быть осмотрительнее. Выбор героя — серьезное дело, чрезвычайно серьезное...» [259] Это его убеждение подтвердилось очень скоро, когда в такую же историю попал коллега повествователя. Журналист Буш взял в канун годовщины Октябрьской революции у капитана торгового судна ФРГ интервью, в котором тот прославлял советскую власть. А через какое-то время «выяснилось, что он беглый эстонец. Рванул летом шестьдесят девятого года на байдарке в Финляндию. Оттуда — в Швецию. И так далее. Буш выдумал это интервью от начала до конца. Случай имел резонанс, и про меня забыли...» [259]

История, случившаяся с корреспондентом Бушем, во всех подробностях изложена в «Компромиссе десятом», который интересен и в других отношениях. Из него можно узнать: даже работающий «в партийной газете» журналист может оставаться нормальным и даже обаятельным человеком, может сохранять какое-то обаяние: «Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь, бывает, полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии...» [303]

В этих размышлениях повествователя много грустного — работа в партийной печати может истребить в человеке «разум, принципы или убеждения», может быть «полностью утрачена» честь.

Есть в этом компромиссе и другие принципиальные наблюдения. К примеру, над тем, что разрешено советскому журналисту: «В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказывать политические анекдоты. Четвертому — быть евреем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспартийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость. Кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:

— Хватит! Не забывайте, что журналистика — передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно?» [305]

Весьма ценное наблюдение, свидетельствующее о нравах и нормах поведения, принятых в советской журналистике. Положение же о том, что «журналистика — передовая линия идеологического фронта», нет необходимости и комментировать. Это — основополагающий тезис, на котором строилась вся идеология средств массовой информации.

Однако система давала вычеркнутому из ее рядов журналисту «шанс исправиться»: «Идите на завод. Проявите себя на тяжелой физической работе. Станьте рабкором. Отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь... Тут я не выдержал.

— Да за подлинную жизнь, — говорю, — вы меня без суда расстреляете!

Участники заседания негодуяще переглянулись. Я был уволен «по собственному желанию». [305]

Всего лишь одна фраза повествователя, сказанная им на заседании парткома, дает главную характеристику средствам массовой информации: отражение в них подлинной жизни равнозначно смертному приговору для журналиста, который на это отважится. Показательны судьба и поведение журналиста Буша, который «почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом», «критиковал существующие порядки», «отрицал саму историческую реальность. В частности — победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал:

— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. А все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее, Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает». [307–308]

Повествователь относит деятельность журналиста, который придерживается антисоветских взглядов, но при этом вполне успешно работает в советской печати, на счет его нонконформизма, на счет его абсолютной беспринципности. И возникает твердое убеждение в том, что в той системе, в тех идеологических условиях только такой жур-

налист и мог быть успешным. «Мятежность, — замечает повествователь, — легко уживалась в нем с отсутствием принципов». [309—310] Хотя, как показывает опыт того же Буша, бесконечно жить за счет нонконформизма нельзя. Финал его оказался трагичен.

Для того, чтобы читатель нагляднее представил себе этого журналиста Буша, автор приводит начало одной из его корреспонденций: «Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга...» [308]

Выбравшись из захолустья провинциальной газеты в Таллинн, работая внештатным корреспондентом «Советской Эстонии», Буш стремился к тому, чтобы попасть в штат республиканской газеты: «Штатная должность означала многое. Особенно — в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности. То есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру». [309]

Здесь перечислены все главные достоинства, которыми обладала в советское время работа в республиканской газете, эти достоинства и были главной причиной, почему журналист стремился попасть туда в штат. Однако у Буша была и далеко идущая цель: «Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается...» [309]

Задание, которое дает внештатному сотруднику редактор, могло сделать его штатным. В связи с приближающейся годовщиной Октябрьской революции редактор решил дать Бушу «ответственное задание»: «<...> Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с шестьдесят третьей годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно?

... — Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти». [310]

Буш с готовностью берется за выполнение задания, тем более, что у него есть опыт общения с «матросом швейцарского королевского

флота», который был нашим человеком, «все Ленина цитировал». На замечание о том, что в Швейцарии «нет моря, нет короля, а, следовательно, нет и швейцарского королевского флота», [310] журналист не нашелся, что ответить.

Эта анекдотичная история есть наглядное свидетельство тому, кто, с каким уровнем представлений о мире, в частности о географии и политическом устройстве работал в республиканской периодической печати.

Выполняя редакционное задание, Буш так напился с капитаном западногерманского судна, что начал жаловаться ему на то, что ему «все опротивело», что он просто жаждет настоящей свободы», а поэтому «надо бежать из этой проклятой страны!» [312] Капитан даже посоветовал ему вполне реальный план побега. Однако на следующий день журналист отдал машинисткам редакции свою статью, которая называлась «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба!» А началась она так: «Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки.

— Босса интересует только прибыль, — жалуется капитан. — Двадцать раз я советовал ему заменить цилиндры. Того и гляди лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней...» [313]

Не менее выразительным был и финал корреспонденции: «Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни, парень! Свобода — как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И потому — я вернусь! Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..» [313—314]

После опубликования статьи в редакции появился полковник КГБ, который проинформировал журналиста в том, что в данный момент герой его материала находится в тюрьме как изменник родины. Оказывается, никакой он не немец, а «беглый эстонец», который еще в шестьдесят девятом году «рванул на байдарке через Швецию». Постоянное место жительства — Гамбург, где он женился на немке Луизе Рейшвиц и четвертый год плавал на судах западногерманского торгового флота. Органы безопасности только ждали того момента, когда он совершит рейс в Эстонию, и дождались. Статью Буша полковник КГБ расценил

как случай «крайне неприятный», как пятно на «журналистской репутации», как «идеологический просчет», и даже как потерю бдительности. В результате — корреспондент Буш был лишен даже внештатной работы. Хотя прошло совсем немного времени, и публикации Буша заставили редактора снова заговорить о предоставлении ему штатного места.

Значительное место в повествовательном пространстве довлатовских «компромиссов» занимает жизнь редакции, не связанная с выполнением функциональных обязанностей газетчиков. Ее представление, изображение всего несколькими выразительными штрихами, деталями передает саму атмосферу отношений между людьми, которые в силу своей профессии вынуждены постоянно идти на компромиссы, но стремятся оставаться при этом людьми. Одно из наиболее распространенных явлений этой жизни — совместные праздники, а иногда просто пьянки: «Вообще редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором. Решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи. Выразить кому-то свои претензии. Произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини фоторепортажа!

— А ты, — доносится ответ, — Шекспир экономической передовицы!..

Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты. Плетутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на Доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием...» [327–328]

Жизнь журналиста, не занятого своей работой, является продолжением его профессиональной жизни, к сожалению, с тем же «напряженным, лихорадочным бесплодием».

В конце «Компромисса десятого» повествователь вспоминает причины, по которым его убрали из республиканской газеты, и находит среди них не только политико-идеологические или моральные: «Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уровне, и все...» [333]

Девятый компромисс снова связан с той поразительной разницей, которая существует между образом человека, создаваемого газетой, и теми проблемами, которые его волнуют на самом деле, в его реальной повседневной жизни.

Содержанием «Компромисса восьмого» стала история о том, как эстонская доярка обратилась с письмом Леониду Ильичу Брежневу, а он ей ответил. На самом деле письмо это написал повествователь, съездив по заданию редакции туда, где жила доярка Линда Пейпс. Отправляя журналиста в командировку, редактор подчеркивает важность этого редакционного задания: «Поедете спецкором. Такое задание мы не можем доверить любому. Привычные газетные штампы здесь неуместны. Человечинка нужна, вы понимаете? В общем, надо действовать. Получите командировочные и с Богом... Мы дадим телеграмму в райком... И еще. Учтите такое соображение. Подводя итоги редакционного конкурса, жюри будет отдавать предпочтение социально значимым материалам.

— То есть?

— То есть материалам, имеющим общественное значение.

— Разве не все газетные материалы имеют общественное значение?

Турунок поглядел на меня с едва заметным раздражением.

— В какой-то мере — да. Но это может проявляться в большей или меньшей степени». [265]

Приведенный диалог примечателен в нескольких отношениях. Во-первых, он свидетельствует о том, что редактор чаще всего недовольный деятельностью повествователя как журналиста, понимал, что его подчиненный — человек талантливый, которому не свойственны «привычные газетные штампы». Главную причину своего выбора редактор изложил предельно лаконично: «Знаете, Довлатов, у вас есть перо!» [264] И это показательно. Наличие «пера» в любых условиях и обстоятельствах для журналиста остается первым и самым главным достоинством.

А во-вторых, периодическая печать имела свою иерархию ценностей публикуемого материала. Естественно, что связанный с именем Генерального секретаря ЦК КПСС был в этой иерархии на первом месте.

День безобразной пьянки в районном центре в окружении двух девушек, одна из которых второй секретарь райкома комсомола, а вторая — журналистка районной газеты («автора» письма журналист и фото-корреспондент видели всего несколько минут), дали такой результат: («Советская Эстония». Июнь. 1976 г.)

«МОСКВА. КРЕМЛЬ. Л. И. БРЕЖНЕВУ. ТЕЛЕГРАММА. Дорогой и многоуважаемый Леонид Ильич! Хочу поделиться с Вами радостным событием. В истекшем году мне удалось достичь небывалых трудовых показателей. Я надоила с одной коровы рекордное число¹ молока.

¹ Здесь и в дальнейшем — явные стилистические погрешности (прим. С. Довлатова).

И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом!

Обещаю Вам, Леонид Ильич, впредь трудиться с еще большим подъемом.

ЛИНДА ПЕЙПС». ¹ [260–261]

Стилистика написанного, по признанию самого автора, «явно хромала», но «переделывать не было сил».

После выполнения этого редакционного задания дела журналиста Довлатова изменились. Для того, чтобы выразительно представить эти изменения, он пользуется наглядным сравнением: «Так я пошел в гору. До этого был подобен советскому рублю. Все его любят, и падать некуда. У доллара все иначе. Забрался на такую высоту и падает, падает...» [267]

Кстати, «ответ» Леонида Ильича пришел еще до того, как письмо было написано. Тоже выразительная деталь, характеризующая и эпоху, и средства массовой информации, которые вынуждены были не только отражать, но и организовывать такую «переписку».

«Компромисс одиннадцатый» продолжает создание образа журналиста, не обязательно советского, но материалом для создания этого образа служит, прежде всего, деятельность советских журналистов: «О журналистах замечательно высказался Форд: «Честный газетчик продается один раз». Тем не менее, я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет вовсю». [342]

Рассуждения о «продажности» прессы давно стали банальностью. Много сказано о продажности прессы так называемого «свободного мира» или постсоветского периода ее развития, но Довлатов имеет в виду прессу вообще, не деля ее на партийную (коммунистическую) и буржуазную, советскую и демократической России. В его концептуальном видении, продажность является одним из качественных, характерологических признаков прессы. Результатом такой продажности стала настоящая система «торговли», в которой для товара (журналистов), в зависимости от его качества и степени «изношенности», есть не только «скупочные пункты» и «комиссионные магазины», но даже «барахолка».

По Сергею Довлатову, журналист, живущий в условиях реальной жизни, постоянно что-то создает, и это создание иногда очень резко контрастирует с тем, что его окружает, находится с этим окружением

¹ Курсив С.Д. Довлатова. — С.А., С.В.

в четко обозначенной оппозиции: «Есть жизнь, прекрасная, мучительная, исполненная трагизма, И есть работа, которая хорошо оплачивается. Работа по созданию иной, более четкой, лишенной трагизма, гармонической жизни. На бумаге.

Сидит журналист и пишет: «Шел грозовой девятнадцатый...»

Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: «Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе...»

Жена из кухни: «Как. Лернера еще не посадили?»

Но перо уже скользит дальше. Допустим: «...Еще одна тайна вырвана у природы...» Или там: «...В Нью-Йорке левкои не пахнут...» [342]

Самую большую радость и ощущение гармонии дает журналисту, по Довлатову, осознание того, что он занимается творчеством: «В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного мужчины.

Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что думает.

Творчество? Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное.

Любовь? Газетчик нежно любит то, что не стоит любви <...>. [342–343]

Творчество журналиста, который «искренне говорит не то, что думает», то есть попросту обманывает своего читателя, словно рассчитано на лирического героя Максимилиана Волошина, который именно этого и хотел:

Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать — зачем, чтоб не помнить — когда...
Чтоб поверить обману свободно, без дум...
Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал,
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.¹

¹ Волошин М. «Обманите меня... но совсем, навсегда...» // Волошин М.А. Стихотворения. М., Книга, 1989. С. 149.

Дмитрий Александрович МИЗГУЛИН

р. 1961

Концепт средства массовой информации в лирике Дмитрия Мизгулина представлен преимущественно тремя видами — газета, радио и телевидение. Все вместе они, как приносящие «назойливые события» и «тревожные новости», вызывают, в понимании лирического героя, некую социальную усталость:

Боже, как мы все устали
.....
От назойливых событий,
От тревожных новостей...¹
«Боже, как мы все устали...», 2001

Средства массовой информации, делающие события «назойливыми» и приносящие «тревожные новости», оказываются одной из главных причин того, что

И лежит наш скорбный путь
Среди шума, среди гама,
Мимо Бога, мимо Храма. [ИС, 171]

Они становятся частью «шума» и «гама», сопровождающих путь современного человека. В противовес им в лирическом пространстве Дмитрия Мизгулина существует природа, в которой есть свои красота и простор, свои слаженность и сложность, природа, которая заставляет стихать «бесполезный разговор», идущий в средствах массовой информации:

<...> Какая красота, какой простор —
Все слажено и сложено в природе.

¹ Мизгулин Д. «Боже, как мы все устали...» // Мизгулин Д.А. Избранные сочинения. — М.: Худож. лит., 2006. С. 171. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (ИС) с указанием страницы.

Стихает бесполезный разговор
О правде, о свободе, о народе...¹

Снова, как и в стихотворении 2001 года, «бесполезный разговор», как синоним «назойливых событий» и «тревожных новостей», оказывается одной причин того, что

<...> Во всем — унынье, боль и нищета.
Сюда уже не ходят звери в гости.
И покосилась церковь без креста,
И без крестов могилы на погосте... [НД, 85]

Однако концепт средства массовой информации в лирике Дмитрия Мизгулина не существует только как некое качественное единство, каждое из составляющих это явление имеет свою индивидуальную характеристику.

Газета, как разновидность концепта СМИ, может быть наполнена значением *сохранение памяти*. В понимании лирического героя, ее значимость именно в этом аспекте может существенно меняться. В свое время, когда она была современницей и отражением каких-то событий или явлений, которым лирический герой «не придавал никакого значения», однако по прошествии времени отношение меняется:

С годами начинаешь гордиться тем,
Чему ранее не придавал никакого значения —
Потрепанной книжкой
С автографом известного автора,
Давнишней детской дружбой
С нынешним героем труда,
Областной газетой
Десятилетней давности
С упоминанием о тебе
В числе прочих
В когда-то нашумевшей статье... [ИС, 40]
«С годами начинаешь гордиться тем...», 1982

Примечательно, что в тексте нет никакого знака, который бы свидетельствовал о том, какого характера был шум, вызванный статьей, а лирический герой в этой статье вообще был назван «в числе прочих». Прошло десять лет, и упоминание в сохранившейся областной газете

¹ Мизгулин Д.А. «Настало лето. Реки разлились...» // Мизгулин Д.А. Ненастный день. — Томск: «ГалаПресс», 2011. С. 85. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (НД) с указанием страницы.

вызывает гордость лирического героя. Так самый обычный номер газеты становится, если не предупреждением, то напоминанием о том, как важны для человека, на первый взгляд, самые незначительные, знаки проживаемой жизни. Буквально «не дано предугадать», как и чем отзовется газетное слово в недалеком будущем.

Развитие этой мысли находим в стихотворении «А вспомнишь — на память приходят не даты...», в котором лирический герой размышляет о том, как память порой теряет «речи, события, лица», но умеет сохранять мельчайшие подробности жизни, среди которых есть место и газете с важной для человека информацией:

<...> И памятны будут только детали,
Над крышами заиндевелившие дали,
Проспект — без парадного летнего лоска,
Трамваи, машины, толпа у киоска,
Газета с итогами матчей в субботу,
Никто не спешит, не бежит на работу.. [НД, 119]

Газета сегодняшнего времени может выступать в качестве свидетельства некоей наполненности жизни. Отсутствие газет как привычного и необходимого атрибута жизни человека становится неким доказательством ее качества, к примеру, создает ощущение ее пустоты:

Кажется, что жизнь сошла на «нет»,
И уже не надо ни черта.
Нынче нет ни писем, ни газет.
Только телефонные счета. [ИС, 123]
«Кажется, что жизнь сошла на «нет»...», 1994

Примечательно, что газеты в процитированном стихотворении выступают как явление, приравненное к письмам, ценность которых в частной жизни человека всегда определялась значительно выше, ибо письма — это, как правило, форма общения между близкими людьми. А в лирическом тексте они выступают как равнозначные понятия. Отсутствие газет, как и писем, и те и другие, кстати, заменили телефонные счета, свидетельствует о том, что «жизнь сошла на «нет», и в ней «уже не надо ни черта». Отсутствие привычных атрибутов, казалось бы, частной жизни одного человека в финале стихотворения начинает пониматься как некая общечеловеческая трагедия:

<...> Каждая душа наперечет.
Каждый человек подвластен им.
А Антихрист после наречет
Тех, кто выжил именем своим.

Радио является таким средством информации, материальные свидетельства бытования которого рядовому слушателю сохранить сложнее. У Мизгулина радио выступает не столько в качестве носителя памяти, сколько одного из составляющих элементов прапамяти. Так, сама идея необходимости постоянного возвращения к отчему порогу, вне зависимости от направления движения (*«Привычный путь до отчего порога...»*, 1987), восстанавливает в сознании лирического героя узнаваемые черты «дома своего», с улицей «привычной и обычной», с шелестящими тополями и «печальными пьяницами» в очереди за пивом, «ветхозаветными старухами». Радио оказывается одной из характерных примет «дома своего»:

И где стучит назойливо и глухо
По радио суровый метроном...¹

«Суровый метроном» — это то, что не может быть частью памяти лирического героя Дмитрия Мизгулина, но это часть «дома своего», часть его жизни, это его прапамять, в которой хранится общенародное о войне и о блокаде.

Телевизор в лирике Дмитрия Мизгулина как еще одна разновидность средств массовой информации наполнен таким содержанием, которое ставит его в оппозицию и газете, и радио.

Другое дело, что такая оппозиционность, отрицательная окрашенность концепта телевизор в лирическом пространстве возникает не сразу. Концепт телевизор проходит свою эволюцию. В ранних стихах поэта (80-е годы прошлого века) в этом содержании присутствует мысль о *равнодушии* к данному явлению цивилизации. К примеру, в стихотворении *«А мертвым, знаешь, все равно...»* (1982), где речь вроде бы идет о мертвых. Однако память о них жива до тех пор, «покуда жив народ», а вот уже все остальное — им «все равно»:

¹ Мизгулин Д. *«Привычный путь до отчего порога...»* // Мизгулин Д.А. *География души: Избранные стихотворения 1979–2004*. — М.: Худож. лит., 2005. С. 60. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (ГД) с указанием страницы.

<...> А мертвым, знаешь, все равно,
Теперь им наплевать
На телевизор и кино,
На книги и печать... [ИС, 40–41]

В таком контексте телевизор, поставленный в один ряд с книгами, кино и печатью, не несет того отрицательного содержания, которое появляется в стихах более позднего периода:

Словно из болотного тумана
Проступает странный силуэт —
Телевизионного экрана
Бледно-голубой, чадающий свет... [ИС, 137]
«Словно из болотного тумана...», 1999

Телевизионный экран является атрибутикой, преимущественно (могут быть вокзалы, аэропорты, кабинеты) замкнутого домашнего пространства, но приходит этот «странный силуэт» из «болотного тумана», пространства, которое ассоциируется с нечистью и смертельной опасностью, а свет его при этом «чадающий». Получается, что экран телевизора в каждый дом вносит и нечистую силу, и смертельную опасность, и чад. И как результат — в своем домашнем пространстве человек видит «электрические сны», оказывается «словно бы в цепях у сатаны», живет «в путах пресловутого прогресса». В этом прогрессе, в развитии техники эпоха продвинулась настолько далеко, что «далее просто некуда идти», а время выступает в стихотворении, как «век духовной нищеты и стресса».

Еще более трагичной выглядит жизнь человека, оказавшегося во власти «смутного экрана», в другом стихотворении 2000-го года, когда телевизор выступает не достижением цивилизации и прогресса, а одной из причин возвращения человека «в первобытный век». В том, что «опять гвоздает человек по башке другого человека», в значительной степени виновен телевизор, который ежедневно разрушает человеческую способность к состраданию:

<...> Состраданию места нет в душе.
В телевизионной круговерти
Сто смертей пересмотрев уже,
Мой сосед закусывает смертью.
Снова наливает, и опять
Он во власти смутного экрана,

Ведь чужое горе принимать

Близко к сердцу, согласитесь, странно <...> [ИС, 146]

«Вновь вернулись в первобытный век...», 2000

«Телевизионная круговерть» приучает человека не видеть в смерти и даже в «ста смертях» трагедии, принимать чужое горе не «близко к сердцу», а как очередную информацию, как очередную новость. Именно эта круговерть заставляет лирического героя задуматься над тем,

Где твой Бог, моя родная Русь,
Где твой Бог, родимая планета?

В конце стихотворения возникает образ гремющей железной дороги, которая уже в XIX веке в русской литературе понималась как символ прогресса, враждебного человеку, а в XX веке частью этого прогресса стал телевизор, который только ускорил движение человека и человечества

От Природы,
От Любви,
От Бога.

В лирическом пространстве Дмитрия Мизгулина концепт телевизор всегда «географически» конкретен: лирический герой неизменно осознает то, как телевизор влияет на жизнь России, на умы и сердца ее граждан. Современные россияне, попавшие под влияние телевизионного экрана, оказываются оторванными от земли, людьми, которые «силу потеряли», потому что, благодаря, в первую очередь, телевизору их сознание становится открытым для «новых колдунов» и волхвов, которые не понятно куда завели. Это сознание опьяняет «заморский дурман»:

<...> Не досмотрели зимних снов,
Очнуться не успели,
Как стаи новых колдунов
Со свистом налетели.

Куда волхвы нас завели,
Теперь пойдем едва ли,
Но, оторвавшись от земли,
Мы силу потеряли.

И захлебнувшийся тоской
Заморского дурмана,
Безмолвно тает род людской
Во мгле телеэкрана. [НД, 20]
«Весна. И снова ледоход...», 2011

«Мгла телеэкрана» делает человека не просто восприимчивым к «заморскому дурману», она лишает его речи, делает безмолвным. Более того, в этой мгле «тает род людской», словно бы мгла телеэкрана поглощает его.

Вполне естественно, что сознание лирического героя в эпоху телевизионной экспансии обращается к тем временам, когда у россиян «мерцали в доме образа, а не экраны». В эти стародавние времена «ругали власти», «ждали доброго царя» и «ждали чуда», зато и «детей рожали чаще». Но самое главное заключается в том, что в то время, когда экраны еще не заменили образа:

<...> Не всякий знал и в те года
К любви дорогу,
Но каждый грешник был тогда
Поближе к Богу.¹
«Так повелось уж на Руси...», 2000

Одним из результатов произошедшей замены стало то, что «опять низвергнута страна в канун кровавый»

<...> Опять надежда, и тщета,
И безземелье.
В домах и душах — нищета,
В башках — похмелье.

И в бездну тысяча чертей
Россию тащат <...> [ОЧ, 11–12]

Так возникает устойчивое наполнение концепта телевизор значением *подмена*. Результаты этой подмены в каждом лирическом тексте выглядят исключительно как трагические, имеющие нравственный, мировоззренческий характер:

¹ Мизгулин Д. «Так повелось уж на Руси...» // Мизгулин Д.А. О чем тревожилась душа. Стихотворения. Очерк. — СПб.: РИК «Культура», 2003. С. 12. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (ОЧ) с указанием страницы.

<...> И вот приходит новый век,
А вместо Библии — экраны...
И верится, что человек
Произошел от обезьяны.¹
«Когда-нибудь настанет час...», 2000

В процитированном отрывке есть великолепный образный ход. Не только тот, кому экраны полностью заменили Библию, но и тот, кто уверен в божественном происхождении человека, глядя на то, что и главное кого показывают каждый день по телевизору, начинает верить: человек произошел от обезьяны. Для человека, убежденного в обратном, это — снова подмена, это мировоззренческий слом, виной которому те, кто каждый день мелькают на телевизионных экранах:

<...> И вот сомнение мое
Сквозь камень знаний прорастает,
И верится, что бытие
Сознание определяет. [УА, 280]

Результатом подмены, в конце концов, станет то, что когда-нибудь «надежды тонкий пласт под ветром страха источится», «крыла беды раскинет ночь», и человек не будет иметь сил помочь даже самому себе. Спасение, однако, есть — оставленные муки «о будущем», лесная дорога и забытый скит с деревянным крестом:

<...> Чуть слышны птичьи голоса,
Листвы таинственной движенье,
И отразили небеса
Сирени белое кипенье...

Забытый скит. Притихший лес,
Где тишина развеет тугу.
Где только деревянный крест
Хранит безмолвную округу. [УА, 281]

Мысль о произошедшей подмене не дает покоя лирическому герою, и поэтому он неоднократно, в разных вариантах своих размышлений к ней возвращается. Если по-прежнему оставаться во власти этой под-

¹ Мизгулин Д. «Когда-нибудь настанет час...» // Мизгулин Л. Утренний ангел: стихотворения. М.: Сибирская Благовонница: Артос-Медиа, 2009. С. 280. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (УА) с указанием страницы.

мены, то в будущем нас не ожидают никакие отрадные перспективы. Более того, будет «все наоборот» нашим желаниям и стремлениям:

И снова март. И снова слякоть.
И снова все наоборот.
И будет тощий диктор вякать,
Что все когда-нибудь пройдет.

И будет смех подобен стону,
И будет властвовать обман,
Покуда мы, как на икону,
Взираем на цветной экран. [ОЧ, 15]

«И снова март. И снова слякоть...», 2001

Воссоздаваемая всего лишь в нескольких выразительных деталях картина возможного будущего («смех подобен стону», «будет властвовать обман») узнаваема. Это будущее, которое уже стало сегодняшним днем, и никакие заверения («вякания») «тощего диктора» не могут убедить в том, что вся эта дисгармония «когда-нибудь пройдет» и станут лучшие времена.

Вполне закономерно, что развитие принципиально важной идеи рефреном, как заклинание, звучит в одном из стихотворений: «Не включай телевизор...» Его включать «не надо», чтобы «хоть мгновенье» побыть в тишине и увидеть тихо плывущие в вышине звезды. Его включать «не стоит», чтобы не видеть «этот вселенский бардак» с учеными дураками, мечтающими «весь мир перестроить». Включение телевизора надо заменить слушанием шума листвы и шепота воды, вдыханием майского воздуха, который «немного получше испарений партийной среды». И, наконец, телевизор вообще не надо трогать (читатель Дмитрия Мизгулина хорошо знает, какую субстанцию не надо трогать, чтобы не наслаждаться ее «ароматом»). Взамен можно, пусть всего лишь «на мгновенье», ощутить «дыханье свободы и Бога», и такое мгновенье, по Дмитрию Мизгулину, этого стоит:

<...> Не включай телевизор, не трогай,
Молча пусть этот ящик стоит.
И дыханье свободы и Бога
На мгновенье тебя посетит. [УА, 233]

Неприятие телевизора как свершившейся подмены в этом стихотворении становится еще более выразительным от осознания того, что последний выступает в качестве оппозиции опустевшему саду и плы-

вущим в вышине звездам, шуму листвы и шепоту воды, майскому воздуху, дыханию свободы и дыханию бога. Богатству окружающего мира он противопоставляет «вселенский бардак», испарения «партийной среды» и перманентную перестройку творения Создателя. Однако сделать то, что рефреном звучит в этом стихотворении, оказывается не так просто уже потому, что телевизор стал неотъемлемой частью жизни человека, одним из пунктов плана его жизни, таким же, как работа, баня, гости, дети:

В жизни всё идет по плану:
Поздно ляжешь, встанешь рано,
На работу и домой.
В баню утром в выходной.
Телевизор. Гости. Дети <...>¹
«В жизни — все идет по плану...», 2003

Телевизор оказывается частью той «суеты и круговерти», в которой пролетает жизнь человека, частью того, что не дает ему времени задуматься о душе. Еще более убедительно выглядит призыв «не включай телевизор» там, где поэт не рассказывает, а лишь напоминает нам о том, что приносит в наши дома телевизионный экран: обилие рекламы и «бразильская слезная драма», триллеры и модные певцы, «дебаты столичных дебилов», «то бред, то словесный понос», а в результате:

<...> Извилины стали, как рельсы,
Вперед полетел паровоз.

Мы снова счастливыми стали,
И жизнь — и светла, и легка;
И манит нас в светлые дали
Призывное пенье гудка. [УА, 237]
«Реклама. Реклама. Реклама...», 2004

Интертекстуальная ирония, возникающая благодаря ассоциациям, почти цитатам из двух популярных песен советского времени («Наш паровоз, вперед лети!» и «Песня о встречном») словно бы предостерегает: телевизор, как был, так и остался частью того идеологического механизма, который просто обязан создавать иллюзию того, что мы

¹ Мизгулин Д. «В жизни — все идет по плану...» // Д.А Мизгулин. Как будто жизнь еще не начиналась: стихотворения 2003–2009 гг. — СПб.: АССПИН. С. 11. Далее сноски на цитаты из этой книги даны в тексте (КБ) с указанием страницы.

счастливо и весело движемся «в светлые дали». Хотя на самом деле отдельный человек от такого воздействия постепенно тупеет, а страна в целом скатывается «в крошечную тьму». Телевизор только способствует этому скатыванию, помогая быстро забыть кумиров прошлого, способствуя смене привычек и отучая противиться нашествию чуждого мира. И происходит это потому, что одно из наиболее устойчивых представлений, связанных с концептом телевизор в лирике Дмитрия Мизгулина, — это *тупость*, одолеть которую способен не каждый. Единственное, что остается надежной опорой в противостоянии отупляющему воздействию телевизионного экрана, — это душа самого человека, в которой сохранилась «искорка веры»:

Смотрю телевизор тупея
И в тысячный раз не пойму:
Как быстро Россия, Рассея,
Скатилась в крошечную тьму.

Мгновенно забыли кумиров,
Привычки сменили спеша,
Но шествию чуждого мира
Противиться стала душа.

Господь не оставит вовеки,
Сквозь мрак бесовской проведет,
Покуда еще в человеке
Хоть искорка веры живет. [УА, 233–34]

«Смотрю телевизор тупея...», 2003

Воздействие телевизора на человека иначе как отупляющим быть не может, потому что сам продукт, предлагаемый телевизором зрителю, характеризует, по Дмитрию Мизгулину, прежде всего тупость. Этого мало. У тупости, растиражированной десятками миллионов экранов, появляется *способность к уравниванию, нивелировке* всех и вся: умных и глупых, совестливых и бесстыжих, сытых и голодных:

На всех — и сытых и голодных —
Одно и то же, хоть ты плачь, —
Убожество журналов модных
И тупость телепередач.
И верит каждый — как иначе? —
И в справедливость, и в прогресс,

И вся держава хором плачет
Над гибелью чужих принцесс.

Все одинаково угрюмы.
И на просторах всей страны
На всех — одни и те же думы,
У всех — одни и те же сны. [УА, 235–236]
«На всех — и сытых и голодных...», 2001

Телевизор, таким образом, не только лишает способности слушать себя и бога, подменяет истинные ценности ложными, отучает сострадать, отупляет, но и нивелирует, отнимает индивидуальность, собственное «я», создавая из личностей толпу зрителей.

Средства массовой информации у Дмитрия Мизгулина оказываются тем, что ограничивает жизненное пространство современного человека, заменяя его виртуальным:

Живем в виртуальном пространстве.
Газета, Компьютер. ТэВэ.
И ветер познаний и странствий
Давно не шумит в голове.

Живем в ограниченном мире,
Неиствуха и мельтеша,
И в тесной и тихой квартире
Твоя обитает душа... [НД, 62]
«Живем в виртуальном пространстве...»

Ограничивая себя виртуальным пространством средств массовой информации, современный человек не просто живет «в ограниченном мире», но и забывает о радости «познаний и странствий», запирает свою душу в рамках «тесной и тихой» квартиры.

Сергей Сергеевич КОЗЛОВ

р. 1966

В прозе Сергея Козлова, обращенной к облику современной эпохи, средствам массовой информации отводится особое место как одному из показателей того, что представляет собой современное общество, каково его будущее. Даже краткие упоминания о них могут существенно дополнять характеристики и персонажей, и самого переживаемого ими времени.

Так в рассказе «Беднейшие люди» (2003) газеты упоминаются всего один раз, в самом финале, когда автор, подводя итоги истории о том, как нищие благодаря бандитской разборке неожиданно стали богатыми, сообщает: «А в газетах напечатали, что убили замечательного человека и бизнесмена — директора «Екатерининского» супермаркета, кандидата в депутаты областной Думы... Бедный он, бедный, — жалели старушки...»¹ «В газетах» не могли не знать, так же, как и прочитавшие рассказ, о том, что никаким замечательным человеком убитый директор супермаркета не был, а был он «лощенный и хитроглазый», грубый, презиравший всех, кто был ниже или слабее его.

Если газеты в этом рассказе выступают как *источник лживой информации*, то телевизор становится своеобразным *символом равнодушия* к судьбе заслуженного человека. Одна из участниц событий, Зоя Ивановна, в прошлом учитель русского языка и литературы, получила при выходе на пенсию телевизор в подарок и обещание «не забывать». Однако, как это водится, забыли, «забыли, потому что через два года вся страна впала в жуткий летаргический сон, сопровождаемый мучительными судорогами, да так и расползлась по искусственным швам, которых раньше никто не замечал. Зоя Ивановна включала подаренный телевизор, смотрела по вечерам новости и плакала». [ВЛ, 358] Телевизором от вчерашней учительницы, с одной стороны, словно бы откупились, а с другой, слезы ее по вечерам были вызваны тем, ка-

¹ Козлов С. Беднейшие люди // Козлов С.С. Время любить: Роман. Повести. Рассказы. — Екатеринбург: «Баско», 2006. С. 367. Далее сноски на цитируемые по этому изданию произведения даны в тексте (ВЛ) с указанием страницы.

кие новости приносил в ее дом этот самый телевизор. Между газетами и телевидением в этом рассказе нет оппозиции, они существуют в мире, равнодушном к чужому горю, чужой не сложившейся судьбе и являются просто одним из проявлений, одним из фактов этого равнодушного мира.

Зато в рассказе «Ангел и Муза» (2003) уже просматривается своеобразная оппозиция между бумажными и электронными средствами массовой информации. Поэт Денис Баталов, рассказывая о своей безрадостной жизни, более всего наполненной суетой о хлебе насущном, когда он вынужден перебиваться случайными заработками да обивать пороги издательств с книгой стихов, замечает, что «меценаты лениво отмахивались, как от назойливого комара, знакомые *газетчики* со-страдательно подбрасывали халтуру, но все было не так, все было не то». [ВЛ, 330]

Газеты через образ «сострадательных газетчиков» выступают здесь в качестве источника, пусть минимального, но средства к существованию, они оказываются на стороне творческого человека, который не знает других источников заработка, кроме собственного творчества.

В другом качестве выступает телевизор. Начавший «философскую пьянку» Баталов, замечает, что к концу каждого дня, проведенного за этим занятием, он «возвращался домой, пусть и не пошатываясь, зато с абсолютно бессмысленным взглядом, которым можно целить только в телевизор». [ВЛ, 337]

Примечательно, что чуть выше, отмечая время, прошедшее после встречи «с прекрасной амазонкой» Ксенией, герой определяет эти две недели как «пустые», «даже без стихов». Одним из показателей этой пустоты выступает телевизор, достойный лишь того, чтобы смотреть в него бессмысленно-пьяным взглядом. «<...> А в телевизоре вяло постреливала третья мировая война, и ли не кончившаяся вторая, или даже первая... А какой-нибудь Познер с плохо скрытой гордыней пытался стоять выше истины, защищая аморфные идеалы демократии, которые почему-то никак не уживались на российской почве. Потом тщедушный человечек по фамилии Галкин пытался найти в России хоть одного умного человека, чтобы сделать его миллионером. Похоже, он не знал, что миллионеру нужен не ум, а наглость, жестокость и разрешение от международного валютного фонда. Но страшнее всех была женщина, похожая на смерть, которая точно пифия, определяла слабое звено в цепочке гадких людишек в еще одном денежном шоу. Баталову казалось, что лучше всего у нее получилось бы читать смерт-

ные приговоры. Веселый вампир Валдис Пельш был по сравнению с ней мальчиком из церковного хора! И как от такого паноптикума не убежать на кухню? Открыть там старый, советский еще, холодильник «Бирюса», чтобы «промыть глаза» рюмкой «Столичной» и очнуться уже утром в рюмочной, когда новая горячая волна в желудке пробудит псевдожизненные энергии, способные двигать вашими ногами до следующего приема топлива. Или все же лекарства?» [ВЛ, 337–338]

Выразительная характеристика того, что можно увидеть «в телевизоре», делает понятным, почему в него можно смотреть только бессмысленным взглядом. Телевизор создает ощущение «вяло» идущей третьей мировой войны или не кончившейся второй, или даже первой. Через телевизионный экран, в представлении героя, навязываются «аморфные идеалы демократии» и идут поиски «хоть одного умного человека», определяется «слабое звено в цепочке гадких людишек в еще одном денежном шоу», и приходят в наши дома «веселые вампиры». Благодаря тому, что одни герои телевизионного экрана названы по именам, а другие угадываются по манере вести передачи, характеристика становится исторически конкретной. Через нее проступает образ самой эпохи, в которой, к примеру, «миллионеру нужен не ум, а наглость, жестокость и разрешение от международного валютного фонда», в которой возгордившиеся деятели телевидения стремятся стоять «выше истины», в которой погоня за очередным денежным выигрышем в телевизионном шоу затмевает в человеке человеческое, как в самих ведущих, так и в участниках.

Видимо, оттого и плакала героиня рассказа «Беднейшие люди», что подаренный ей телевизор показывал те самые новости, в которых шла третья мировая война, выступали познеры, галкины и «похожие на смерть пифии». Герой рассказа «Ангел и Муза» находил спасение от всего этого в пьянке. Аналогичное поведение относительно телевизора демонстрирует герой рассказа «Дежурный ангел» (1997), который повторял «бессмысленные речи» «представителей родного правительства», «сидя у телевизора, смачивая горло «Хванчкарой».¹

А вот герою рассказа «Кладбищенский пес Лёлик» (1999), измеряющему время «кубами сыроватой кладбищенской земли и глины», вечером, после трудового дня «от усталости, кроме телевизора, журна-

¹ Козлов С.С. Дежурный ангел // Дежурный ангел: рассказы. — М.: Сибирская Благовонница, 2008. С. 228. Далее сноски на цитируемые по этому изданию произведения даны в тексте (ДА) с указанием страницы.

ла или книги ничего видеть не хочется».¹ Поэтому он и устраивается каждый вечер «у телевизора» (о журналах и книгах в рассказе более не упоминается), словно бы других дел у человека, занятого тяжелым физическим трудом, больше и нет, а сам телевизор начинает восприниматься как средство для отдыха именно такого человека.

Для героя рассказа «Крест перекрестка» (2004) газеты выступают в качестве источника информации, подтверждающей верность принятого им решения. Отказавшись от участия в гоночных соревнованиях, «через некоторое время Михаил прочитал в газете, что на областных кольцевых гонках произошло несчастье. Несколько машин попали в свалку, трое гонщиков крепко покалечились, двое погибли». [ВЛ, 377]

В рассказе «Охота на измену» (2004) есть совсем незначительное, на первый взгляд, упоминание о том, что героиня, которая работала «по инерции», «могла бы уже и не работать, но не могла, потому как блуждать с журналами и книгами между экранами телевизоров считала недостойным бывшей советской женщины, во всем, а главное в праве на труд, равной с мужчинами». [ВЛ, 378] Заметим, что речь идет не о чтении журналов и просмотривании телевизионных программ, а о блуждании с журналами «между экранами телевизоров», однако и в этой, казалось бы, нейтральности есть своя оценка. Журнал выступает не в качестве источника информации, а в качестве предмета, с которым можно именно «блуждать» в большом собственном доме, в котором к тому же еще и много телевизионных экранов, неизвестно что показывающих. Видимо, потому, что в появляющемся на этих экранах нет для героини никакой ценности.

Телевизор становится одной из причин того, что героиня рассказа «Мама-Маша» (1999) после гибели сына в Чечне «умом тронулась». В пересказе старушки, встретившейся повествователю, последовательность событий была такой: «<...> Она по началу-то пить начала. Ой как сильно-о! Руки на себя хотела наложить, да Господь не позволил! А потом по телевизору фильм-то показали про войну эту проклятую. По-моему, «Чистилище» называется. Так там так и показали, как басурмане голову солдатику отрезают. И она этот фильм смотрела. А как посмотрела — умом тронулась. Да и как сказать тронулась...» [ДА, 244]

Сомнения старушки вызваны тем, что мама-Маша обрела «какое-то сверхчеловеческое знание мира», способность к некоему сверхзна-

¹ Козлов С.С. Кладбищенский пес Лёлик // Козлов С.С. «Ночь перед вечностью»: Роман; Повести; Рассказы. — Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий», 2000. С. 475..

нию, которое позволяет ей знать не только то, что происходит в семье встреченного ею парня, но и в мире. Удивлен этому и повествователь: «Откуда она знает? Ведь, как я понял из рассказа старушки, в доме ее давно уже нет ни телевизора, ни радио, газет она не читает». [ДА, 248]

Средства массовой информации в данном случае выступают как *оппозиция сверхзнанию* мамы-Маши, которой словно бы ведом иной, независимый от них источник информации. Благодаря этому сверхзнанию, она не нуждается в том, чтобы ей кто-то объяснял, за что воювали и воюют сыновья российских матерей в Афганистане, Таджикистане, Чечне.

Конфликтное начало повести «Бекар» (2005) построено на размышлении о том, с какими разными представлениями о ценностях в этом мире могут вступать в него сегодняшние подростки. Эти ценности настолько разные, что не войти в конфликтные отношения они не могут.

С одной стороны, Василий Морозов, который живет в этом мире, твердо усвоив необходимость преодоления в нем трудностей. Не случайно первая встреча читателя с ним происходит в тот момент, когда Василий Морозов, «согнувшись тупым углом, отталкиваясь от земли, словно каждый шаг это предстоящий прыжок, он медленно *преодолевал* мятущееся пространство по направлению к музыкальной школе». [ВЛ, 401] Напряженность преодоления усиливается интертекстом: «Неистовая была пурга. Даже пушкинским бесам стало бы тошно.

«Невидимкою луна»? Белесым размытым пятном в едва угадываемом направлении» [ВЛ, 400].

Главное, разумеется, — это не преодоление промерзшего и заметаемого пургой пространства, а необходимость, по убеждению его учительницы музыки Изольды Матвеевны, ставшему и его собственным, «работать и день и ночь, и в жару и в стужу, и не жалеть себя, потому как грани настоящего таланта оттачиваются кропотливым тяжелым трудом» [ВЛ, 401].

А с другой стороны, те, кто не хочет ничего преодолевать, кто не приучен к тяжелому кропотливому труду: «<...> И в то время, когда все пятнадцатилетние сверстники *прилипли к экранам телевизоров*, погружаясь в очередной сериал о бандитах, или, в лучшем (худшем?) случае, подпирали стены подъездов за ничего не значащими разговорами, он самоотверженно шел на встречу со своей учительницей по специальности Изольдой Матвеевной». [ВЛ, 401]

Телевизор в таком контексте выступает в качестве *оппозиции труду и преодолению трудностей*, он дает своим зрителям кем-то созданную

модель мира, в котором трудности разрешаются волей тех, кто создавал сценарий «очередного сериала о бандитах» или чего-либо еще. Вот и возникает у автора сомнение в том, что лучше: «подпирать стены подъездов за ничего не значащими разговорами» или погружаться в очередной сериал о бандитах. Сомнение более чем выразительное!

Однако средства массовой информации, в том числе и телевидение, в повести Сергея Козлова, выступают и качестве того, что *сопутствует творческому успеху*. После того, как Василий выиграл конкурс в областном центре, учительница напоминает ему: «<...> Но не забудь, вечером у нас запись на телевидении, будешь исполнять что-нибудь свое. И еще с тобой хотели поговорить журналисты. Не возражаешь, если я при этом буду присутствовать?» Другое дело, что самого Василия Морозова это запись на телевидении и предстоящая встреча с журналистами мало волнует, та же учительница, по словам автора, «прочитала его насквозь»: «Ну, беги к Ане, — говорит она, — я же вижу: тебе не хочется пожинать лавры, тебя интересует всего один цветок. Ах, как это романтично!» [ВЛ, 422]

В представлении Изольды Матвеевны, разделяемом автором, одна из возможностей «пожинать лавры» — это записываться на телевидении, встречаться с журналистами, но творческого, да к тому же еще и влюбленного человека волнует другое, и такая возможность, в его представлении, не является чем-то особенно важным и значительным.

Есть в повести «Бекар» упоминание журнала. Когда ошеломленный Василий поражен «девственной первозданной красотой» своей любимой, он пытается найти в близком ему мире подходящие сравнения: «<...> Тело Ани — это и была музыка. Симфония человеческого совершенства. Все античные Венеры мраморно отдыхали, *топ-модели из журналов* были глянцево и безнадежно мертвы! И теперь эта детально выверенная божественная гармония открыта ему! Вмиг (и только сейчас) пришло глубокое осознание поэтического преклонения перед женщиной. Полки, нет, дивизии! Армии склонивших головы поэтов, композиторов, художников...» [ВЛ, 416]

В сравнении с «симфонией человеческого совершенства» журнал выступает в качестве *источника глянцево, но безнадежно мертвой* красоты, такой, перед которой невозможно поэтическое преклонение, перед которой не склоняют головы армии поэтов, композиторов, художников.

В этом же значении журнал возникает и в романе «Вид из окна» (2008). Когда главный герой впервые видит служанку своей хозяйки,

он замечает, что та «была красива, как девушка с обложки гламурного журнала. Высокая, стройная, порывистая...»¹

В этом романе средства массовой информации играют свою, особую роль в структуре художественного текста, в завязке и развитии сюжета, поэтому и характеристику они получают последовательную и обстоятельную.

Само развитие действия в романе начинается благодаря неожиданному объявлению, которое главный герой Павел Словцов прочитал в газете: «Почему это объявление разместили в разделе о вакансиях? Среди требующихся фирмам бесчисленных менеджеров, юристов, бухгалтеров, сварщиков, буровых мастеров и помбуров, такелажников, трактористов, охранников и прочая, и прочая? Оно располагалось в центре газетного листа, словно в обрамлении обыденной суеты, набранное, в отличие от других, жирным шрифтом и вставленное в безвкусную ретроспективную рамочку с вензельками а ля девятнадцатый век. Так и хотелось прочесть: «В салоне мадам N состоится спиритический сеанс. Будут Лев Толстой и Луи Наполеон Бонапарт». Ан нет! Текст был куда забористей!

«Куплю одинокого мужчину для достойного использования. Требования: средних лет, высшее образование, начитанность, любовь к искусству, путешествиям, отсутствие вредных привычек...»

Далее следовал адрес офиса, куда можно было прийти для собеседования с 16 до 18, при себе иметь то-то и то-то...» [ВИ, 7–8]

Мы назвали это объявление «неожиданным», хотя для нашего времени, в котором «все продается и все покупается», нет ничего неожиданного для героя даже в таком объявлении: «Сначала в недоумении мелькала мысль, что крепостное право давно отменено. Потом ошарашивали вопросы: что еще принесет реставрация капитализма и чем еще готовы отличиться новые богатеи, кроме покупки шикарных вилл, президентских самолетов, футбольных команд и создания финансовых пирамид. До сих пор считалось, что торговля живыми и мертвыми людьми у нас не практикуется. Тем не менее, объявление красовалось в центре вполне либеральной и подчеркнуто толерантной газеты...» [ВИ, 8]

Важнее другое. Герой романа поэт Павел Словцов к тому времени, когда ему на глаза попало объявление «о покупке мужчины», оказался в положении «взаимоотторжения» его и общества. Причину этого

¹ Козлов С.С. Вид из окна: Роман. — Сибирская Благозвонница, 2008. С. 70. Далее роман цитируется по этому изданию (ВИ) с указанием страницы в тексте.

извечного конфликта он определяет, как «несоответствие внутреннего и внешнего». Когда оппозиционный характер отношений между его внутренним миром и окружающей действительностью достигает «критической массы», он выбирает свой вариант преодоления взаимоотношения поэта и общества: оставляет все и бросается «в объятия необозримой Евразии». Результатом такого решения стало то, что в скором времени поэт Павел Словцов оказался в сибирском городе Ханты-Мансийске.

Оказался для того, чтобы в местной бесплатной газете встретить объявление о покупке одинокого мужчины «для достойного использования». Писатель дает несколько вариантов отношения к такому объявлению: тут есть мысль и об отмененном крепостном праве, и о реставрации капитализма, при котором все покупается и все продается, и о возможном развлечении престарелой бизнес-леди. Такое объявление в газете можно принять за шутку или свидетельство чьего-то сумасшествия и даже за акт отчаяния. Однако все оказалось и проще, и сложнее. Необходимо было на поезде, а затем с дальнобойщиками проехать едва ли не половину страны, чтобы в сибирском городе встретить еще одно одиночество.

Мысль о возможности воспользоваться объявлением пришла к герою не сразу, «первоначально оно не вызвало у него никаких эмоций, кроме кривой ухмылки». Однако когда Павел Словцов сопоставил стоимость проживания и завтрака в гостинице с теми сбережениями, которые у него были, «именно тогда в памяти поэта стало настырно мерцать вензелечками странное объявление в центре газетной страницы». [ВИ, 16] Завязка сюжета строится буквально по К. Марксу (*ищите в экономике*).

Объявление в газете приводит героя к мысли о необходимости «бросить все», все, чем связывала его предыдущая жизнь. Его не смущает даже то, что «со стороны это может показаться одной из форм сумасшествия». [ВИ, 9–10]

Позже, уже в офисе Веры Сергеевны Зарайской Словцов узнает, что газета с ее объявлением была всего лишь одна: «Все очень просто, пришлось попросить главного редактора, чтобы в тираже была всего одна газета с моим объявлением...

— Думаю, у вас даже учитывая краткость нашего разговора, не сложилось впечатления, что я полная дура, способная выдать в тираж на огромный регион такое объявление. Расчет был прост: одна газета найдет одного человека, или не найдет...» [ВИ, 27–28]

В судьбе героини газете суждено было сыграть роль средства случайного выбора, своеобразной рулетки, и она эту роль сыграла. Словоцов называет поступок Веры Сергеевны фатализмом. Но с другой стороны, как и в самом деле не поверить в роль случайности, фатального совпадения условий и обстоятельств, если необходимый мужчина был найден и даже куплен.

В дальнейшем, задумав написать роман о том, что произошло с ним и Верой Сергеевной, «отбросив мудрствования, Павел сходу написал первую часть, в ней рассказывалось об объявлении в газете. Сюжет, задуманный им, был весьма далек от реальности, герои выдуманы, он просто, как говорят спортсмены, «прыгнул с толчковой ноги» использовал то, что преподнесла сама жизнь. Так и пошел, нанизывая вымысел на реальность...» [ВИ, 137]

Объявление в газете, уже в романе героя, становится тем, что «преподнесла сама жизнь», той реальностью, на которую Павел Словоцов, как автор романа, нанизывает свой вымысел. Иными словами, объявление в газете позволяет Сергею Козлову *приоткрыть завесу тайны* того, что называется творчеством, творческим процессом.

Герой в дальнейшем еще неоднократно будет возвращаться к размышлениям о том, как сложились бы судьбы и его, и Веры Сергеевны, «не сорвись он в одночасье из дома, не окажись в гостинице, не прочитай газету — кому бы попало на глаза ее объявление? Воистину: неисповедимы пути Господни!» [ВИ, 184]

Образ газеты в романе Сергея Козлова может служить средством характеристики героя. Так приятель Веры Сергеевны Хромов, советуя ей обратиться за помощью к режиссеру Эмиру Кустурице, так характеризует последнего: «Да он нормальный мужик! Простой, *как газета «Пионерская правда»!* Никаких тебе закидонов!» [ВИ, 495]

Упоминание телевизора в романе возникает в связи с перечислением Верой Сергеевной тех обязанностей, которые будут возложены на Павла Словоцова, если он согласится быть «купленным»: «... Жить в своей половине дома: спальня, кабинет, собственный санузел. Со мной вы будете завтракать, ужинать, *смотреть телевизор*, если будет время, ездить в командировки, опять же — если потребуется, и, вполне возможно — на отдых. Короче — бывать в так называемом светском обществе». [ВИ, 35–36]

По логике героини, получается, что «смотреть телевизор» — это, с одной стороны, такая же потребность, как завтракать и ужинать, а с другой, этот процесс *приравнивается* к обязанности ездить в команди-

ровки, на отдых, то есть «бывать в так называемом светском обществе». Самое главное, что делать все это в одиночестве героине уже надоело.

После того, как соглашение было достигнуто, Веру Сергеевну по-настоящему волнует один вопрос: как воспримет появление Словцова ее привычное окружение: «Особенно тяжело будет действительно с москвичами. Эти придумали правила тусовки, да и само это дрянное слово. Богатые педики, ласково называющие Веру Сергеевну сестричкой; легализовавшиеся братки, умеющие различать только самок и самцов, сильных и слабых, даже если они выучили несколько слов для общего развития; прорвавшиеся в бизнес чиновники и прорвавшиеся к власти бизнесмены — не разлей вода братья; бывшие комсомольцы, раскинутые веером по партиям и одномандатным округам; вездесущая элита шоу-бизнеса; *не вылезающая из телевизора* элита творческая или считающая себя таковой; латентные бонапарты — олигархи; и тысячи подручных и попутчиков...» [ВИ, 47–48] Такое упоминание и телевизора, и творческой элиты, «не вылезающей» из него представляют сам телевизор исключительно с отрицательной стороны.

Резко отрицательное отношение к телевизору демонстрирует и Павел Словцов. Во время первого вечернего кофе, видя, как Вера Сергеевна берет со столика пульт дистанционного управления, он буквально «взмолился»: «Только не телевизор!» [ВИ, 77]

Рассказывая о том, как ее жизнь оказалась связанной с Лизой, а также о том, какие обязанности на ней лежит в ее доме, Вера Сергеевна замечает, что, «в принципе, Лизе и так не кисло: работа — пару раз в день приготовить, пару раз в неделю прибраться дом, пару раз в неделю съездить по магазинам, а остальное время — *пялиться в телевизор* и болтать по телефону». [ВИ, 78–79]

Смотреть телевизор для героини, занятой ежедневно деловыми заботами, равнозначно абсолютно пустому занятию «болтать по телефону», а глагол «пялиться» никак не добавляет этому занятию положительного начала. Не случайно именно в этой вечерней беседе за чашкой кофе после просьбы Павла не включать телевизор и слов Веры Сергеевны о том, что Лиза «пялится в телевизор», герой произносит и дает свое понимание словам, давшим название роману. Не смотреть, а тем более, не пялиться в телевизор, а уметь видеть свой *вид из окна*: «Да, именно, вид из окна. Я сегодня первым делом посмотрел в окно из твоего дома и увидел высокий забор да угадывающиеся крыши других коттеджей. Во дворе пока только саженцы, станут ли они полноценными деревьями — еще вопрос. Все. На этом пейзаж кончился. Этот мир

еще не нажил сам себя, а наживет ли? И мне стало немного не по себе. Подумалось, что вот, здесь живут богатые люди, которые могут позволить себе все, но получается — мир их крошечный. Он едва касается с тем огромным, который мы называем Божьим творением. Но не это в моей мысли главное. Просто у каждого есть свой вид из окна. В нем концентрируется память детства. В доме, где я жил, с высоты пятого, невысокого по нынешним меркам этажа, виден старый город. Купеческие особняки, деревянные домики с резными наличниками, петляющая к реке дорога, старые в два обхвата тополя и клены, бугрящие корнями асфальт. И во всем этом застыл не просто слепок времени, а висит прямо в воздухе, наполняя его высшим смыслом, настроение сопричастности. Я был частью этого пейзажа. Я специально просыпался в пять утра, чтобы увидеть этот мир еще никем не тронутый, не задетый метлой дворника. В такие моменты ты пронизываешь взглядом не только до боли знакомое пространство, но и, собственно, время. Это и есть машина времени, которая работает не столько от внешних энергий, сколько от человеческой памяти. Поэтому человек изо всех сил стремится вернуться именно к виду из окна. И по этой теории, человек, который с детства видел в окне только кирпичные стены окружающих его жилье домов, в чем-то ущербен. Такой, если и станет поэтом, то будет слагать сухие конструкции, может, и толково рифмованные, но абсолютно лишенные чувственности, того самого поэтического начала, что заставляет при чтении стихов работать душу». [ВИ, 82–84]

О том пространстве, которое открывает человеку телевизор, в романе сказано довольно много. Есть, как мы помним, упоминание о не вылезавшей из телевизора творческой элиты, или считающей себя таковой. От свекра Веры Сергеевны Михаила Ивановича Зарайского, в прошлом работавшего на секретной службе, Словцов узнает, что в свое время таким, как он, «служба не позволяла в объектив лезть. Это теперь нас всех рассекретили, в телевизор пустили». [ВИ, 234] Из телевизора же можно узнать о «маленькой войнушке», на которой был ранен, «руку чуть по плечо там не оставил» [ВИ, 143] приятель охранника Володи Андрей, которого Вера Сергеевна знает по кличке Справедливый. Есть упоминание о том, что Лиза узнает рецепты блюд, которые готовит для Павла и Веры Сергеевны, «по телевизору». Телевизор приносит в дом вечерние новости. «По телевизору» постоянно показывают экстрасенсов.

Зато пространство, которое открывает человеку вид из окна, оно не только «до боли знакомое», — это и «машина времени», и то, что за-

ставляет «работать душу». Пространство телевизора одно для десятков миллионов, но у каждого человека из этих миллионов «есть свой вид из окна».

В таком, оппозиционном, положении по отношению к телевизору оказываются и стихи Ивана Жданова и Николая Заболоцкого, которые цитирует Павел Словцов. На них (в них) нельзя просто смотреть, а тем более «пялиться», они могут быть созвучны, что вовсе не обязательно, тому виду из окна, который есть у каждого человека, или, по крайней мере, должен быть.

Видимо, проблема телевизора в жизни современного человека настолько волнует Павла Словцова, что последний становится предметом его размышлений в романе. И эта особенность не прошла мимо внимания Веры Сергеевны, которая читала уже написанные главы: «<...> Больше всего ее удивила сентенция про телевизор. Звучала она так: если мужчина и женщина не смотрят друг с другом телевизор, значит, они влюблены друг в друга. Объяснялось все просто: значит, есть что-то волнующее их в себе самих больше, чем *мощные чары колдовского ящика*. И тут же в памяти отмотала обратно последние дни. Она действительно не смотрела телевизор ни с Павлом, ни в те дни, когда он был в больнице, хотя до этого обязательно следила за вечерними новостями или могла сунуть в DVD-плеер какую-нибудь голливудскую стряпню, номинированную в этом году на «Оскар». [ВИ, 168–169]

Героиня называет телевизор пренебрежительно «ящиком», но при этом замечает, что он обладает мощными колдовскими чарами. Однако, в видении автора читаемого ею роман, эти «чары» оказываются бессильны перед влюбленными мужчиной и женщиной, значит, между влюбленными есть что-то более значительное и мощное, превосходящее возможности телевизора. Героиня определяет отмеченную ею сентенцию как «тонкое наблюдение поэта», которое заставляет и ее вспомнить о своих наблюдениях: «... Женщину от телевизора, если она не последняя дура, могут оттащить любовь, книга и собственный ребенок. Попробуй попросить у Лизы кофе, если она смотрит в это время любимый сериал. Этот кофе будет заряжен такой отрицательной энергией, что выпивший его в некотором роде хлебнет изрядную порцию яда». [ВИ, 169]

Получается, что только «последняя дура» может променять любовь, книгу или собственного ребенка на телевизор. Ничего этого у Лизы нет, поэтому ради любимого сериала, идущего по телевизору, она способна зарядить кофе отрицательной энергией, равнозначной изряд-

ной порции яда. Вера Сергеевна соглашается с Павлом Слобцовым в понимании телевизора как *оппозиции настоящему человеческому чувству*. Эти два явления несовместимы, они взаимоотрицают друг друга, что не мешает героям иногда вместе сидеть перед телевизором.

В конце написанной части романа Вера Сергеевна прочитала рассуждения автора о том, что одиночество — это движущая сила вселенной. Ее особенно поразил вопрос Павла: «... а не создал ли всех нас Господь, чтобы избежать одиночества? Собственного». Если так, то, по Слобцову, «стали мы плодиться и размножаться, и досаждают Создателю неблагодарностью, потому что не умели ценить ни любви, ни одиночества, считая лекарством от последнего даже Интернет, виртуальный мир. Наверное, компьютер считает Интернет богом, потому что упрямо пишет это слово с большой буквы, в то время как слово Бог он готов писать с любой. Даже компьютер жаждет подключения к сети, чтобы избежать одиночества. Мы настолько созданы по образу и подобию, что готовы поделиться своими антропометрическими характеристиками не только с собаками, но и грудой микросхем и железа. И это тоже признак одиночества. Признак слепоты. *Экраном телевизора* или экраном компьютера мы загораживаемся от Создателя. Но не можем загородиться от одиночества». [ВИ, 170–171]

«Экраном телевизора», по разумению Павла Слобцова, человек безуспешно пытается загородиться от одиночества, а на самом деле загораживается от бога. И самое главное, что вынесла Вера Сергеевна из прочитанной части романа: «Вначале было Слово», начал свою Благовест любимый ученик Христа. «И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Посредством слова человек преодолевает одиночество. Посредством Слова человек преодолевает себя, преодолевает смерть...» [ВИ, 171]

Телевизор, таким образом, выступает и в качестве оппозиции Слову, которое может быть единственным, по настоящему действенным средством преодоления и одиночества, и себя, и смерти. Видимо, поэтому в романе положительное начало телевизора сведено до минимума. В сцене, которую можно назвать попыткой ревности Веры Сергеевны к Лизе, «зависшую в воздухе неловкость заткнули впервые за долгое время телевизором». Однако уже в следующий момент это положительное начало развеяно образом самого телевизора и характеристикой, которую содержанию его программ дает Вера Сергеевна: «Огромная плазменная панель на стене, подчиняясь командам с пульта в руке Веры, как патроны, перезаряжала программы. Павел про-

сто сбился со счета. Антенна на крыше, похоже, отличалась эфирной всеядностью. Вера же проскочив, как минимум, три десятка вернулась к новостям на первом канале.

— Ну, чего они хотят? — возмущенно прокомментировала она предыдущий винегрет. — Насилие, безнравственность и глупость! И бредят при этом гражданским обществом! Больные на всю голову! Вот смотри и в новостях каждый день... — и осеклась». [ВИ, 177]

С одной стороны, плазменная панель подчиняется воле человека, его командам, которые он дает телевизору благодаря пульту. Но с другой, антенна на крыше, через которую телевизор получает сигнал, живет словно бы независимо от воли человека, сама по себе, отличаясь «эфирной всеядностью». Однако в этой «всеядности», судя по реакции Веры Сергеевны, есть свое однообразие: «проскочив» приблизительно три десятка каналов, она нашла в них только «насилие, безнравственность и глупость». Весь этот «винегрет» для нее является свидетельством того, что телевидение делают люди, «больные на всю голову». И сравнение программ, которые через пульт «перезаряжала» героиня, с патронами, то есть с оружием убийства, уже не выглядит таким неожиданным.

В том, что Вера Сергеевна осеклась, была своя причина: «Диктор на фоне аэропорта Домодедово рассказывал об очередном покушении на крупного бизнесмена... Юрия Хромова. Покушение произошло вчера на Каширском шоссе. По машине Хромова произведен всего один выстрел. Бизнесмен был ранен и доставлен в институт Склифосовского, где ему была сделана успешная операция. Водитель сумел вывести машину с линии огня и не пострадал. Ведется следствие, отрабатываются, как водится, сразу несколько версий.

Сюжет сменился. Вера сидела, в буквальном смысле открыв рот. Она смотрела на экран, Павел на нее. Через минуту их взгляды встретились». [ВИ, 178]

Этот эпизод является в романе единственным, в котором телевидение представлено в качестве *источника информации*, принципиально важной для героев, служащей причиной очередного поворота в развитии сюжета. В остальных случаях телевизионный экран как одно из средств массовой информации является источником другого, не всегда важного и не очень обязательного для культурного или просто интеллигентного человека.

Телевизор в повествовательном пространстве романа выступает в качестве явления, которое никак не способствует гармоничному

восприятию окружающей действительности. Так, размышляя о своих отношениях с женщинами, Павел Слобцов замечает, что довольно длительный период жизни ему «видалось почему-то все отрицательное, негативное, *телевизор тому был ярым помощником*. И вырваться из этого порочного круга не было, казалось, никакой видимой возможности». [ВИ, 184]

Телевизор, как помощник в том, чтобы герою в окружающем мире видалось «все отрицательное, негативное», в романе Козлова может мешать даже творческому процессу: «Когда Павел садился писать, неожиданный восторг творчества мог резко смениться необъяснимым раздражением на все. Даже на вращение Земли. Но сейчас он хотел остановить время не столько из-за пробуксовки сюжетных линий романа, сколько из-за неопределенности в отношении самого себя. Он спускался вниз, садился перед плазменным экраном телевизора и смотрел, как наступает Апокалипсис. Земля и без Слобцова вращалась как-то не так. В Европе уже в конце марта стояла аномальная жара, то тут, то там происходили наводнения, по всему свету просыпались вулканы, на побережья обрушивались цунами, по Америке очередью шли торнадо. И все сюжеты о природных катаклизмах тут же сменялись бреднями об экономическом развитии, удвоении ВВП, расширении ВТО, саммитах большой восьмерки, расширении ЕЭС и НАТО на восток... Словом, прогресс не замечал своих убийственных шагов по планете». [ВИ, 305]

Текст, в котором повествуется о восприятии героем телевизионных передач, создает впечатление, что телевидение занято почти исключительно показом того, «как наступает Апокалипсис». Свидетельством его наступления для героя являются не только «все сюжеты о природных катаклизмах», но и «бредни» об экономическом развитии, удвоении ВВП, саммитах и всевозможных расширениях...

Самым главным показателем наступления Конца Света для героя является то, что «телевизор заменил нам все», а поэзия, как главный выразитель красоты и богатства Слова никому не нужна.

В одном из эпизодов, на квартире у своего приятеля, «веселого геолога» Егорыча, Павел Слобцов смотрит новости на местном телеканале и не находит особых различий между ним и тем, о чем вещают центральные каналы: «Телевизор, как водится, устами комментаторов напористо говорил о недостатках, но еще более напористо обещал всевозможные блага и усовершенствования. Поэтому «напористо» легко интерпретировалось в «нахраписто». Вечное русское «догоним и пере-

гоним» создавало иллюзию всеобщей заинтересованности в каком-то движении. Другое дело, что на фоне зимы длиной в полгода никуда гнать не хочется. На печку и спать, и всякий, кто думает иначе, просто не русский человек. Поэтому очередной сюжет о сотрудничестве с «British petroleum» больше подходил к рубрике «как они нас имеют». Тележурналист вдохновенно рассказывал о поставке оборудования британскими специалистами...» [ВИ, 408]

Эпизод с просмотром героем местных новостей дает возможность автору высказать ряд весьма существенных замечаний. О том, как телевизионные комментаторы научились «напористо» и даже «нахраписто» говорить о недостатках, обещая при этом всевозможные блага и усовершенствования. А также о том, как телевидение умеет создавать «иллюзию всеобщей заинтересованности» в очередном движении, появившимся на политическом небосклоне России. Есть здесь и наблюдение над тем, как реагирует на эти «иллюзии» нормальный русский человек. Мнение Словцова о том, что и как подает своему зрителю телевидение, — это еще и пример реакции грамотного, знающего человека на всевозможные сюжеты о «взаимовыгодном» сотрудничестве («как они нас имеют») с западными партнерами.

Однако благодаря очередному сюжету о сотрудничестве в местных телевизионных новостях Павел Словцов «уловил взглядом в общей толпе на экране лицо, которое явно не хотело попасть в объектив камеры. Мистер озабоченно скрывался за другими говорящими головами. Весьма успешно. В общем плане можно было различить только отдельные черты. Но Словцов легко узнал копию Зарайского.

— Я вас вижу, мистер Как-вас-там! — с ехидной улыбкой заявил он экрану». [ВИ, 408—409]

Это узнавание по телевизору дает очередной поворот в развитии сюжета романа.

Журнал в романе, кроме упоминавшегося сравнения Павлом Словцовым Лизы с девушкой с обложки гламурного журнала, возникает в связи идеей двойника Георгия Зарайского: «Все началось восемь лет назад с фотографии в деловом журнале. Листая его, Георгий замер от удивления, узрев самого себя и прекрасно понимая, что это не он. Ему не доводилось бывать на шоу двойников, но ранее он слышал, что абсолютно похожие люди, не имеющие родственных связей (во всяком случае, в этой жизни) не такая уж редкость». [ВИ, 279]

Случайно увиденная в деловом журнале фотография человека, похожего на Зарайского, привела последнего к мысли об афере с соб-

ственной якобы гибелью. Однако эпизод с деловым журналом и идеей двойника в романе «Вид из окна» является исключением. Обращение в нем к журналу как средству массовой информации создает впечатление, что героев окружают почти исключительно только гламурные, глянцевого журналы, отношение к которым или стойко отрицательное, или безразличное. Вера Сергеевна, излагая мотивы собственного поведения своей секретарше, замечает: «<...> я богатой стала благодаря двум свидетельствам: свидетельству о браке и свидетельству о смерти. Какой-нибудь дурочке, ахающей над *гламурными журналами*, моя судьба покажется счастливым лотерейным билетом. А мне... Мне кажется, я потеряла все в обмен на бизнес...» [ВИ, 299–300]

В представлении героини, ахающие над гламурными журналами — это дурочки, которые пытаются понимать и строить жизнь по этим журналам.

Дочь Павла Слобцова в телефонном разговоре замечает, что ей не хватает его «недовольства современным миром, твоей ругани телеканала «Культура» и моих журналов». [ВИ, 500] Чем не угодил главному герою романа телеканал «Культура», так и остается загадкой, а журналы имелись в виду, по всей вероятности, те самые, гламурные.

Не только гламурные журналы могут в романе Сергея Козлова служить средством характеристики отдельного человека или определенного типа людей. Так происходит в эпизоде встречи Павлом Слобцовым в «долине нищих» с незнакомцем, которого герой сразу определил как «борца за справедливость»: «Во всем его виде сразу угадывался советский интеллигент, который еще двадцать лет назад на кухонке своей хрущевки приближал долгожданное время демократии и цитировал коллегам статьи из журнала «Огонек». А теперь, выжатый этой самой демократией на обочину жизни, пользовался единственной своей привилегией — возможностью выражать свое мнение по любому поводу». [ВИ, 423–424]

В романе есть упоминание и о негламурных журналах. Сначала Павел Слобцов находит их в квартире того же Егорыча: «<...> На нижних полках пачками лежали подшивки толстых литературных журналов, отчего у Павла случился новый приступ ностальгии. Он наугад вытащил пожелтевший номер «Нашего Современника» за 1991 год». [ВИ, 349]

Найденный в чужой квартире старый журнал становится не только причиной нового приступа ностальгии у героя, но открытия им собственной исторической закономерности: «Печальный год предательства и распада Советской Империи. Неожиданно пришло околонууч-

ное озарение: для России годы, отмеченные двумя единицами, бывают опасны. 1812, 1917, 1941, 1991..., 1801 — смерть Павла Первого... или 1132 — начало феодальной раздробленности и расцвета княжеских усобиц...1581 — начало крепостного права... 1591 — убийство царевича Дмитрия в Угличе...1881 — убийство Александра Второго...1921 тоже, почти полный разгром белых армий... Да нет, не выстраивается чёткая схема: Батый пришел в 1237, а 1721 — победа в Северной войне, в 1961 — полет Гагарина... 1861 — отмена крепостного права... Не в единицах дело. Да и все ли так плохо? Ведь не зря попустил Господь развал Советской империи. Кем бы сейчас были в ней пока еще гости из среднеазиатских и кавказских республик? Хозяевами? Так что Ельцина следует проклинать с оговорками». [ВИ, 349—350]

Можно, конечно, поспорить с героем романа о том, насколько логична и научна выведенная им закономерность исторического развития России, но нас интересует другое, более важное. Старый журнал заставляет Павла Словцова не просто вспомнить «печальный год предательства и распада», но и попытаться разобраться в том, почему это произошло, каков результат распада «Советской Империи».

Затем сам Егорыч вспоминает о журналах, видя в том, что их перестали читать, один из признаков Конца Света: «Успокойся, Павел. Все не так просто. Стихи? А почему вообще перестали читать, если еще десять лет назад охотились за книгами? Почему полки книжных магазинов заполнило чтиво, а не литература, которой так жаждал народ? Демократия? Законы рынка? Дерьмо! Пятнадцать лет назад тираж журнала «Наука и жизнь» превышал три миллиона! В нагрузку к нему по подписке навешивали журнал «Коммунист» или «Правду»! А сейчас он едва держится на уровне тридцати тысяч. Я полагаю, это тоже один из признаков Конца Света...». [ВИ, 354]

В конце романа снова возникает газета, но на этот раз «черногорская желтая», которая сообщила «о смерти двух российских туристов в результате разборок криминальных структур. И о том, что из-за этого были сорваны съемки исторического бестселлера о народно-освободительной армии Югославии. Полиция ведет расследование. Эту же газету будет чуть позже читать Джордж Истмен. Проскочит еще какая-то информация во всемирной паутине. Телевидение данное событие вниманием не удостоит, или Истмен просто не углядит ее в пестрых и быстрых блоках подобных новостей». [ВИ, 560]

Газета остается едва ли не самым надежным источником информации, и играет она в жизни героев положительную роль. Благодаря ей ин-

формация, нужная героям, попадет даже в Интернет. А вот телевидение останется, по всей вероятности, равнодушным к произошедшему событию, в его новостных выпусках слишком много «подобных новостей».

Разумеется, не вызывают симпатий, как у героев, так и у автора романа, те, кто создают облик современных средств массовой информации. В одном случае говорится о том, что в связи с очередным развалом правоохранительной системы журналисты будут «вопить», в другом вспоминается «глупый журналист», который задавал вопрос Эмиру Кустурице.

Зато в повести «Движда (Магдалина)» (2009) у Сергея Козлова возникает развернутый, обстоятельный образ современного журналиста. Полнокровность этого образа создается благодаря тому, что в центр повествования поставлены два очень разных человека, посвятивших себя журналистике: «Обрисовать их можно так: более умудренный опытом борьбой за либеральные ценности и права человека Виталий Степанович Бабель, очень гордившийся своей революционной фамилией, был седым и клочковато-непричесанным человеком, неровная челка опускалась на огромные двояковыпуклые очки, в которых сияли водянистые выпуклые глаза, пронзающие мир пренебрежением всезнания и житейской мудрости. Пожалуй, глаза Виталия Степановича были главной характерной чертой его лица, потому тонкие губы, заостренные уши и немного вздернутый, нехарактерный для такого типа лица нос описывать не стоит. Виталий Степанович был человеком невысоким и тщедушным, но весьма агрессивным даже в речи. Напротив, большой и высокий, молодой и опрятный Костя Платонов по натуре был добродушным и отзывчивым человеком. И вовсе не гордился своей писательской фамилией. Бабель подкатывался к шестидесяти, а Платонову недавно перевалило за тридцать. Он был счастлив своей молодостью, и отмахивался от Бабея, которому хотя бы три раза в сутки надо было сокрушать сталинизм или еще какую-нибудь тоталитарность».¹

Конфликт между ними, по первому впечатлению, создает ощущение некоей искусственности, если не надуманности, хотя уже первая фраза сообщает, что спор, положивший начало развитию действия, «сначала вывернул наизнанку жизнь, а потом и душу...» [ХЗ, 162] Этому первоначальному впечатлению не мешает даже то, что в повести

¹ Козлов С.С. Движда (Магдалина) // Козлов С.С. Хождение за три ночи: повести. — Сибирская Благозвонница, 2010. С. 162–163. Далее повесть цитируется по этому изданию (ХЗ) с указанием страницы в тексте.

последовательно развивается традиционный, если уже не вечный для русской литературы, конфликт *отцов и детей*.

Первую составляющую его представляет Виталий Степанович Бабель, возраст которого «подкатывался к шестидесяти», «более умудренный опытом борьбы за либеральные ценности и права человека». Его неизменным оппонентом выступает Константин Игоревич Платонов, которому недавно «перевалило за тридцать».

Перед нами два журналиста, в образах и отношениях которых воплощается конфликт мировоззрений. С самого начала это более идеологическое, нежели возрастное противостояние отмечено неким противоречием. Старшему по возрасту, а потому, казалось бы, приверженцу ушедшей идеологии, «хотя бы три раза в сутки надо было сокрушать сталинизм или еще какую-нибудь тоталитарность». А молодой Платонов наоборот считает, что «надоело уже народу развеивать прах Сталина». Спор этот оказывается настолько давним и принципиальным, что даже в один из самых драматичных моментов Платонов может вспомнить о том, как Бабель, «начитавшись псевдоисторика Суворова-Резуна (а, по сути, предателя), доказывал, что Сталин первый должен быть напасть на Гитлера, а тот его упредил. Константин ответил тогда с явным раздражением: да надо было шибануть, а не катиться до Москвы, чтоб вылезать потом из берлоги». [ХЗ, 198]

Бабель гордится «выстраданной демократией», а Платонов считает, что никакой демократии вообще нет, «и нет никакой свободы слова». [ХЗ, 164] Младший по возрасту, что уже более логично, призывает своего старшего коллегу жить проще, хотя, как выясняется в ходе повествования, как раз-таки он предпочитает более сложную жизнь, не просто предпочитает, а постоянно стремится к ее усложнению.

С этим, кстати, связан еще один конфликт повести, хорошо известный тем, кто создавал, пытался создавать семью в эпоху рыночной экономики, в эпоху преуспевающих, прагматичных, умеющих делать карьеру. Он не стал главным, зато через его развитие и разрешение Константин Игоревич Платонов обрел статус человека опытного, знающего, что такое разные семейные интересы, не желающего быть в семье вторым. В описываемый момент, имея опыт трехлетней супружеской жизни, герой не знает, какова его женщина в этом мире, кого бы он мог в нем назвать своей второй половиной: «...выйдя победителем, смог уже иначе взглянуть на женский пол». [ХЗ, 177]

Неудачный семейный опыт является еще одной из причин, по которой Платонов исповедует не усложнение, не усугубление восприя-

тия жизни, а наслаждение самим ее процессом. Однако, сам того не замечая, постоянно усложняет собственную жизнь.

Можно было спокойно пройти мимо нищего, единственная надежда которого — опохмелиться, однако «Платонов великодушно достал из кармана плаща несколько помятых червонцев и щедро одарил ими просителя». [ХЗ, 165] Герой сразу получает оценку своего оппонента, который считает, что таким образом Платонов поощряет «процветание маргиналов» и не дает им вспомнить, «что такое труд». [ХЗ, 165, 166]

Разногласия двух журналистов по поводу того, подавать или не подавать нищим, позволяет Виталию Степановичу высказать довольно расхожую мысль о том, что журналист должен много знать: «<...> Сегодня каждый инвалид, — говорит он, — может найти себе достойное применение. Смотрите, даже к этому кафе есть пандус. И, кстати, вы журналист, а не знаете, куда делся этот ваш афганец.

— Ну и куда?

— Умер, умер от цирроза печени...» [ХЗ, 166]

С обязанностью журналиста много знать молодой коллега Бабеля не спорит, но писатель в его профессиональной деятельности отмечает одну особенность, которая представляется ему принципиально важной: «За тридцать лет своей жизни Константин Платонов успел окончить филфак (а не журфак, за что прожженные профессионалы его слегка презирали, хотя писал он не хуже, а порой — интереснее и живее, потому как в журналистику привносил литературу)...» [ХЗ, 174–175]

Литература привносит в журналистскую деятельность большее творческое начало, заставляет искать оригинального и даже художественного слова, позволяет понимать свою работу как создание второй реальности. Оценка этой особенности может быть разной, но в данном случае она свидетельствует об оригинальности мышления журналиста, работающего «в продвинутой и весьма популярной газете». [ХЗ, 175]

Спор о том, кто такие современные нищие, как это обычно происходит у людей интеллигентного склада ума, быстро переходит в полемику по поводу того, о чем и как сегодня пишут в литературе, что такое демократия и есть ли у нее недостатки, кто такие современные политики... Но тема нищих заявлена, и она получит свое развитие, когда уже в редакции у Платонова возникла идея «материализовать» собственную мысль, возникшую в связи с тем, что он дал деньги нищему и как к этому отнесся его коллега-оппонент Бабель. Он захотел

понять, что такое современные нищие – бомжи, а для того, «чтобы понять, надо узнать изнутри». [ХЗ, 172] Так возникает идея: в начале ХХI века погрузиться на дно социальной жизни, только не в качестве горьковских созерцателей жизни сатиных и актеров, клещей и баронов, а в роли одного из них, чтобы провести «серьезное расследование». Ассоциация с Горьким в данном случае не имеет произвольного характера: о «реальном пребывании на дне» говорит Бабель, а сам Платонов, когда решение уже практически принято, восклицает: «Безумству храбрых поем мы песню». Именно в этот момент к герою «снова вернулось настроение легко проживаемой жизни» [ХЗ, 173], что, как показало будущее, было весьма обманчиво. Хотя важнее другое. Писателю удастся всего лишь одной, на первый взгляд, незначительной деталью рассказать о поведении творческого человека, захваченного интересной и увлекательной идеей, которую необходимо материализовать: «Внутреннее созерцание сменилось наружной улыбкой и показной бесшабашностью. Он, что называется, вошел во вкус новой идеи и даже начал в предвкушении потирать руки». [ХЗ, 173]

Позже он будет проклинать себя «со своей идиотской идеей». [ХЗ, 207]

Однако в самом начале идея не представлялась герою «идиотской», напротив, в результате ее осуществления должен был появиться «эксклюзивный материал о маргиналах», для чего и надо было узнать их мир изнутри, став на недельку бомжом.

И если для одной из коллег двух журналистов в этом было что-то страшное, то Бабель был другого мнения: «Настоящее журналистское расследование, – считает он, – невозможно без полного погружения. Константин Игоревич хочет поиграть в крутого профессионала...» [ХЗ, 172] Для осуществления этой идеи необходимо было сдать на хранение все документы, ключи от квартиры, мобильный телефон, взять с собой минимум наличных средств, одеться во все старое, в обноски и отправиться в другой город, чтобы попытаться выжить неделю-две.

Первая же встреча с двумя, как они поняли, бомжами в районном центре, «где жизнь остановилась с самого основания», [ХЗ, 184] закончилась для героев в больнице, а для Бабея вообще в реанимации, на грани жизни и смерти. Случилось это, видимо, потому, что того знания жизни, которое было у двух журналистов, оказалось явно недостаточно, чтобы жить жизнью современного бомжа. Их представления об этой жизни и ее персонажах были явно поверхностными. постижение жизни в ее глубинных основах и совсем непростых процессах

начинается для журналиста Константина Платонова со знакомства не с людьми современного дна, а самым обычным человеком. Вернувшись фактически с того света, он узнает, что вывела его из критического состояния медсестра по имени Маша. В восприятии ее внешности в герое снова виден творческий человек, способный, «даже не взирая на помутненное болью и тошнотой сознание, ...воспринимать женскую красоту. Если не как мужчина, то хотя бы как какой-никакой художник». [ХЗ, 202]

Благодаря Маше герой узнает о том, что не надо искушать Бога, не надо никогда проклинать никого, «и себя тоже», узнает, что «Бог попускает нам болезни, дабы мы задумались о бренности нашей жизни». [ХЗ, 210] Но главное в другом — Маша, которую, в районной больнице зовут Магдалиной, обладает чудодейственными способностями. Эти способности сделали Платонова движдой, то есть дважды рожденным. Услышав о том, что его возвращение в мир живых — это заслуга Маши-Магдалины, герой воспринимает это иронично. Чуть позже от соседа по палате он узнает: «Многим она помогла. Уж не знаю, чем и как, но через эту палату многие прошли. Так вот, за кем Маша ухаживала, чуть ли не с того света возвращались. Даже врачи, когда у них какое-нибудь безвыходное положение, Машу зовут. Говорят, она в операционной держит голову больного в руках...». [ХЗ, 216]

Именно Маше герой рассказывает о том, почему он попал в такую ситуацию. Героиня, заметив взгляд Платонова, спрашивает, смотрит ли он на нее «с восхищением»: «С изучением, — ответил Константин и тут же поправился: — пытаюсь постичь...

— Что?

— Н-ну... — не ожидал уточнения Платонов. — Внутренний мир, сочетание его с красотой, да просто понять человека. Профессия у меня такая. Я же *журналига*, мне везде свой нос сунуть надо.

— Уже, вроде, сунул, — Маша закончила манипуляции с венами Платонова и собралась уходить.

— А ты откуда знаешь?

— Окна моей комнаты выходят на дом, где все произошло...» [ХЗ, 222–223]

Одним из признаков профессии журналиста для героя является стремление «везде свой нос сунуть». Другое дело, что это стремление совсем не нравится окружающим, о чем вспоминает и сам Платонов, представляясь пришедшему к нему для допроса в качестве пострадавшего милиционеру Никитину: «Платонов Константин Игоревич.

Журналист. Да знаю я, что вы нас любите чуть больше, чем мы вас, но вот среди вас есть же честные опера?

— Есть, — вскинул бровь капитан Никитин, стараясь понять, чего сейчас добивается Платонов, кто у кого «интервью» берет.

— И у нас приличные люди бывают. Все правды хотят...» [ХЗ, 242]

Константин Платонов осведомлен о той нелюбви, которая есть у сотрудников милиции, и не только у них, к журналистам. Он хорошо знает о том, как много среди них тех, кого нельзя назвать честными, что, однако, не отменяет существования честных журналистов, так же, как и среди оперативных работников милиции. Получается, что журналисты и милиционеры оказались в современном обществе в равном положении: не любят и тех, и других, но при этом знают, что и среди одних, и среди других есть честные люди. И делают они очень похожую работу. Только одни вынуждены везде «совать свой нос» по долгу службы, а другие — по признанию, по собственной инициативе. И говорят они при этом на разных языках: «Платонов рассказал их с Бабелем историю витиевато, с лирическим отступлением о проблеме бомжевания и человеческого достоинства, с сочувствием наблюдая, как выступают на лбу у капитана Никитина мелкие капельки пота — результат усердия перевода на ментовский язык и параллельного от таких запредельных усилий абстинентного синдрома. Озвученный Никитиным обратный перевод состоял из нескольких косноязычных предложений, под которыми Платонов вывел: «с моих слов записано верно, мною прочитано и даже понято»...» [ХЗ, 242]

После того, как протокол допроса был подписан, Платонов узнает о том, как Маша помогла и сыну самого милиционера и пытается узнать у последнего, что же произошло с ней самой: «Врагу не пожелаешь, — коротко ответил Никитин и поднялся, чтобы уйти. Добавил уже с порога: — Ты это, с газетным интересом к ней не лезь.

— Я — с человеческим, — ответил Платонов.

Капитан Никитин еще помялся в дверях, вероятно осмысливая, что можно понимать под «человеческим интересом», нерешительно пожевал губы, и не найдя ничего криминального, махнул на прощанье:

— Бывай, зайду еще». [ХЗ, 242]

Ни герой, ни автор не дают пояснения тому, чем отличается «газетный» интерес от «человеческого», но в данном контексте они выступают как оппозиция.

Сущность Машиного конфликта с миром и путь его разрешения не сразу становятся ясны Платонову. Ее способность помогать людям,

находящимся на грани жизни и смерти, он поначалу называет «нетрадиционными методами лечения». Маша понимает свои способности по-другому, считая, что все зависит от самого человека, и начало этому самое простое — надо обратиться с молитвой к богу. Однако все не так просто, сознание героя не готово сразу принять идею высшего разума, для него молитва — это «никчемная символика». Осознание высшего смысла бытия как обращенного к богу приходит к герою не сразу, а когда оно все-таки произошло, оказалось, что в неприятии выходящего за пределы материалистической логики, Платонов был не так и далек от своего постоянного оппонента Бабеля. Спор с «неуемным материалистом» Виталием Степановичем, как заочный, так и очный, в повести продолжается, и в основе его оказывается уже не просто разный подход к явлениям окружающей действительности, к своей профессиональной деятельности, а разное понимание мира, его сути. Вернувшись «с того света» Бабелю Платонов говорит, что Маша его «вымолила», на что получает ответ: «Костя, я был там, там нет ни хрена, кроме темноты. Полное небытие. Понял?

— А с чего ты взял, Степаныч, что тебе должны были что-нибудь ТАМ, — выстрелил это слово Константин, — показать? Или ты думаешь, что, как заслуженный журналист и заслуженный работник рас-сейской культуры имеешь право на информацию там? Может, тебе, кроме темной материи, ничего и не положено». [ХЗ, 258–259]

Профессиональные умения и заслуги, важные в реальности, теряют свое значение в том, что принято называть сверхреальностью, которая открыта Маше, которая открылась Платонову. Поэтому пребывание в сверхреальности, общение с божественным, по мнению героя, даны не каждому, и профессиональные умения журналиста здесь не помогут. Не случайно через некоторое время Платонов видит сон, который «выскочил, как тать из-за угла. Как двадцать пятый кадр, который неожиданно остановился и стал явен. Он выскочил из памяти, как чертик из табакерки, не выключив при этом дневное сознание. Сон пришел из школьного детства, но взрослый Платонов оставался в нем как сторонний зритель, способный ощущать себя десятиклассником Костей и одновременно *журналистом* Платоновым, зрящим за всем, что происходит не только глазами мальчика, но и взрослого человека — откуда-то сверху — из понимания сна. В тоже время — спящий нынешний Константин Игоревич мог смотреть внутрь — в закоулки души обоих Платоновых. И от тех внутренних колебаний, которые он улавливал, содрогалось что-то

не только в нем, но, собственно, во всем мироздании, во внутренней его сути». [ХЗ, 278—279]

«Двойное зрение», в котором сочетаются видение стороннего зрителя, ощущающего себя десятиклассником, и журналиста, зрящего «за всем, что происходит не только глазами мальчика, но и взрослого человека», дает герою способность почувствовать глубинные колебания этого мира, всего мироздания, осознать его внутреннюю суть. Поэтому вполне логичным и закономерным выглядит вопрос Константина Платонова, узнавшего со слов главного редактора о том, что редакцию родной газеты «одолели политики, грядет предвыборная кампания, у журналистов будет уйма работы»: «А к чему все это?» [ХЗ, 303]

Без осознания высшего смысла бытия любая деятельность, даже самая любимая, в которой ты что-то понимаешь, в которой ты специалист, видится герою делом бессмысленным.

К таким выводам относительно средств массовой информации приходят герой и автор повести «Движда».

Несколько слов в качестве заключения

Концепт средства массовой информации в структуре художественного текста, как мы попытались проследить на примере произведений как русской, так и зарубежной литературы, может наполняться самым разным содержанием. Разумеется, что даже значительный объем двух частей учебного пособия не может дать всей полноты картины бытования и функций средств массовой информации в структуре художественного текста. В учебном пособии представлены имена художников, чье творчество, по мнению авторов пособия, являются наиболее показательным в данном отношении.

Сущность анализируемого концепта проявляется в различных аспектах, на разных содержательных уровнях и раскрывается через позицию автора или его персонажей. Эта позиция в обязательном порядке проявляется в художественном тексте, развитие действия которого очень часто зависит от присутствия в нем средств массовой информации. Даже эпизодическое упоминание их, не говоря уже о развернутых характеристиках, средств массовой информации в художественном тексте может менять поведение героев, служить средством их характеристики, служить причиной новых поворотов в развитии сюжета.

Внимательное знакомство с содержанием учебного пособия создает впечатление, что доминирующее как в зарубежной, так и в русской литературе понимание средств массовой информации и отношение к ним носят отрицательный характер. И это справедливо. В мировой литературе сложилась такая традиция, когда средства массовой информации и работа в них понимаются как оппозиция творчеству, как явление, убивающее талант, разрушающее поэтическое видение мира. И это при том, что многие авторы, как известно, начинали свою деятельность в качестве репортеров, журналистов, редакторов.

Необходимо иметь в виду еще один принципиально важный аспект. Любой художественный текст — это вторая реальность, созданная в соответствии с той картиной мира, которая характерна для конкретно индивидуального художника. Значит, представляемый худо-

жественным текстом концепт средства массовой информации несет в себе часть этой второй, сотворенной, являющейся продуктом сознания художника слова реальности. Это — его видение и его понимание сущности и функций того, что представляют собой средства массовой информации в жизни общества, человека, в творчестве и судьбе самого автора художественного текста.

Содержание

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД	3
<i>Антиох Дмитриевич КАНТЕМИР</i>	3
<i>Александр Петрович СУМАРОКОВ</i>	6
<i>Ипполит Федорович БОГДАНОВИЧ</i>	7
<i>Гаврила Романович ДЕРЖАВИН</i>	8
<i>Александр Николаевич РАДИЩЕВ</i>	9
<i>Николай Михайлович КАРАМЗИН</i>	10
<i>Иван Андреевич КРЫЛОВ</i>	14
<i>Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ</i>	15
Александр Сергеевич ПУШКИН.....	17
Николай Васильевич ГОГОЛЬ.....	31
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XIX–XX ВЕКОВ	43
<i>Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ</i>	43
<i>Алексей Константинович ТОЛСТОЙ</i>	45
<i>Яков Петрович ПОЛОНСКИЙ</i>	45
<i>Аполлон Николаевич МАЙКОВ</i>	47
<i>Алексей Михайлович ЖЕМЧУЖНИКОВ</i>	50
<i>Алексей Николаевич ПЛЕЩЕЕВ</i>	51
<i>Константин Константинович СЛУЧЕВСКИЙ</i>	52
<i>Максимилиан Александрович ВОЛОШИН</i>	55
<i>Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА</i>	59
Николай Алексеевич НЕКРАСОВ.....	65
Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ.....	88
Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ.....	119
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ.....	132
Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.....	147
Аркадий Тимофеевич АВЕРЧЕНКО.....	174
Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг).....	201
Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ.....	218
Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ.....	240
Михаил Александрович ШОЛОХОВ.....	263
Владимир Николаевич ВОЙНОВИЧ.....	293
Сергей Донатович ДОВЛАТОВ.....	327
Дмитрий Александрович МИЗГУЛИН.....	349
Сергей Сергеевич КОЗЛОВ.....	361

Семёнов
Александр Николаевич
Семёнова
Валентина Владимировна

Концепт средства массовой информации в структуре художественного текста

Часть II (Русская литература) Учебное пособие

Редактор *Романов А. В.*
Технический редактор *Рыбакова В. А.*
Компьютерная верстка

Литературный фонд «Дорога жизни»
Свидетельство Минюста РФ от 26.01.2009 г.
и Свидетельство ФНС серии 78 № 007099221 от 19.01.2009 г.

Издательская программа АПИ
(Союз писателей России)
ИД — №02293 от 11.07.2000 г.
Подписано к печати 22.08.2011.
Бумага офсетная «Светокопии». Печать офсетная.
Гарнитура «NewtonС». Формат 60х84/16
Печ. л. 28,5. Тираж 1000. Заказ № 347

Отпечатано в типографии «АНТТ-Принт»
ЛР №040815 от 22.05.1997 г.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29.
Тел.: 251-60-75



ХАТТЫ-РАПСОДИЯ

БАНК

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations

which is satisfied by the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ in the domain D of the space E_3 .

2. In the second part of the paper the existence of a solution of the system of equations is proved for the case when the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are assumed to be continuous in the domain D and to satisfy the boundary conditions

on the boundary S of the domain D . It is shown that the system of equations has a unique solution in the domain D if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions

on the boundary S of the domain D . It is shown that the system of equations has a unique solution in the domain D if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions

on the boundary S of the domain D . It is shown that the system of equations has a unique solution in the domain D if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions

on the boundary S of the domain D . It is shown that the system of equations has a unique solution in the domain D if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions

on the boundary S of the domain D . It is shown that the system of equations has a unique solution in the domain D if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

214-00



Надежный сибирский банк!

- Ханты-Мансийский банк – один из крупнейших банков России, Западной Сибири и Урала.
- Высокие международные кредитные рейтинги.
- Банковские услуги, кредиты, депозиты для бизнеса.
- Private Banking – банковские услуги для VIP-клиентов.

8467) 390-800



159082013

Государственная библиотека Югры



Учебное пособие написано доктором педагогических наук, профессором Института развития образования А.Н. Семёновым (г. Ханты-Мансийск) и доцентом кафедры журналистики Югорского государственного университета В.В. Семёновой (г. Ханты-Мансийск). В книге на материале русской литературы XVIII—XX веков проанализировано бытование концепта средства массовой информации в структуре художественного текста.

Книга может быть использована при чтении курсов «Журналистское мастерство», «История русской журналистики», «История русской литературы», «Теория литературы», «Эстетика» по специальности «Журналистика», а также на филологических и культурологических специальностях вуза, при изучении истории русской литературы в старших классах средней школы, в работе факультативов и кружков.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

